



Октав Мирбо Дневник горничной

Аннотация

«Сегодня, 14 сентября, в 3 часа пополудни, в теплую, серенькую и дождливую погоду я поступила на свое новое место. Это двенадцатое за два года. Не говорю уже о местах за прежние годы. Их и не сочтешь. Ах, и чего я только не видела за это время, какие обстановки, лица, какие грязные душонки! И это не конец... После всех совершенно необыкновенных мытарств, когда я вихрем носилась с одного места на другое, то из домов в бюро, то из бюро в дома, из Булонского леса в Бастилию, с Обсерватории на Монмартр, из Терн в Гобелены, не сумевши нигде осесть прочно, не доставало только, чтобы и здесь было трудно служить. Не хочется и верить...»

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	17
Глава третья	25
Глава четвертая	33
Глава пятая	43
Глава шестая	48
Глава седьмая	57
Глава восьмая	72
Глава девятая	78
Глава десятая	86
Глава одиннадцатая	97
Глава двенадцатая	105
Глава тринадцатая	118
Глава четырнадцатая	125
Глава пятнадцатая	132
Глава шестнадцатая	154
Глава семнадцатая	169

Октав Мирбо Дневник горничной

Глава первая

Сегодня, 14 сентября, в 3 часа пополудни, в теплую, серенькую и дождливую погоду я поступила на свое новое место. Это двенадцатое за два года. Не говорю уже о местах за прежние годы. Их и не сочтешь. Ах, и чего я только не видела за это время, какие обстановки, лица, какие грязные душонки! И это не конец... После всех совершенно необыкновенных мытарств, когда я вихрем носилась с одного места на другое, то из домов в бюро, то из бюро в дома, из Булонского леса в Бастилию, с Обсерватории на Монмартр, из Терн в Гобелены, не сумевши нигде осесть прочно, не доставало только, чтобы и здесь было трудно служить. Не хочется и верить.

Дело уладилось при посредстве «маленьких объявлений» в «Фигаро» и без личного свидания с хозяйкой. Мы обменялись письмами и только: способ сомнительный, где с обеих сторон можно ожидать сюрпризов. Письма хозяйки хорошо написаны, это правда. Но они обнаруживают мелочный и мнительный характер... Ах! Ей на все нужны объяснения, всякие почему да потому... Не знаю, скупа ли хозяйка; во всяком случае, она не разорвется на почтовую бумагу. Она куплена в Лувре. У меня при всей моей бедности больше вкуса... Я пишу на бумаге, надушенной «Peau d'Espagne», на хорошей бумаге, то розовой, то бледно-голубой, которую я собрала у своих прежних хозяек. Есть даже листы с графскими коронами... Сэкономила на бумаге.

Итак, я в Нормандии, в Мениль-Руа. Имение моей хозяйки, которое находится невдалеке, называется Приерэ. Вот почти все, что я знаю о том месте, где я буду жить теперь.

Не без сожаления и беспокойства я думаю о том, что так скоропалительно похоронила себя в этой глухой провинции. То, что я здесь увидела, меня немного пугает, и я себя спрашиваю, что меня ждет впереди... Наверное, ничего хорошего и по обыкновению шалости... Эти шалости самый верный наш доход. На одну, которая пользуется успехом, то есть выходит замуж за порядочного человека или связывается со стариком, сколько приходится таких, которые обречены на неудачи и попадают в глубокий омут нищеты?.. Наконец, у меня не было выбора; и это все же лучше, чем ничего.

Мне не впервые служить в провинции. Четыре года назад у меня было такое место. О! недолго и при самых исключительных обстоятельствах. Я вспоминаю этот случай, как будто это было вчера... Подробности, правда, несколько неприличны и даже страшны, но мне хочется все-таки рассказать об этом. Впрочем, я предупреждаю моих читателей, что я ни о чем не намерена умалчивать в этом дневнике, ни о себе, ни о других. Наоборот, я вложу в него всю свою откровенность и по мере надобности всю грубость жизни. Не моя вина в том, что души, с которых срывают покрывало и которые показывают во всей их наготе, отдают таким сильным запахом гнили.

Вот как было дело.

В одном бюро для найма какая-то толстая экономка предложила мне место горничной у некоего господина Рабура в Турэне. Мы сошлись в условиях, и было решено, что я поеду поездом и в такой-то день и час буду на такой-то станции. По этому расписанию все и сделано было.

Когда я отдала свой билет контролеру, то встретила у выхода кучера с красным и угрюмым лицом, который обратился ко мне:

– Это вы новая горничная господина Рабура?

– Да, это я.

– Есть у вас сундук?

– Да.

– Дайте мне вашу багажную квитанцию и обождите меня здесь.

Он вышел на платформу. Станционная прислуга засуетилась. Его называли «мосье Луи» приятельским, но почтительным тоном. Луи разыскал мой сундук среди груды тюков и приказал отнести его к английской коляске, которая стояла у решетки.

– Ну вот... садитесь!

Я села рядом с ним на скамейку, и мы поехали.

Кучер искоса поглядывал на меня. Я его также рассматривала. Я тотчас же увидела, что имею дело с деревенщиной, неотесанным крестьянином, с прислугой без всякой выправки, не бывавшей никогда в больших домах. Мне это было досадно. Я люблю красивые ливреи. Больше всего меня приводят в восторг белые лосины, плотно облегающие крепкие бедра. Не было никакого шика у этого Луи, правившего без перчаток в слишком широком костюме из серо-голубого драгета и в плоской фуражке из лакированной кожи с двойным золотым позументом. Нет, право! отстали они, эти простаки. И при всей своей хмурой и грубоватой наружности это не злой дьявол в сущности. Я знаю эти типы. Вначале они всякие каверзы устраивают новичкам. А затем все улаживается, часто даже лучше, чем того хочешь.

Мы долго ехали, не проронив ни одного слова. Он старался принять вид важного кучера, высоко держал вожжи и делал округленные движения кнутом. Нет, как это было смешно!.. Я со своей стороны приняла позу, как будто осматривала окрестности, которые ничего особенного не представляли, – поля, деревья, дома, как везде. Когда лошадь перед косогором пошла шагом, он вдруг спросил меня с усмешкой:

– Вы везете с собой, конечно, хороший запас ботинок?

– Без сомненья! – сказала я, удивленная этим совершенно неожиданным вопросом и еще более этим особенным тоном, с которым он ко мне обратился. – Почему вы меня об этом спрашиваете? Несколько глупо, знаете ли, с вашей стороны спрашивать меня об этом, дяденька...

Он меня толкнул слегка локтем и, окинув странным взглядом, в котором светилось какое-то непонятное мне двусмысленное выражение острой иронии и непристойного веселья, он насмешливо сказал:

– Ну что там!.. Притворяетесь, будто ничего не знаете... Поди – проказница... хорошая проказница!

Он прищелкнул языком, и лошадь пошла быстрым ходом.

Это меня заинтриговало. Что это могло означать? Может быть, ровно ничего... Я подумала, что этот простак был просто глуповат, не умел разговаривать с дамами и ничего не мог придумать для разговора, который я, впрочем, решила более не поддерживать.

Имение господина Рабура было довольно большое. Красивый дом, выкрашенный в зеленый цвет, окруженный большими лужайками в цветах и сосновым лесом, от которого пахло терпентином. Я обожаю деревню... но, странно, она навевает на меня тоску и сонливость. В таком совсем сонном настроении я вошла в переднюю, где меня поджидала та же экономка, которая наняла меня в бюро в Париже, после Бог весть скольких нескромных вопросов о моих интимных привычках и вкусах; это мне внушило недоверие к ней. И каких только не приходится видеть среди них, с каждым разом наталкиваешься на худших, однако это нас ничему не учит. Экономка мне не понравилась еще в бюро; здесь она вдруг мне стала противной, и я нашла, что у нее отвратительный вид старой сводни. Это была толстая женщина, короткая и жирная, с желтоватым лицом, с гладкими седеющими волосами, с огромной, обвислой грудью, с мягкими и влажными руками, прозрачными, как желатин. В ее серых глазах проглядывала злость, злость холодная, расчетливая, способная на преступление. Взглядом она пронизывала вашу душу и тело и вызывала краску стыда на лице.

Она проводила меня в небольшую залу и тотчас оставила, сказав, что предупредит хозяина, что хозяин хотел меня видеть перед тем, как я возьмусь за свою работу.

– Ведь хозяин вас не видел, – прибавила она. – Я вас, правда, наняла, но нужно же ведь, чтобы вы и хозяину понравились.

Я осмотрела комнату. В ней царили необыкновенные чистота и порядок. Медь, мебель, паркет, двери, тщательно вычищенные, навощенные, покрытые лаком, блестели, как зеркала. Ни пышности, ни темных обоев, ни вышитых вещей, какие встречаешь в некоторых домах в Париже. Все выдержано в стиле, богато и просто, на всем лежала печать комфорта зажиточной провинциальной жизни, порядка и покоя. Как тут должно было быть скучно! Черт побери!

Вошел хозяин. Ах, какой чудак и как он был забавен!

Представьте себе маленького старичка, одетого с иголки, свежесбритого и совершенно розовенького – настоящая кукла. Держится прямо, очень живой и, право, милый! На ходу он подпрыгивал, как кузнечик на лугу. Он поздоровался со мной и бесконечно вежливо спросил:

– Как вас зовут, дитя мое?

– Селестина, сударь.

– Селестина, – сказал он. – Селестина?.. Черт возьми! Красивое имя, не спорю... но слишком длинное, мое дитя, чересчур длинное... Я вас буду называть Марией, если вы позволите... Это также очень мило и коротко... И, кроме того, я всех своих горничных называл именем Мария. Мне было бы неприятно отказаться от этой привычки. Я предпочел бы отказаться от прислуги...

У всех у них эта странная мания никогда не называть вас настоящим именем. Я несколько не удивилась, так как меня уже называли чуть-ли не всеми святыми...

Он продолжал:

– Итак, вы ничего не имеете против того, что я вас буду называть Марией? Согласны?

– Да, сударь.

– Красивая девушка... добрая душа... Хорошо, хорошо!..

Все это он проговорил с веселым видом, очень почтительно, не заглядывая мне в лицо, не бросая на меня взглядов, не раздевая меня мысленно, как это обыкновенно делают мужчины. Он почти не смотрел на меня. С того момента, когда он вошел в залу, его глаза все время были прикованы к моим ботинкам.

– У вас есть другие? – спросил он меня после короткого молчания, и в это время, мне показалось, его глаза странно заблестели.

– Другие имена, сударь?

– Нет, мое дитя, другие ботинки...

И он при этом быстро облизывал кончиком языка свои губы, как это делают кошки.

Я не тотчас ответила. Вопрос о ботинках, который мне напомнил грязную шутку кучера, меня смутил. Это имело какое-то значение?.. Когда он настойчиво повторил свой вопрос, я наконец ответила, но глухим и смущенным голосом, как будто мне нужно было сознаться в каком-нибудь легкомысленном поступке:

– Да, сударь, у меня есть другие...

– Лакированные?

– Да, сударь.

– Хорошо... хорошо... лакированные?

– Да, да, сударь.

– Хорошо... хорошо... и желтые?

– У меня таких нет, сударь.

– Нужно иметь такие... я вам их дам.

– Мерси, сударь!

– Хорошо, хорошо... молчи!

Мне стало страшно. Глаза его вдруг потемнели, на лице показались красные пятна, а на лбу выступили капли пота. Подумав, что ему дурно, я готова была крикнуть, чтобы позвать на помощь, но кризис стал проходить, и через несколько минут он, еще со слюной в углах рта, упавшим голосом промолвил:

– Ничего... прошло... Понимаете ли, мое дитя... Я немного маньяк... В мои годы это позволительно, не правда ли? Вот, например, я не могу согласиться, чтобы женщина чистила свои ботинки, а мои тем более. Я очень уважаю женщин, Мария, и не могу выносить этого. Я сам буду чистить ваши ботинки, ваши маленькие ботинки, ваши милые маленькие ботинки... Я с ними буду возиться. Послушайте... каждый вечер перед сном вы будете приносить свои ботинки в мою комнату и будете ставить у кровати на маленький столик, а по утрам, когда придете открывать окна, вы их будете забирать.

И так как на моем лице было выражение крайнего удивления, он прибавил:

– Подумайте! Ведь я не о большом у вас прошу... это вполне естественно, наконец... И если вы действительно добрая...

Он быстро вынул из кармана два золотых и подал мне.

– Если вы будете добрая и послушная, я часто буду делать вам подарки. Экономка будет выплачивать каждый месяц ваше жалованье. А я, Мария, между нами, я вам часто буду делать маленькие подарки. И о чем же я у вас прошу?.. Ведь в этом нет ничего необыкновенного... Боже мой, разве это так необыкновенно?

Хозяин все более волновался. Когда он говорил, его брови дрожали, как листья на ветру.

– Почему ты ничего не говоришь, Мария? Скажи что-нибудь... Отчего ты не ходишь? Пройдись немного, я хочу посмотреть, как они двигаются, как они живут... твои ботинки...

Он стал на колени, поцеловал мои ботинки, помял своими нервными пальцами, поласкал, развязал... И, целуя и лаская их, он говорил умоляющим голосом, голосом плачущего ребенка:

– О, Мария... Мария! твои маленькие ботинки... дай мне их сейчас же... сейчас... сейчас... Я хочу их сейчас... дай мне их...

Я ничего не понимала... Я вся оцепенела. Я не знала, вижу ли я это наяву или во сне. Эти глаза хозяина – я видела только два маленьких белых шарика с красными жилками. И рот его был весь в какой-то мыльной пене...

Наконец, он унес мои ботинки и на целых два часа заперся с ними в своей комнате.

– Вы очень понравились хозяину, – сказала мне экономка, показывая мне дом. – Постарайтесь, чтоб это было надолго. Место хорошее...

Четыре дня спустя, утром, когда я в обычный час зашла в комнату, чтобы открыть окна, я обмерла от ужаса... Хозяин лежал мертвый! Он лежал на спине посередине кровати, почти совершенно голый; чувствовалось, что это лежит уже окоченелый труп. У него было совершенно естественное положение. Одеядло в полном порядке, простыни без малейших следов борьбы, сильных движений, агонии, царапающих рук, обороняющихся от смерти... Можно было подумать, что он спит, если бы его лицо не было синим, страшно синим, темно-синего цвета. Но еще более, чем это лицо, меня потрясло страшное зрелище... Хозяин держал в сжатых зубах мой ботинок. Зубы были так сильно стиснуты, что после страшных и бесполезных усилий вырвать из них ботинок я должна была бритвой разрезать кожу.

Я не святая... я прекрасно знаю мужчин и знаю по опыту все безумие, всю грязь, на которую они способны... Но такой мужчина, как мой хозяин?.. Ах! Право, смешно даже, что существуют такие типы. И зачем все эти выдумки, когда так просто, так мило любить похорошему, как все...

Думаю, что здесь ничего подобного со мной не случится. Видно, что здесь другие люди. Но лучше ли? Хуже ли? Ничего об этом не знаю...

Одна мысль мне не дает покоя. Мне нужно было бы, может быть, в один прекрасный день покончить со всеми этими грязными местами и раз навсегда переменить службу на легкий промысел, как сделали другие мои знакомые, которые были, скажу без хвастовства, «менее авантжны», чем я. Если бы я не была красивой, было бы лучше; несколько не рисуясь, могу сказать, что во мне есть шик, которому часто завидовали женщины из общества и кокетки. Рост, может быть, слишком высокий, но я гибкая, тонкая, стройная, очень красивые светлые волосы, очень красивые голубые глаза, вызывающие и шаловливые, смелое выражение губ, наконец, умение быть оригинальной, живой и задумчивой в одно и то же время, что очень нравится мужчинам. Я могла бы пользоваться успехом. Но помимо того, что «счастливые» случаи, которые, вероятно, не повторятся больше, были упущены мною, меня охватывает страх. Боишься, потому что не знаешь, до чего дойдешь... На каких только несчастных я не наталкивалась в этой среде. Какие ужасные признания мне пришлось выслушивать!.. И этот трагизм вечного шатания по больницам!.. И в конце концов ад Сен-Лазара! Есть над чем призадуматься, есть чего бояться... Да и будет ли у меня в таком положении успех, равный тому, каким я пользуюсь, будучи горничной? То особенное впечатление, которое мы производим на мужчин, не зависит только от нас, как бы мы красивы ни были. Для меня ясно, что многое тут зависит от обстановки, в которой мы живем, от роскоши, от недостатков окружающих, от самих наших хозяев и от тех желаний, которые они вызывают. Любя нас, они отчасти и сами, а еще более их тайны способствуют тому, чтобы нас любили...

И вот еще что. Вопреки всему моему легкомыслию я часто находила в глубине своей души очень искреннее религиозное чувство, которое меня предохраняет от окончательного падения, которое удерживает на краю пропасти. Ах, если бы не было религии, молитвы в церквях, вечеров сурового раскаяния и нравственной скорби, если бы не было Святой Девы и св. Антония Падуанского, если бы всего этого не было, мы были бы еще более несчастны, это несомненно. И что еще будет, и до чего еще дойдешь, один черт знает!

Наконец – и это самое важное – у меня нет ни малейшей защиты против мужчин. Я всегда буду жертвой своего бескорыстия и их удовольствия. Я слишком влюбчива, да, я слишком обожаю любовь, чтобы извлекать из нее какую-нибудь выгоду. Она сильнее меня. Я не могу просить денег у того, кто мне доставляет наслаждение и раскрывает лучезарные двери восторга. Когда они мне говорят, эти чудовища... и я чувствую на шее прикосновение их бороды и горячее дыхание... представьте!.. Я становлюсь настоящей тряпкой, и тогда они берут от меня все, что хотят...

Но вот я в Приерэ. Что меня ожидает здесь? Право, не знаю. Самое разумное было бы совсем не думать об этом, и пусть, все идет помаленьку. Так, может быть, будет лучше всего. Несчастья безжалостно преследовали меня до сих пор. Неужели и завтра из-за одного какого-нибудь слова хозяйки я принуждена буду уйти из-под крова! Это было бы печально. С некоторых пор я чувствую боли в животе и пояснице, какую-то слабость во всем теле, желудок расстраивается, память ослабевает... Я становлюсь все более и более раздражительной и нервной. Только что посмотрела на себя в зеркало и нашла, что лицо действительно имеет утомленный вид, а здоровый цвет лица, которым я так гордилась, стал пепельным... Неужели я уже старею? Мне еще не хочется стареть. В Париже трудно ухаживать за собой, все некогда. Слишком уж там лихорадочная и шумная жизнь. Там всегда все новые люди, новые вещи, слишком много удовольствий и новых впечатлений... Поневоле приходится так жить. Здесь спокойно... И какая тишина! Воздух здесь, должно быть, хороший, здоровый. Ах! Если бы я даже с риском поглупеть могла бы отдохнуть немного!

С самого начала в меня закралось какое-то недоверие. Правда, хозяйка довольно любезна со мной. Она мне даже сделала несколько комплиментов по поводу моего костюма и выразила удовольствие по поводу справок, которые она навела обо мне. Ах, глупая голова, если бы она знала, что эти сведения ложные, что они присланы просто из любезности... Ее

поражает также мое изящество. Впрочем, в первый день редко кто из этих верблюдов бывает нелюбезным. Все новое красиво. Это известно. У хозяйки очень холодное, жесткое выражение глаз. Эти глаза мне не по душе... в них проглядывают скупость, подозрительность и полицейский нюх. Мне не нравятся и губы ее, тонкие, сухие и как будто покрытые беловойтой кожей, и ее отрывистая, резкая речь, в которой любезность звучит как оскорбление, как издевательство. Когда она, расспрашивая меня о том, о другом, о моих способностях и о моем прошлом смотрела на меня своим бесстыжим, спокойным и суровым взглядом таможенного досмотрщика, взглядом всех хозяек, я себе говорила:

– Я не ошиблась... Это еще одна из тех, которые должны все держать под ключом, считать каждый вечер куски сахара и изюмины и делать заметки на бутылках. Сколько не меняй, все одно и то же... Впрочем, посмотрю еще, не нужно поддаваться первому впечатлению. После всех тех слов, которые мне были сказаны, после тех взглядов, которыми меня пронизывали, я, может быть, услышу когда-нибудь – как знать? – и дружескую речь, встречу и нежный взгляд... Отчего бы и не надеяться, ведь это ничего нам не стоит...

Не успела я приехать и оправиться от четырехчасовой езды по железной дороге в третьем классе, на кухне еще не догадались предложить мне кусок хлеба, как хозяйка уже провела меня по всему дому, от погреба до чердака, чтобы непосредственно ввести во все «хозяйственные дела». О! Она не теряет времени, ни своего, ни моего... И велик же этот дом! Сколько в нем всяких уголков и как много хлопот! Да, покорно благодарю! Чтобы держать его в порядке, как следует, не хватит и четверых. Кроме нижнего этажа, очень большого, к нему примыкают еще и служат его продолжением два небольших павильона в виде террасы – в нем еще два этажа, по которым я должна буду постоянно бегать вверх и вниз. К тому же у хозяйки, которая проводит свое время в небольшой комнате рядом со столовой, явилась блестящая идея устроить прачечную, в которой я должна буду работать, на чердаке, рядом с нашими комнатами. И всевозможные шкафы, и разные ящики, и вся эта суетня, не угодно ли? Справляйся со всем этим...

Каждую минуту, показывая мне какую-нибудь вещь, хозяйка приговаривала:

– Обратите на это особенное внимание, моя дочь, это очень красивая вещь, моя дочь. Это большая редкость, моя дочь. Это очень дорого стоит, моя дочь.

Вместо того чтобы называть меня по имени, она на каждом шагу мне повторяла «моя дочь, моя дочь» тем оскорбительным тоном госпожи, который убивает самые лучшие желания и создает такую пропасть между нами и нашими хозяйками! Разве я называю ее «маменькой»? А затем у хозяйки с языка не сходят слова «очень дорого». Это раздражает... Все, что ей принадлежит, даже грошовые безделушки, все это «очень дорого». Трудно себе представить, до чего может дойти тщеславие хозяйки дома... И до чего это отвратительно. Она мне объяснила, как нужно обращаться с керосиновой лампой, между прочим точно такой же, как и все другие лампы, и при этом предупредила:

– Знаете, моя дочь, эта лампа очень дорого стоит, ее можно поправлять только в Англии. Берегите ее как зеницу ока...

У меня было большое желание сказать ей:

– А скажи, маменька, твой ночной горшок тоже очень дорого стоит? И его также отправляют поправлять в Лондон?

Нет, право! На чем только не сказывается их нахальство и их скаредность. И когда подумаешь, что это делается только для того, чтоб тебя унижить, чтоб тебя уничтожить!

А дом вовсе уж не так хорош. И чего, право, гордиться этим домом? Снаружи большие толстые деревья, которые теснятся у самого дома, и сад, спускающийся по легкому склону к речке, с большими четырехугольными лужайками – вид ничего себе. Но внутри... как все это тоскливо, старо, шатко и как пахнет затхлым... Не понимаю, как в нем можно жить. Настоящие мышьи норки. На этих деревянных лестницах можно шею сломать, ступеньки

подгнили, трясутся и трещат под ногами, коридоры низкие и темные и вместо мягких дорожек в них какие-то красноватые плиты, глянцевитые и скользкие-прескользкие. Перегородки очень тонкие из сухих досок, и от этого в комнатах гулко как внутри скрипки. Деревенщина да и только! Меблировка также, конечно, не парижская... Во всех комнатах все то же старинное красное дерево, старинная материя, изъеденная червями, старинные, выцветшие холсты, кресла и диваны, до смешного жесткие, без пружин, с червоточинами, хромоногие... Они вам сотрут плечи и расцарапают ляжки! Я так люблю светлые обои, большие упругие диваны, на которых так сладко растянуться среди груды подушек, всю эту красивую, новую мебель, такую роскошную, богатую и веселую. И после этого такая тощища... Я никогда не сумею привыкнуть к этой неуютности, безвкусице, к этой старинной пыли и к этой мертвечине.

Хозяйка одевается далеко не по-парижски. У нее нет шика, она не знает модных портних. Она, что называется, лыком шита. Правда, ее туалет не без претензий, но она отстала по меньшей мере лет на десять от моды. И какая мода!.. А она была бы недурна собою, если бы она хотела: по крайней мере не очень дурна. Хуже всего, что она вас совсем не привлекает, что в ней нет ничего женственного. Но у нее правильные черты лица, красивые волосы, настоящие светлые, и красивая кожа. Слишком прозрачная кожа, как будто она страдает какой-то внутренней болезнью. Я знаю этот тип женщин, и меня не обманывает их цветущий вид. Снаружи – роза, а внутри – гниль... Они не могут держаться на ногах, не могут ходить, не могут жить без поясов, без бандажей на животе, без пессариев. Сколько тут тайных ужасов и сложных механизмов... И это не мешает им чувствовать себя превосходно, когда они бывают в обществе. Наоборот! Как они кокетничают, флиртуют по углам, выставляют напоказ свои разрисованные прелести, как стреляют глазами и вертят хвостом! А настоящее им место в банке со спиртом. Ах, несчастье! Очень мало радости быть с ними, уверяю вас, и не всегда приятно им служить.

Трудно и допустить, чтобы хозяйка чувствовала слабость к мужчинам – у нее для этого нет ни темперамента, ни органического предрасположения. В выражении ее лица, в грубых жестах, в резких движениях тела совсем не чувствуется любви, никаких следов страсти со всеми ее чарами, снисходительностью и смелостью. Настоящая старая дева – кислая, поблекшая, какая-то исхудалая, сухая, что так редко бывает у блондинок. Как трудно допустить, чтобы хозяйка под впечатлением хорошей музыки, вроде Фауста – ах, этот Фауст! – бросилась бы без памяти в объятия красивого молодца и забылась бы в восторге нахлынувших страстей... Ах нет, куда ей! Даже и в некрасивых женщинах под влиянием полового влечения светится иногда столько лучистой жизни, очарования и красоты. Хозяйка не из таких... Впрочем, и такая наружность, как у хозяйки, бывает обманчива. Я помню и более строгих и более сварливых на вид. Казалось, всякая мысль о страсти и любви была далека от них, однако они оказывались неслыханными развратницами, которых нельзя было оторвать от их лакея или кучера.

Хозяйка старается быть любезной, но это плохо ей дается, как я успела заметить. По-моему, она злая, ядовитая, любит шпионить; грязная душонка и недоброе сердце. Она должна по пятам ходить за своей прислугой и придирается на каждом шагу... «А знаете вы это?», «А умеете вы это делать?», «А у вас не валится из рук?», «Вы бережливы?», «У вас хорошая память, вы любите порядок?» И это без конца... «Вы чистоплотны?» Я очень требовательна к чистоте. Я равнодушна к очень многому, но что касается чистоты, я непреклонна. «За кого она меня принимает, за деревенскую девушку, за мужичку, за провинциальную прислугу? Чистоплотность? Ах, знаю, это старая песня. Они все ее поют, и часто, когда подойдешь к ним поближе, когда выворачиваешь их юбки или перебираешь их белье... какие они грязные! До отвращения.

Я не особенно доверяю чистоплотности хозяйки. В ее уборной, которую она мне показывала, не заметила ни низкой мебели, ни ванны, ничего такого, что говорило бы в ее пользу. Как у нее там все скромно по части всяких книжечек, флакончиков, всех этих интимных, надушенных безделушек, которые я так люблю перебирать. Не дожусь посмотреть на хозяйку, какова она голая, забавно. То-то красotka!

Вечером, когда я накрывала на стол, в столовую вошел хозяин. Он вернулся с охоты. Это мужчина высокого роста, широкоплечий, с большими черными усами и матовым цветом лица. У него неловкие, угловатые манеры, но выглядит добрым малым. По-видимому, это не такой гений, как Жюль Леметр, которому я столько раз служила на улице Христофора Колумба, и не такой изящный, как де Жанзе – ах этот Жанзе! Но он симпатичен... Его густые, вьющиеся волосы, его бычья шея, икры борца, мясистые, красные и улыбающиеся губы – все говорит о силе и добродушии. Я готова пари держать, что он равнодушен к женскому полу. Я это тотчас же заметила по его подвижному, чуткому носу, по необыкновенному блеску в мягких и смеющихся глазах. Никогда, мне кажется, я не встречала мужчины с такими густыми до безобразия бровями и такими волосатыми руками. Спина у него, должно быть, покрыта шерстью, как у животного, у этого дяденьки! Как большая часть людей мало интеллигентных и очень сильных, он очень робкий.

Он осмотрел меня каким-то странным взглядом, в нем были и доброжелательность, и впечатление неожиданности, и чувство удовлетворения; в нем светились также и шаловливость, но без нахальства, и нескромность, но без грубости. Хозяин, очевидно, не привык к таким горничным, как я; я его смущаю, с первого же взгляда я произвела на него сильное впечатление. Немного смущаясь, он обратился ко мне:

– А!.. Это вы новая горничная?

Я выставила вперед свой бюст, опустила слегка глаза и скромно и кокетливо, в то же время мягким голосом, ответила просто:

– Да, сударь, это я...

На это он пробормотал:

– Так, значит, вы приехали?.. Хорошо... хорошо...

Ему хотелось поговорить, он подыскивал слова, но так как был не речист, то ничего не нашелся сказать. Меня забавляло его смущение... Помолчав немного, он спросил.

– Так это вы приехали из Парижа?

– Да, сударь.

– Очень хорошо... очень хорошо.

Потом несколько смелее:

– Как вас зовут?

– Селестина, сударь.

С решительным видом потирая себе руки, он прибавил:

– Селестина... А-а!.. Очень хорошо... Оригинальное имя... Красивое имя, право!..

Лишь бы только хозяйка не заставила вас переменить его. У нее есть эта мания.

Я отвечала с выражением достоинства и готовности к услугам:

– Я в распоряжении барыни.

– Без сомнения, без сомнения... Но это красивое имя...

Я едва удержалась от смеха! Хозяин начал ходить по столовой, затем сел вдруг в кресло, вытянул ноги и с выражением извинения во взгляде и мольбою в голосе спросил меня:

– Вот, Селестина... Я вас всегда буду называть Селестиной... не будете ли добры помочь мне снять сапоги? Это, надеюсь, не затруднит вас?

– Конечно, нет, сударь.

– Потому что, видите ли... Эти проклятые сапоги... Они тесны. Никак не стащишь.

Изящным, скромным и вместе с тем вызывающим движением я стала на колени прямо перед ним. И когда я помогала ему снимать его мокрые и грязные сапоги, я чувствовала, что его нос раздражают мои духи и что его глаза с возрастающим интересом следили за очертаниями моего корсажа и за всем, что только можно было разглядеть через платье... Вдруг он воскликнул:

– Черт возьми! Селестина... От вас великолепно пахнет.

Не поднимая глаз и с наивным видом, я спросила:

– От меня, сударь?

– Ну-да... конечно... от вас!.. Не от моих же ног, надеюсь.

– О, сударь...

И это: «О, сударь!» звучало и протестом в защиту его ног, и в то же время дружеским упреком – дружеским и поощряющим его фамильярность. Понял ли он? Думаю, что да, потому что он снова еще сильнее и с некоторым страстным волнением в голосе повторил:

– Селестина... От вас великолепно пахнет... великолепно...

Да! Он забывается, этот дяденька... Я сделала вид, как будто немного оскорблена такой настойчивостью, и замолчала. Робкий и ничего не понимающий в женских хитростях, он смутился. Он боялся, наверное, что зашел слишком далеко, и быстро переменял разговор:

– Вы освоились уже здесь, Селестина?

Вопрос... Освоилась ли я? Это за три часа моего пребывания здесь... Я кусала себе губы, чтобы не расхохотаться. Он смешон, этот добряк, и немного глуп.

Но это ничего. Он мне нравится. Даже в его грубоватости видна какая-то мощь. От него пахнет животным, веет теплом, которое разливается по всему телу... он мне приятен.

Я сняла сапоги и, чтобы оставить его под приятным впечатлением от нашего разговора, в свою очередь спросила у него:

– Я вижу, сударь, вы охотник. Удачная охота была у вас сегодня?

– У меня никогда не бывает удачной охоты, Селестина, – ответил он, покачивая головой. – Я ведь только брожу... Это ведь только для прогулки, чтобы не быть здесь... Я здесь скучаю...

– А! Барину скучно здесь?

После некоторой паузы он с вежливым видом ответил:

– То есть... я скучал... Потому что теперь... наконец!..

Затем с глуповатой и трогательной улыбкой на устах он спросил:

– Селестина?

– Сударь!

– Не будете ли добры дать мне мои туфли? Прошу извинить меня.

– Но, сударь, это моя обязанность.

– Да, конечно... Они под лестницей... в темном чуланчике... налево.

Мне думается, я с ним сделаю все, что захочу! Он не злой, он поддается с первого же раза. О! его можно далеко завести...

Очень несложный обед, составленный из остатков вчерашнего, прошел без инцидентов, почти в полном молчании. Хозяин ест с большой жадностью, а хозяйка едва прикасается к блюдам, скучная, надутая. Она глотает только облатки, сиропы, капли, целую аптеку, которую нужно расставлять на столе перед ее прибором. Они очень мало говорили и притом о таких делах и местных людях, которые меня мало интересовали. Я поняла только, что они у себя очень мало кого принимают. Впрочем, видно было, что мысли их были заняты вовсе не тем, о чем они говорили. Они осматривали меня, каждый по своему, с различным любопытством: хозяйка холодно и сурово, – даже с презрением, все более и более враждебно, придумывая уже свои грязные каверзы, которые она мне будет устраивать; хозяин многозначительно поглядывал исподлобья прищуренными глазами и бросал какие-то странные

взгляды на мои руки, хотя и старался замаскировать это. Право, не понимаю, почему мужчины так интересуются моими руками? А я делала вид, что ничего этого не замечаю. Я уходила и приходила, держась прямо, с достоинством, с видом занятого человека и... замкнутая в себе. Ах! если бы они могли видеть мою душу, если бы они могли подслушать, что у меня делается внутри, как я видела и подслушивала в их душах!

Я очень люблю прислуживать за столом. Тут видишь хозяев во всей нечистоплотности и мелочности их душ. Вначале осторожные и как бы стесняющиеся друг друга, они мало-помалу начинают распоясываться и показывать себя такими, какие они есть на самом деле, без румян и белил, забывая, что около них ходит человек, который подслушивает и подмечает их пороки, их нравственную уродливость, все эти пошленькие и гаденькие мечты, которые таятся в почтенных головах благородных людей. Уловить, определить и запомнить все их вожеления, чтобы приготовить себе из этого страшное оружие для того времени, когда придется сводить с ними свои счета, – это самое большое удовольствие в нашей службе, это самая лучшая месть за наши унижения.

Из этой первой встречи со своими новыми хозяевами я не могла составить точного представления об их образе жизни. Я чувствовала только, что хозяйство идет плохо, что хозяин ничего не значит в доме, что глава в доме хозяйка и что он дрожит перед ней, как маленький ребенок. О! Этому бедному человеку нельзя даже смеяться каждый день.

За десертом барыня, которая не спускала глаз с моих рук, плеч, корсета в течение всего обеда, сказала ясным и резким голосом:

– Я не люблю, когда употребляют духи.

Я не отвечала, делая вид, что не понимаю, что это относится ко мне:

– Вы слышите, Селестина?

– Хорошо, мадам.

Я украдкой посмотрела на бедного барина, которому нравятся духи, мои, по крайней мере.

Держа обе руки на столе, с виду равнодушный, но на самом деле удрученный и уязвленный, он следил глазами за пчелкой, которая летала над блюдом с фруктами. В столовой воцарилось мертвое молчание, которое усугублялось наступившими сумерками. Какая-то невыразимая тоска, какая-то невероятная тяжесть нависли над этими двумя существами, и я спрашивала себя, зачем живут, что делают эти люди на земле?

– Лампу, Селестина!

Это был голос барыни, который еще резче звучал в этой тишине, в этой темной комнате. Я вздрогнула.

– Видите, что темно стало. Мне нужно вам напоминать о лампе? Надеюсь, это будет в последний раз?

Когда я зажигала лампу, ту лампу, которую могут поправлять только в Англии, мне захотелось крикнуть бедному барину:

– Подожди, мой друг, не бойся... и не падай духом. Ты у меня будешь и есть и пить духи, которые ты любишь и которых у тебя нет. Ты будешь вдыхать их, я тебе обещаю, в моих волосах, на моих устах, на моей шее, на моей коже. Мы ей покажем, этой дуре, как можно радоваться и наслаждаться... я тебе отвечаю за это.

И чтобы удостовериться это немое обращение, я, когда ставила лампу на стол, слегка коснулась руки барина и ушла.

Служба моя не из веселых. Кроме меня, в доме еще только две прислуги – кухарка, которая вечно дуется, и кучер-садовник, от которого никогда слова не услышишь. Кухарку зовут Марианной, кучера – Жозефом. Неотесанный мужик. И что за дураки! Она – толстая, жирная, обрюзгая, вымазанная, с тройным подбородком, на шее грязная косынка, которой она, говорят, вытирает свои горшки; огромная, безобразная грудь, выпирающая из какой-

то голубой, засаленной кофты, в короткой юбке на толстых бедрах, с огромными ногами в серых шерстяных чулках. Он – без манжет, в рабочем фартуке, в деревянных башмаках, бритый, худой, нервный, с безобразной линией рта, которая рассекает ему все лицо от одного уха до другого, с какой-то кривой походкой и медвежьими движениями. Таковы мои два товарища.

Для прислуги нет столовой. Мы обедаем на кухне, на том же самом столе, на котором кухарка целый день стряпает, рубит мясо, чистит рыбу, режет зелень своими пальцами, толстыми и круглыми, как колбаса. Да, не блестяще... Когда печь топится, в кухне можно задохнуться. Пахнет залежавшимся жиром, прогорклым соусом, пережаренным маслом. А когда мы едим, из котла, в котором варится похлебка для собак, поднимается такой смрад, что захватывает дух и начинаешь кашлять. Стошнит хоть кого! Заключенных в тюрьмах и собак на псарнях содержат лучше.

Нам дали к обеду свиное сало с капустой, вонючий сыр и кислый сидр. И ничего больше. Тарелки глиняные, эмаль на них потрескалась, и они пахнут прогорклым жиром. Вилки из белого железа дополняют собой эту красивую посуду.

Будучи новичком в доме, я не хотела жаловаться. Но я не хотела и есть тем не менее. Охота еще больше испортить себе желудок, благодарю покорно!

– Почему вы не кушаете? – спросила меня кухарка.

– Мне не хочется.

Я это сказала с большим достоинством. Марианна замолчала.

– Вам бы, может быть, трюфелей, барышня?

Без гнева, но сдержанно и гордо я ответила на это:

– Поверьте, я ела трюфели... Может быть, больше, чем кто-либо из здешних.

Она замолчала.

Между тем кучер запихивал в рот большие куски сала и поглядывал на меня сверху вниз. Не могу объяснить себе, почему взгляд этого человека меня стесняет... и его молчание меня смущает. Он уже не молод, однако я поражена его гибкостью, мягкостью его движений; спина у него изгибается, как у змеи. Я его опишу подробней. У него жесткие волосы с проседью, низкий лоб, косо расположенные выпуклые глаза, широкие, крепкие челюсти, длинный, мясистый, слегка приподнятый подбородок, все это придает ему какой-то странный вид, который я не могу определить. Простак он или хитрец? Не скажешь. Любопытно, однако, что он меня так занимает. Впрочем, впечатление слабеет. Все это мое романтическое, склонное ко всяким преувеличениям, воображение. И вещи и люди кажутся мне лучше или хуже, чем они на самом деле.

После обеда Жозеф, не говоря ни слова, вытащил из кармана своего фартука «Libre Parole» и принялся за чтение, а Марианна после двух стаканов сидра размякла и стала любезней. Развалившись на стуле с засученными рукавами и со сбившейся косынкой на прилизанных волосах, она стала расспрашивать меня, откуда я, где была, на хороших ли местах служила, антисемитка ли я? И мы некоторое время беседовали почти дружески. Я в свою очередь расспрашивала о порядках в доме, бывают ли гости и какие, как хозяин к горничным относится, есть ли у хозяйки любовник?

Ах, Боже! Нужно было только посмотреть на нее и на Жозефа, которого мои вопросы отрывали от чтения. Как они были смешны в своем смущении! Трудно себе представить, как они здесь отстали, в деревне. Тут ничего не знают, ничего не видят, ничего не понимают. Их смущают самые обыкновенные вещи. И все-таки, несмотря на его неуклюжий и почтенный вид, на ее добродетельные и развязные манеры, попробуйте меня уверить, что они не спят вместе! Ах! Нет! Право, нужно свихнуться, чтобы связаться с таким типом.

– Сейчас же видно, что вы приехали из Парижа или Бог весть еще откуда? – упрекнула меня кухарка.

А Жозеф, качая головой, в свою очередь прибавил коротко:
– Не иначе!

Он опять принялся за чтение «Libre Parole». Марианна с трудом поднялась со стула и сняла котел с огня. Мы больше не разговаривали.

А я думала о своем последнем месте, о лакее Жане. Какой он был изысканный со своими черными бакенбардами и белой выхоленной, чисто женской кожей. Ах! Какой этот Жан был красивый малый, такой веселый, изящный, деликатный, ловкий, как он нам рассказывал шаловливые и трогательные истории, как он нас посвящал в содержание писем нашего хозяина. Как здесь все по-другому... Как я могла попасть сюда, к этим людям, так далеко от всего, что я люблю?

Я почти готова расплакаться.

Пишу эти строки в моей комнате, в грязной маленькой комнате под крышей, где свободно гуляет ветер, где зимой холодно, а летом очень жарко. Из мебели в комнате только плохенькая железная кровать и плохенький белый шкаф, который не запирается и в котором я не могу даже разложить свои вещи. Как это все обидно! Для того, чтобы продолжать свой дневник или только читать свои романы, которые я привезла с собой, мне придется покупать свечи за собственные деньги. К хозяйским свечам не подберешься. Они под замком.

Завтра постараюсь навести здесь порядок. Над кроватью я повешу мое маленькое позолоченное распятие, а на камине поставлю св. Деву, нарисованную на фаянсе, свои коробочки, книжечки и фотографии Жана. Попробую из этой лачуги устроить укромный и уютный уголок.

Комната Марианны по соседству с моей. Она отделяется только тонкой перегородкой, и слышно все, что там делается. Я думала, что Жозеф, который спит в общей, придет, может быть, к Марианне. Но его не слышать. Марианна давно уже пришла. Она кашляла, плевала, двигала стульями. Теперь она храпит... Они, должно быть, этим делом занимаются по воскресеньям!

Собака лает далеко в деревне. Скоро два часа и моя свеча гаснет... Мне тоже придется лечь. Но я чувствую, что не смогу заснуть.

Ах! Как я боюсь состариться в этом чулане!

Глава вторая

15 сентября.

Я еще ни разу не упоминала имен моих хозяев. Имена довольно смешные: Исидор и Евфразия Ланлер... Евфразия! Недурно звучит.

Лавочница, к которой я ходила за шелком, рассказала мне про дом. Хорошего мало. Правда, и болтлива же эта женщина... Если поставщики моих хозяев так говорят о них, то что же должны говорить люди, которые от них не зависят? Ну и язычки тут в провинции!

Отец хозяина был фабрикантом и банкиром в Лувье. Он оказался злостным банкротом, его разорение проглотило все мелкие сбережения местных жителей, он был осужден на десять лет тюрьмы. Но в сравнении со всеми его обманами, подлогами, воровством и другими преступлениями, которые он совершил, это было мягкое наказание. Во время отбывания наказания в Гальоне он умер. Но успел в свое время спрятать на стороне и в верном месте, по-видимому, 450 тысяч франков. Эти-то деньги, так ловко спрятанные, и составляют все личное состояние хозяина. Натя же! Вовсе не хитрая штука разбогатеть.

Отец хозяйки был еще хуже, хотя и не сидел в тюрьме и умер уважаемый всеми честными людьми. Он торговал людьми. Лавочница мне объяснила, что при Наполеоне III, когда еще не было всеобщей воинской повинности, как теперь, богатые молодые люди, «вытянувшие жребий», имели право «откупиться от службы». Они обращались в такое агентство, которое за известную сумму денег – от одной до двух тысяч франков, смотря по риску – подыскивало им бедняка, который соглашался прослужить за них семь лет, а в случае войны и умереть. Таким образом, во Франции торговали белыми, как в Африке – черными... Существовали рынки, на которых продавали людей, как скот, да еще на какую бойню! Впрочем, меня это не особенно удивляет. Разве теперь этого нет? А рекомендательные конторы и публичные дома, разве это не базары, где продают рабов, разве это не лавки, где покупают человеческое мясо?

По словам лавочницы, это была очень прибыльная торговля, и отец хозяйки, у которого была монополия на весь департамент, проявил в ней большие способности, то есть оставлял у себя и клал в свой карман большую часть уплачиваемой суммы. Вот уже десять лет как он умер. Будучи мэром Мениль-Руа, помощником мирового судьи, генеральным советником, директором фабрики, казначеем благотворительного общества, получил орден и оставил после себя кроме Приерэ, которое купил за бесценок, еще миллион двести тысяч франков, из которых на долю хозяйки досталось шестьсот тысяч. У хозяйки есть брат, с которым случилась какая-то история... Разное болтают: деньги не совсем чистые... Да иначе, по моему, и не бывает, я видела только грязные деньги и никогда не встречала честных богачей.

У Ланлеров больше миллиона, и капитал их растет. Они проживают не больше третьей части своих доходов. Они всегда недовольны и другими, и собой, готовы ругаться из-за счета, отказаться от своего слова, не признавать тех условий, которые сами приняли и подписали. Во всяком деле с ними приходится быть на чеку и не давать повода к спорам, потому что они готовы воспользоваться им, чтобы не платить, особенно мелким торговцам, которым не по силам издержки по судебному процессу, и беззащитным беднякам. Понятно, они благотворительностью не отличаются. Время от времени дают только на церковь, потому что они набожные. Нищие же могут умереть с голоду пред воротами Приерэ. Их мольба не будет услышана, и ворота останутся на запоре.

– Я даже думаю, – продолжала лавочница, – что если бы они могли стащить что-нибудь из сумы у нищего, то они сделали бы это с радостью, без всяких угрызений совести.

– Вот вам хороший пример, – прибавила она. – Мы тут все еле перебиваемся. Но когда святим свой хлеб, то бедным раздаем куличи. Это вопрос чести и христианской любви. А они, эти скаредники, что дают? Хлеб, моя дорогая, и не белый, не первосортный, нет... черный хлеб... разве это не позор? Такие богатые люди! Жена бондаря Помьера как-то слышала, как священник упрекал госпожу Ланлер за такую скупость. «С них и этого много», – ответила она ему.

Нужно быть справедливой и к хозяевам. Если все одного мнения на счет хозяйки, то ничего подобного не говорят о хозяине, его не ругают. Все даже готовы признать, что хозяин негордый человек и был бы благородным и добрым, если бы только мог. Но, к несчастью, он ничего не может сделать.

Хозяин ничего не значит в доме. Кошке и той больше позволено. Ради спокойствия он мало-помалу отказался от своего авторитета хозяина и потерял всякое достоинство, как муж, который под башмаком у своей жены. Всем заправляет в доме хозяйка. Она сама за всем смотрит, за конюшней, за черным двором, садом, за погребом, за сараем и везде успевает накричать. Все делается не так, как она хочет, и все ей кажется, что ее обворовывают. Пройдоха, нечего сказать! Ее не проведешь, всех насквозь видит! Она сама платит по счетам, получает проценты и арендную плату, заключает всякие сделки. Она проницательна, как старый конторщик, груба как судебный пристав и изобретательна как ростовщик... Она, понятно, крепко держится за кошелек и раскрывает его только тогда, когда нужно положить деньги. Хозяин по ее милости ходит без копейки, и ему, бедному, табаку не на что купить. Среди такого богатства он больше всех здесь нуждается в деньгах. Однако он никогда не протестует. Он подчиняется своей участи. Ах, как он смешон подчас бывает с этим видом глупой, послушной собаки! Нужно его видеть, когда в ее отсутствие приходит лавочник со счетом, нищий или рассыльный, которому нужно дать на чай. Как он комичен бывает! Он ищет по карманам, ощупывает себя, краснеет, извиняется и жалобным тоном говорит:

– Позвольте! Совсем нет мелочи... У меня только тысячефранковый билет... Может быть, разменяете? Нет? Ну, тогда придется еще раз прийти...

Это у него-то тысячефранковый билет, когда у него никогда не бывает и ста су за душой! Почтовую бумагу и ту хозяйка запирает от него на ключ и выдает только по одному листку и при этом ворчит:

– Благодарю! Вся бумагу изведешь... И кому это ты столько пишешь?

Никто не может понять этой недостойной мужчины слабости, и его упрекают в том, что он позволяет такой мегере так обращаться с собой. Наконец, – и все об этом знают, хозяйка сама на всех перекрестках рассказывает – они вовсе не принадлежат друг другу. Хозяйка больна, не может иметь детей и слышать не хочет об этом. Это у нее, по-видимому, вызывает страшные боли. По этому поводу здесь циркулирует интересная история...

На исповеди хозяйка рассказала обо всем священнику и спросила у него, можно ли им с мужем... не по-настоящему...

– Что это значит «не по-настоящему», мое дитя?.. – спросил ее священник.

– Я сама в точности не знаю, батюшка, – ответила хозяйка, растерявшись. – Это такие ласки...

– Такие ласки!.. Но, мое дитя, разве вы не знаете, что... такие ласки... смертный грех...

– Поэтому-то я и прошу разрешения у церкви...

– Да! Да! Впрочем... посмотрим... такие ласки... часто?

– Мой муж человек крепкий... здоровый... два раза в неделю, может быть...

– Два раза в неделю? Много... слишком много. Это уже разврат. Какой бы он здоровый ни был, ему не нужны два раза в неделю... такие ласки.

Он постоял несколько секунд в раздумье, и наконец сказал:

– Так и быть... я разрешаю... такие ласки два раза в неделю... однако, при условии... во-первых, вы лично никакого греховного удовольствия от этого получать не должны...

– Ах! клянусь вам, батюшка!

– Во-вторых, вы должны ежегодно жертвовать двести франков... на алтарь Пресвятой Девы.

– Двести франков! – подпрыгнула хозяйка... – За это?.. О, нет!..

– И после всего этого, – продолжала лавочница, которая мне рассказывала эту историю, – хозяин так мягок, так добр к женщине, которая не только денег ему не дает, но и никаких наслаждений! Я бы ей показала...

Барин – человек здоровый и очень страстный и, кроме того, очень добрый. Нужны ему деньги на развлечения или на милостыню для бедных – к каким только смешным приемам, грубым уловкам и самым неудобным займам ему не приходится прибегать в таких случаях. А когда это все раскрывается, хозяйка устраивает ужасные сцены, поднимаются ссоры, которые тянутся часто целыми месяцами. Барин тогда убегает из дома и носится по полям, как сумасшедший, со страшными, угрожающими жестами, разбрасывая комья земли и разговаривая сам с собою, и это – в дождь, в бурю, в снег... Затем он возвращается вечером домой робкий, согнувшийся, дрожащий и еще более послушный, чем раньше...

Смешно и печально то, что, несмотря на все упреки со стороны лавочницы, несмотря на все эти разоблачения и грязные истории, которые передаются из уст в уста, из дома в дом, из одной лавки в другую, я чувствую, что Ланлерам все скорее завидуют, чем презирают. Они и преступны, и бесполезны, и даже вредны для общества, они всех подавляют своим миллионом, однако именно этот миллион и окружает их ореолом уважения и даже славы. Им кланяются ниже, чем другим, их принимают с большей готовностью, чем других. Эту грязную лачугу, в которой они по своей скупости живут, называют замком, да еще с какой пошленькой угодливостью! И я уверена, что туристу, который интересовался бы окрестностью, эта самая лавочница, несмотря на всю свою ненависть к ним, стала бы рассказывать:

– У нас красивая церковь... красивый фонтан... у нас, кроме того, есть еще одна достопримечательность... Ланлеры... Они миллионеры и живут в замке... Они отвратительные люди, и мы ими очень гордимся...

Преклонение перед миллионом! Эта черта свойственна не только буржуа, но в большинстве случаев и нам, маленьким, незаметным людям, без гроша за душой. И у меня, несмотря на мою заносчивость и гордость, у меня та же слабость. Богатство меня подавляет, я ему обязана своими печальями, своими пороками, своей ненавистью, своими унижениями, своими несбыточными мечтами, самыми ужасными мучениями, и все-таки, когда я вижу богатого человека, я против своего желания смотрю на него как на какое-то особенное, красивое существо, как на какое-то божество, и против моей воли и рассудка в глубине моей души начинает подниматься какое-то чувство удивления, восхищения перед этим богачом... Как глупо! Почему? И за что?

Уходя из этой странной лавки болтливой торговки, где я не могла между прочим набрать нужного мне шелка, я с отчаянием думала обо всем, что мне эта женщина рассказала про моих хозяев. Моросило. Небо было такое же мутное, как душа этой сплетницы-лавочницы. Я с трудом передвигалась по скользкой грязной мостовой и злилась на торговку, на своих хозяев, на самое себя, злилась на это деревенское небо, на эту грязь, в которой вязли мои ноги и моя душа, на эту смертельную скуку маленького городка и все время повторяла:

– Так, так!.. Ловко попалась. Мне только этого и не доставало. И до чего я дошла!

О, да! Я низко пала! Чего хуже.

Хозяйка одевается без моей помощи и сама причесывает себе волосы. Она запирается на ключ в своей уборной, и я почти не имею права туда зайти. Один Бог ведает, что она там

делает по целым часам! В этот вечер я не выдержала, громко постучала в дверь, и между нами завязался небольшой разговор. Тук, тук!

– Кто там?

Ах, этот пронзительный, визгливый голос! Так и хотелось бы смазать ее кулаком по роже...

– Это я, барыня.

– Что вам нужно?

– Я хочу убрать комнату.

– Она убрана, ступайте... И приходите только тогда, когда я позвоню.

Это значит, что я даже не горничная здесь. Я не знаю, что я здесь и какие у меня обязанности! Одевать, раздевать, делать прическу – это мне больше всего нравится в моем занятии. Я люблю возиться с ночными рубашками, кружевами и лентами, разбирать белье, шляпы, кружева, меха, растирать своих барынь после ванны, пудрить их, шлифовать им ногти, брызгать духи им на грудь, на волосы, наконец, знать их от головы до ног, видеть их совершенно голыми... Они перестают тогда быть для вас только хозяйкой, они становятся почти другом, часто даже рабом... Совершенно невольно становишься поверенной всех их дел, знакомишься с их печалью, пороками, любовными разочарованиями, самыми интимными тайнами супружества, их болезнями. При известной ловкости удаётся всякими мелочами держать их в руках, и они даже этого не замечают. В убытке от этого не бываешь. Это и выгодно, и забавно. Вот как я понимаю службу горничной.

Трудно себе представить, сколько – как бы это сказать? – сколько неприличия, непристойности в их тайнах, даже у тех, которые в свете слывят за самых сдержанных, строгих, за неприступную добродетель... Ах, в уборных маски спадают... Какие изъяны, какие трещины появляются на самых гордых фасадах!

У одной из моих хозяек была смешная привычка. По утрам, прежде чем одеть рубашку, и по вечерам после того, как я раздевала ее, она по четверти часа рассматривала себя, голая, перед зеркалом. Затем она выставляла грудь вперед, откидывала голову назад, быстрым движением поднимала руки вверх, и груди, которые у нее висели как жалкие тряпки, немного поднимались. Она спрашивала меня:

– Селестина, посмотрите!.. Не правда ли, они еще крепкие?

Можно было со смеху надорваться. Да и все тело хозяйки походило на жалкие руины. Когда она, снявши рубашку, освобождалась от всех своих повязок и поясов, то можно было подумать, что она сейчас разольется липкой жидкостью по ковру. Живот, торс, груди – все это было похоже на пустые мехи, на вывернутые карманы, которые висят грязными складками... Ляжки дряблые, кожа вся изрытая, в морщинах, как старая губка. И все-таки в этих разрушающихся формах видна была какая-то печальная грация или скорее воспоминание о грации, грации женщины, которая была когда-то красива и всю свою жизнь прожила для любви. Как большинство стареющих женщин, она в своем ослеплении не замечала, как она с каждым днем все более увядает, и прилагала все старания, пускала в ход самое тонкое кокетство, чтобы еще и еще раз вызвать Любовь. И любовь приходила на этот последний зов... Но откуда? Ах, как это было грустно!

Иногда она, запыхавшись, смущенная, возвращалась перед самым обедом:

– Скорей, скорей... Я запоздала... Разденьте меня...

Откуда она возвращалась с таким утомленным лицом, с синевой под глазами, обессиленная, еле держась на ногах? И в каком беспорядке все, что на ней было одето!.. Рубашка изодранная и грязная, юбки наскоро завязаны, корсет криво и слабо затянут, подвязки не застегнуты, чулки опущены... В сбившихся волосах еще висели легкие шерстинки от сукна и пушинки от подушек! От поцелуев румяна на губах и щеках потрескались, и складки и морщины лица зияли, как раны... Чтобы отвести мои подозрения, она начинала жаловаться:

– Не знаю, что со мною было... У портнихи мне дурно сделалось... Пришлось раздеть меня... Я еще теперь себя плохо чувствую...

И часто из жалости я делала вид, что принимаю эти глупые объяснения за чистую монету.

Однажды утром, когда я была с хозяйкой, раздался звонок. Лакей куда-то ушел, и я пошла открыть. Вошел молодой человек, какая-то темная, подозрительная личность – не то рабочий, не то бродяга... Один из тех, которых можно встретить иногда на Дурлановских балах и которые живут воровством или развратом. Лицо бледное, небольшие черные усы, красный галстук. На плечах висел слишком широкий вестон, и он слегка раскачивался, стараясь делать самые изящные движения. Смущенным от неожиданности взглядом он стал рассматривать богатую обстановку передней, ковры, зеркала, картины, обои. Затем он протянул мне письмо для барыни и, картавя и растягивая слова, сказал повелительным тоном:

– Попросите ответа.

Пришел ли он по своему делу или это был только посредник?.. Первое предположение было вернее. Люди, которые приходят по чужому делу, не держатся и не говорят с таким авторитетом...

– Я посмотрю, дома ли барыня, – сказала я из предосторожности, поворачивая письмо в руках.

– Она дома, – возразил он. – Я знаю... Без лишних слов! Мне некогда...

Хозяйка прочитала письмо. Она покраснела и, от испуга забыв про меня, прошептала:

– Он здесь, у меня?.. Вы его оставили одного в передней? Как он узнал мой адрес?

Но она тотчас же пришла в себя и прибавила:

– Ничего... Я его не знаю... Это какой-то бедный... и стоящий участия человек... У него мать умирает...

Она поспешно открыла дрожащей рукой свой стол и вынула стофранковый билет:

– Отнесите ему... скорее... Бедный малый!..

– Однако!.. – невольно процедила я сквозь зубы. – Барыня сегодня очень добра, и бедным везет.

Я особенно подчеркнула слово «бедным».

– Ступайте же! – приказала она, едва владея собой.

Барыня особенною любовью к порядку не отличалась, и все ее вещи валялись на столах, на стульях. Но когда я вернулась, письмо уже было разорвано и последние лоскутки его догорали в камине.

Я так и не узнала, что это был за молодой человек. И я его больше не видала. Но что мне доподлинно известно, так это то, что барыня в это утро, перед тем как надеть рубашку, не стояла голая перед зеркалом и не спрашивала меня, поднимая свои жалкие груди: «Не правда ли, они еще крепкие?» Целый день она оставалась у себя в комнате, беспокойная, нервная, напуганная.

С этого времени, когда она запаздывала вечером, я всегда боялась, чтобы ее не убили где-нибудь. Мне приходилось иногда говорить по поводу моих опасений с нашим старшим лакеем, маленьким старичком, с отвратительным, пошлым лицом, с красными пятнами на лбу.

– Еще бы!.. Уверен, что с ней это когда-нибудь случится... Нужно же ей бегать за сутенерами, этой старой распутнице, почему бы ей здесь, в доме, не обратиться к надежному человеку?

– К вам, может быть?.. – шутила я.

И старший лакей громко заявлял при общем смехе окружающих:

– Что ж... Смею уверить, осталась бы довольна, и недорого бы взяла...

Тоже был сокровище...

С моей предпоследней хозяйкой была другая история. И перемывали же мы ее косточки, когда сидели, бывало, все за столом после ужина! Теперь я вижу, мы были неправы, потому что хозяйка эта не была злой женщиной. Она была мягкая, благородная и несчастная... Сколько подарков я от нее получила! Иногда, нужно сознаться, наш брат бывает слишком груб и неблагодарен. И страдают от нас в таких случаях как раз самые благородные хозяйки.

Муж этой барыни – какой-то ученый, член не знаю уж какой академии – был крайне невнимателен к ней. И не потому, чтобы она была безобразна; наоборот, она была очень красива. И за другими женщинами он не бегал, это был на редкость скромный человек. Не очень молод и, очевидно, не страстный человек. По целым месяцам он не бывал в супружеской спальне. И она в отчаяние приходила... Каждый вечер я приготавливала ей красивый туалет для любви, прозрачные рубашки, крепкие духи и другие вещи... Она говорила мне:

– Сегодня, Селестина, он, может быть, придет... Вы не знаете, что он делает?

Барин в своей библиотеке, работает.

Она делала нетерпеливый жест.

– Боже мой! Вечно в этой библиотеке!

И со вздохом прибавляла:

– Он все-таки, может быть, придет сегодня...

Я гордилась ее нарядами, красотой, ее страстностью – это было все до некоторой степени делом моих рук. Я рассматривала ее с восхищением и говорила ей:

– Барин сделает большую ошибку, если не придет сегодня. Один восторг – смотреть на вас. Уверена, что он в эту ночь совсем потеряет голову!

– Ах! Молчите... молчите!.. – шептала она.

Понятно, на другой день были только одни печали, жалобы, слезы...

– Ах, Селестина!.. Муж не приходил ночью... Я его всю ночь прождала... а он не пришел... Он больше никогда не придет!

Я ее старалась утешить:

– Барин был, наверное, очень утомлен своей работой. Ученые редко думают об этом...

И не знаешь совсем, о чем они думают. Может быть, вы испробовали бы гравюры для барина? Есть, кажется, такие красивые гравюры, против которых не могут устоять даже самые холодные мужчины...

– Нет, нет... Зачем?

– Вы бы сказали, чтобы барину по вечерам подавали побольше пряностей, раков...

– Нет! Нет!

Она печально качала головой.

– Он меня не любит, вот мое горе... Он меня больше не любит...

Затем, робко, без злобы, скорее с мольбой в голосе, она спрашивала меня:

– Селестина, будьте откровенны со мной. Мой муж никогда вас не трогал? Он не обнимал вас когда-нибудь? Он вас никогда...

– Нет... какая мысль!

– Скажите мне, Селестина!

– Уверяю вас, что нет, барыня... Ах! Барин просто смеется над этим! И неужели вы думаете, что я могла бы вам доставить такую неприятность?

– Вы бы лучше сказали мне... – умоляла она. – Вы красивая девушка... У вас такие страстные глаза... у вас должно быть очень красивое тело!..

Она заставляла меня ощупывать ее грудь, руки, бедра. Она во всех подробностях сравнивала свое тело с моим, с таким бесстыдством, что я смущалась и краснела, и я думала, не уловка ли это с ее стороны и не скрывается ли за этой скорбью покинутой женщины какая-нибудь иная мысль, страсть ко мне... Она не переставала вздыхать:

– Боже мой, Боже мой!.. Ведь я не старая женщина... И не дурна собой... Не правда ли, у меня не толстый живот?.. Неправда ли, у меня упругая и нежная кожа?.. И у меня столько страсти... если бы вы знали... столько чувства!..

Часто, вся в слезах, она бросалась на диван, прятала свою голову в подушку, чтобы заглушить рыдания, и бормотала:

– Ах, Селестина!.. Никогда не любите... не любите... это большое... большое... большое несчастье!

Когда она однажды плакала более обыкновенного, я вдруг к ней обратилась:

– На вашем месте, барыня, я завела бы любовника. Вы слишком красивая женщина, чтобы так оставаться...

Мои слова испугали ее, и она вскрикнула:

– Молчите... о, молчите...

Я настаивала:

– Но у всех ваших подруг есть любовники...

– Молчите... Никогда не говорите мне больше об этом...

– Но вы такая страстная!

Совершенно хладнокровно и спокойно я ей назвала одного очень шикарного молодого человека, который часто ходил к ним, и прибавила:

– Вот кто любил бы!.. И какой он, вероятно, ловкий и деликатный с женщинами!

– Нет... Нет... Вы не знаете, что говорите...

– Как хотите... Ведь я только для вас стараюсь.

И когда барин за лампой в библиотеке выводил какие-то круги и цифры на бумаге, она, погруженная в свои мечты, повторяла про себя:

– Он, может быть, придет сегодня ночью?..

Каждый день, когда мы сходились за завтраком, это было единственной темой наших разговоров... У меня все спрашивали:

– Ну? Как? Пришел он наконец?..

– Все еще нет...

Подумайте только, что это была за благодарная тема для грязных шуток, неприличных намеков, оскорбительных насмешек. Держали даже пари на тот день, когда хозяин наконец решится «прийти».

Из-за какой-то ничтожной ссоры, в которой я была кругом виновата, я оставила хозяйку. Я ее покинула со скандалом, бросив ей в лицо, в это бедное, удивленное лицо, всю ее плачевную историю, все ее маленькие интимные страдания, все тайны ее маленькой души, все жалобы, капризы, прелести и страсти... Да, все это я ей бросила в лицо, как ком грязи. И еще хуже. Я ее обвинила в самом грязном разврате, в самых низменных страстях... Это была отвратительная сцена.

Порой у меня появляются какие-то непреодолимые припадки бешенства, какое-то сумасшествие, которое меня толкает на самые невероятные поступки... Я не сопротивляюсь этому, даже когда сознаю, что поступаю против своих интересов, что сама готовлю себе беду.

На этот раз я зашла слишком далеко в своей несправедливости и невозможных оскорблениях. Вот что я сделала. Через несколько дней после того, как я ушла от своей хозяйки, я взяла открытое письмо и написала это милое послание с таким расчетом, чтобы все в доме могли его прочесть. Да, у меня хватило дерзости так написать:

«Уведомляю Вас, сударыня, что отсылаю Вам все эти, с позволения сказать, подарки, которые Вы мне сделали. За пересылку заплачено. Я бедная девушка, но у меня слишком много достоинства, я слишком люблю чистоту, чтобы сохранять эти грязные тряпки, которые вы мне подарили вместо того, чтобы их выбросить. Не воображайте, пожалуйста, что

из бедности соглашусь носить Ваши безобразные юбки, совершенно истрепанные и пожелтевшие... Имею честь кланяться».

Это было грубо, что и говорить!.. Но, кроме того, это было и глупо. Как я уже упоминала, хозяйка была очень добра ко мне. Ее вещи я на следующий день продала за четыреста франков.

Я так поступила, вероятно, просто с досады, что потеряла такое хорошее место, где я жила не как горничная, а как принцесса, в полном довольстве, припеваючи.

Да что там! С хозяевами некогда быть справедливой. Пусть хорошие платятся за дурных...

А здесь? В этой деревенской глуши, с этой отвратительной хозяйкой нечего и мечтать о таком раздолье, нечего и надеяться на такие развлечения. Бегать по хозяйству... шить до одурения... больше тут нечего делать. Ах! Когда я вспоминаю про свои прежние места, мое положение мне кажется еще более печальным, еще более несносным. И у меня появляется желание сбежать отсюда, распрощаться с этими дикарями...

Я как-то встретила барина на лестнице. Он шел на охоту... Он посмотрел на меня каким-то шаловливым взглядом и спросил:

– Ну как, Селестина, привыкли здесь?

Это решительно какая-то мания у него.

– Не знаю еще, барин... – ответила я и затем дерзко прибавила:

– А вы, барин, привыкли?

Барин рассмеялся... Он понимает шутки. Право, славный парень.

– Нужно привыкать, Селестина... нужно привыкать, черт возьми!

Я становилась смелее.

– Я постараюсь, барин... – ответила я, – при вашей помощи...

Я думаю, что он хотел сказать мне какую-то сальность.

Его глаза заблестели, как угли... Но наверху показалась барыня, и мы разошлись каждый своей дорогой. Жаль...

А вечером, проходя мимо залы, я слышала, как барыня своим милым тоном говорила барину:

– Я не желаю, чтобы фамильярничили с моей прислугой...

Ее прислугой! Как будто ее прислуга не его прислуга. Не дурно, право.

Глава третья

18 сентября.

Сегодня утром по случаю воскресенья я пошла к обедне.

Я уже упоминала о том, что, не будучи набожной, я довольно религиозна. Можно говорить и делать что угодно, но религия всегда останется религией. Богатые, может быть, и могут обходиться без нее, но нашему брату она необходима. Я знаю, конечно, что и некоторые миряне ею злоупотребляют и что многие попы и монахини не делают ей чести, но это неважно. В трудные минуты жизни, которых так много бывает на службе у чужих людей, ни в чем нельзя найти такого утешения для своей скорби, как в религии... и в любви. Да, но любовь совсем другого рода утешение... Даже в нерелигиозных домах я никогда не пропускала обедни. Обедня прежде всего связана с уходом из дому, это развлечение; хоть на время можно уйти от тоски в этой казарме. Кроме того, встречаешься с подругами, узнаешь новости, знакомишься с новыми людьми. Ах! Если бы я в свое время прислушалась к этим любопытным псалмам, которые мне нашептывали старички у часовни ассомпционистов, я, может быть, не была бы теперь здесь!

Сегодня погода поправилась. Стоит солнечный день, когда так приятно ходить и когда рассеивается тоска. От этого золотого солнца и голубого неба у меня, не знаю почему, появляется какое-то веселое настроение.

Мы находимся на расстоянии полукилометра от церкви. Туда ведет красивая дорожка. Весной тут, должно быть, много цветов диких вишен и белых акаций, которые так хорошо пахнут... Я люблю эти белые акации. Они мне напоминают мое детство... Вид кругом самый обыкновенный: широкая долина, окаймленная холмами; по долине протекает речка, а холмы покрыты лесом и все это затянуто прозрачной, золотистой дымкой.

Странно, я остаюсь верна бретонской природе. Она у меня в крови. И красивее всего она мне кажется, и ближе всего моему сердцу. Даже посреди богатой и роскошной природы Нормандии я испытывала тоску по равнине и великолепному бурному морю, где я родилась. И от этих внезапных воспоминаний поднимается какое-то грустное облачко на веселом фоне красивого утра.

По дороге встречается очень много женщин. С молитвенниками под мышкой, они также идут к обедне: кухарки, горничные, скотницы; жирные, неповоротливые, они идут медленно, с развальцем. Какие они смешные в своих праздничных костюмах, настоящие увальни! Видно, что они дальше своей деревни несут не показывали, видно что они никогда не служили в Париже. Они меня рассматривают с любопытством, в котором проглядывает и симпатия, и недоверие в то же время. Они с завистью рассматривают во всех подробностях мою шляпу, мое узкое платье, мой маленький бежевый жакет и мой зонтик с чехлом из зеленого шелка. Мой туалет и еще более, я думаю, моя кокетливая и элегантная манера носить его вызывают в них удивление. Они толкают друг дружку локтями, чтобы привлечь внимание на мой шик и мою роскошь. А я продолжаю свой путь легкой и изящной походкой, смелым движением поднимая платье, которое шуршит на шелковых юбках... Чего же вы хотите? Я очень довольна, что мной восхищаются.

Когда они проходят мимо меня, я слышу, как они перешептываются:

– Это новая, из Приерэ...

Одна из них, низенькая, толстая, красная, с отдышкой, с огромным животом, на кривых ногах, подошла ко мне и с расплывшейся, жирной улыбкой на губках сказала:

– Это вы новая горничная из Приерэ? Вас зовут Селестиной? Вы четыре дня назад приехали из Парижа?

Она уже все знает. Она осведомлена обо всем не хуже меня. Как смешно видеть на голове у этой жирной и толстой особы шляпу мушкетера, черную фетровую шляпу с развевающимися перьями.

– Меня зовут Розой... – продолжала она. – Я служу у старого капитана Може... рядом с вами. Вы, может быть, уже видели его?

– Нет, сударыня...

– Вы его увидите через забор, который разделяет эти два владения. Он постоянно в саду работает. Знаете, он еще красивый мужчина!

Мы замедляем шаги, потому что Роза еле дышит. Она хрипит, как опоенная лошадь, и грудь у нее тяжело вздымается. Она говорит, глотая слова:

– У меня мой припадок... О, сколько теперь страданий на свете... прямо невероятно!

Затем, продолжая шипеть и кряхтеть, она обращается ко мне:

– Загляните как-нибудь ко мне, моя милая, если вам что-нибудь понадобится... посоветоваться или мало ли что... не стесняйтесь... Я люблю молодых... Выпьем стаканчик настойки, поговорим... К нам много барышень приходит...

Она остановилась, перевела дух и тихим, таинственным голосом сказала:

– Вы, может быть, хотите, мадемуазель Селестина, адресовать свои письма на наше имя? Я бы вам это советовала. Не мешает. Госпожа Ланлер читает письма... все письма... Она как-то раз под суд попала за такую историю. Повторяю. Не стесняйтесь.

Я поблагодарила, и мы продолжали свой путь. Ее тело качается, как старое судно в бурном море, однако она теперь, по-видимому, легче дышит, и мы продолжаем болтать:

– Ах! тут вы много кое-чего увидите, прежде всего, моя милая, в Приерэ горничные не держатся... это уж всегда так... Или хозяйка прогонит, или забеременеет от хозяина. Это страшный человек, этот Ланлер. Красивые, некрасивые, молодые, старые... и с первого раза, ребенок! Ах, это известный дом... Это вам всякий скажет. Там плохо кормят, никакой свободы не дают, по горло работы... И эти вечные укоры, крики... Настоящий ад! Вы такая благородная и воспитанная; стоит на вас посмотреть, чтобы сказать, что вы у них не усидите.

Все, что я слышала от лавочницы, мне снова рассказывает Роза с еще худшими подробностями. У нее такая большая потребность болтать, что она совсем забывает о своей болезни. Злословие оказывается сильнее ее астмы... И бесконечно тянется рассказ о домашних делах вперемешку со всякими интимными историями про соседей. Хотя я все уже это знаю, но эти истории так грязны, от них веет таким отчаянием, что меня охватывает тоска. И я задаю себе вопрос, не лучше ли мне уехать... Зачем делать попытку, когда я заранее уверена в неудаче?

К нам присоединяются еще несколько женщин, которые своими энергичными вставками стараются подтвердить разоблачения Розы. А она, несмотря на отдышку, не перестает тараторить:

– Може очень хороший человек... и одинокий, моя милая... Мне и приходится хозяйкой быть... старый капитан... как же иначе? Где ему хозяйничать? Разве это его дело? Он любит, чтобы за ним ухаживали, чтобы его баловали, чтобы белье хорошо было вымыто, чтобы исполняли его прихоти, чтобы вкусно готовили... Если бы у него не было надежного и верного человека, его бы со всех сторон обкрадывали... Воров тут, слава Богу, сколько угодно!

Интонация, с которой она произносит свои короткие фразы, и блеск ее глаз дают мне возможность самым точным образом определить ее положение в доме капитана Може.

– Не так ли? Человек одинокий, да еще с прихотями. Да и так много работы. Непременно придется взять мальчика на помощь...

Этой Розе повезло... Я тоже часто мечтала о службе у старика. Это отвратительно... Но спокойно, по крайней мере, да и будущее обеспечено... Хоть бы и капитан, даже с прихотями... Как смешны они должны быть оба под одеялом!

Во всей местности, по которой мы проходим, право, нет ничего красивого. Ничего похожего на бульвар Мальзерб. Улицы грязные, узкие, кривые, дома ветхие, черные, подгнившие, этажи выступают друг над другом на старинный лад. Среди встречающейся публики ни одного красивого лица. В этой местности занимаются башмачным промыслом. И очень многие, которые не успели за неделю исполнить заказ, заканчивают его теперь. Через окна я вижу эти бедные, исхудавшие лица, согнутые спины и черные руки, которые стучат по кожаным подошвам.

Вся местность погружена в какую-то глубокую печаль... Настоящая тюрьма.

Но вот лавочница стоит у своего крыльца, улыбается нам и кланяется:

– Вы к поздней обедне? Я ходила к ранней... Вы еще успеете. Может быть, зайдете на минуточку?

Роза благодарит. Она мне советует остерегаться лавочницы, – это злая женщина и злословит про всех... настоящая ведьма! Затем она начинает перечислять добродетели своего хозяина и прелесть ее службы... Я спрашиваю у нее:

– Значит, у капитана нет семьи?

– Нет семьи? – вскрикнула она. – Конечно, моя милая, вы не здешняя. Ах, есть ли у него семья? Самая настоящая! Целая куча племянниц и двоюродных сестер. Все бездельники, голые, нищие... Как они его объедали... обкрадывали, нужно было посмотреть! Одна мерзость! Конечно, я навела порядок... очистила дом от всей этой сволочи... Да, моя дорогая, без меня капитан бы с сумой теперь ходил... Ах! Бедный человек! Теперь-то, поди, доволен...

Я продолжаю иронизировать; впрочем, она меня не понимает.

– Что, мадемуазель Роза, завещание-то он верно в вашу пользу напишет?

Она на это осторожно ответила:

– Хозяин поступит так, как он сам знает... Он свободен... Уж я, конечно, на него влиять не буду. Я у него служу из преданности к нему... Но он сам понимает... Он видит, кто его любит, кто за ним ухаживает, кто корыстно о нем заботится. Не думайте, что он так глуп, как некоторые о нем говорят... И больше всех госпожа Ланлер. Чего она только о нас не болтает! Он, напротив, Селестина, хитрый человек, себе на уме...

Во время этой красноречивой защиты капитана мы подошли к церкви.

Толстуха Роза не покидает меня. Она заставляет сесть рядом с ней и начинает бормотать молитвы, класть земные поклоны и креститься... Ах, что это за церковь! Своими толстыми балками, которые поддерживают шатающийся свод, она напоминает сарай. А публика кашляет, плюет, двигает скамейками и стульями, точь-в-точь как в деревенском кабаке. Лица у всех глупые, невежественные и рты, искривленные злобой и ненавистью. Это все бедняки, которые пришли жаловаться Богу на других. Мне трудно овладеть собой, мне как-то холодно, не по душе... Это, может быть, потому, что в церкви нет органа. Звуки органа захватывают меня всю. Я себя так чувствую, когда я люблю. Если бы я всегда слышала звуки органа, я, вероятно, никогда не грешила бы... Здесь вместо органа бренчит на жалком, расстроенном рояле какая-то дама с голубыми глазами, с черной маленькой шалью на плечах. А публика все кашляет и плюет, и этот шум заглушает псалмопение священника и детского хора. И как тут скверно пахнет! Какой-то смешанный запах навоза, хлеба, земли, гнилой соломы, мокрой кожи и ладана... Право, они плохо воспитаны тут, в провинции!

Обедня долго тянется, и я начинаю скучать. Мне, кроме того, надоело общество этих грубых людей, которые к тому же так мало внимания обращают на меня. Ни одного красивого лица, ни одного красивого туалета, на котором глаз мог бы отдохнуть. Никогда я так

хорошо не понимала, что я создана для изящества и для шика... Вместо восторга, как во время обедни в Париже, во мне поднимается чувство протеста. Чтобы рассеяться, начинаю внимательно следить за движениями священника, который служит. Тоже утешение! Это здоровенный детина, очень молодой, с вульгарным лицом кирпичного цвета. Волосы растрепанные, челюсти хищника, губы обжоры, отвратительные маленькие глазки и темные мешки под глазами. Как нетрудно разгадать его! То-то, должно быть, на еду тратится человек! А на исповеди... сколько пошлостей, наверное, говорит женщинам! Заметив, что я смотрю на него, Роза наклонилась ко мне и очень тихо сказала:

– Это новый викарий... рекомендую. Никто так не исповедует женщин, как он. Настоятель – тот святой человек, это верно, но он слишком строг... Ну а новый викарий..

Она прищелкнула языком и опять принялась за молитвы, наклонив голову над молитвенником.

Нет, этот новый викарий мне не понравился. У него вид грязного и грубого человека. Он скорее похож на извозчика, чем на священника. А мне бы побольше тонкости, поэзии, чего-нибудь изящного и белые руки. Я люблю, чтобы мужчины были мягкие, изящные, как Жан...

После обедни Роза меня тащит к лавочнице. Наскоро и таинственно она мне объясняет, что с ней нужно быть в хороших отношениях и что вся прислуга ищет ее расположения.

Эта тоже маленькая толстушка. Это, положительно, край толстых женщин. Все лицо у нее в веснушках, волосы светлые, как лен, редкие и местами просвечивает голый череп. На голове смешно торчит какой-то шиньон, как маленький хвостик. При малейшем движении грудь под темным корсажем переливается у нее, как жидкость в бутылке. Ее глаза с красными ободками готовы выскочить. Когда она улыбается, ее губы искривляются в какую-то отвратительную гримасу... Роза нас знакомит:

– Госпожа Гуэн, я к вам привела новую горничную из Приерэ...

Лавочница меня внимательно осматривает, и я замечаю, как взгляд ее останавливается на моей талии, на животе. Она обращается ко мне каким-то глухим голосом:

– Будьте, барышня, как дома... Вы очень красивы, барышня... Вы, наверное, из Парижа?

– Да, госпожа Гуэн, я действительно из Парижа...

– Это видно... это сейчас же видно... Это с первого раза можно заметить... Я очень люблю парижанок... Они, что называется, умеют жить... Я также в молодости служила в Париже... я служила у одной акушерки, госпожи Трипье, на улице Генего... Вы ее, может быть, знаете?

– Нет...

– Ну да... это очень давно уже было. Войдите же, мадемуазель Селестина.

Она нас торжественно проводила в комнату за лавочкой, где за круглым столом уже сидели четыре служанки.

– Ах, и натерпите же вы там! – вздохнула лавочница, подавая мне стул. – Это я не потому говорю, что у меня больше не забирают из замка... Это не дом, должна я вам сказать, а ад... настоящий ад... Не правда ли, барышни?

– Конечно! – отвечают в один голос все четыре служанки с одинаковыми жестами и гримасами.

Госпожа Гуэн продолжает:

– Покорно благодарю! Охота мне была иметь дело с людьми, которые вечно торгуются и кричат, что их обкрадывают и обманывают. Пусть других поищут...

Хор служанок повторяет:

– Конечно, пусть других поищут...

Затем госпожа Гуэн обращается к Розе и уверенным тоном прибавляет:

– Как по вашему мадемуазель Роза, – ведь за ними бегать не приходится, не правда ли? Благодаря Бога и без них обходимся?

Роза вместо ответа только пожимает плечами, но в этом жесте так много желчи, злобы и презрения. И огромная шляпа мушкетера беспорядочным движением своих перьев как бы подтверждает всю силу волнующих ее чувств.

После некоторого молчания:

– Ну! Довольно о них говорить... У меня всегда от этих разговоров живот начинает болеть.

Маленькая, худенькая смуглянка с кошачьей мордочкой, с прыщами на лбу и слезящимися глазами вскрикивает среди общего смеха:

– Да ну их... на самом деле...

После этого начинаются всякие истории.

Это какой-то непрерывный поток сквернословия, который извергается ими, как из водосточной трубы. Кажется, что вся комната заражена миазмами. Впечатление еще усиливается от того, что в комнате темно и человеческие фигуры принимают какие-то фантастические формы. Единственное узенькое окошко выходит на грязный, похожий на колодезь, двор. Здесь пахнет рассолом, сгнившей зеленью, селедкой... Воздух невыносимый. Мои красавицы развалились на своих стульях, как связки грязного белья, и каждая из них порывается рассказать какой-нибудь скандал, какую-нибудь грязную историю. По слабости своей я пробую смеяться вместе с ними, поддакивать им, но мною овладевает сильнейшее чувство отвращения.

Меня начинает тошнить, подступает к горлу, во рту отвратительный вкус, стучит в висках... Мне хочется уйти, но я не могу, и остаюсь на месте с таким же глупым видом и в такой же позе, как они, и повторяя их жесты. Сижусь и слушаю эти резкие голоса, которые мне напоминают плеск воды во время мытья посуды.

Конечно, нападки на хозяев совершенно естественны. Это делают все. Но здесь переходят уже всякую меру. Эти женщины мне противны; я их проклинаю и говорю себе, что у меня ничего общего с ними нет. Воспитание, общение с изящными людьми, привычка к красивой обстановке, чтение романов Поля Бурже – все это меня спасло от этой пошлости.

Роза овладевает всеобщим вниманием. Моргая глазами, со сладкой улыбкой на устах, она рассказывает:

– Все это пустяки в сравнении с госпожой Родо, женой нотариуса... Ах! Какая там история была...

– Я не верила... – сказала одна.

– Она вечно с попами... – сказала другая. – Я всегда ее такой считала...

Шеи вытягиваются, и все взоры устремляются на Розу, которая начинает свой рассказ:

– Третьего дня господин Родо уехал на целый день в деревню...

Чтобы познакомить меня с Родо, она делает маленькое отступление:

– Подозрительный человек этот нотариус Родо... Какие-то у него все темные дела... Я заставила капитана отобрать у него деньги, которые он дал ему на хранение... Да! Впрочем, речь не о нем.

После этого введения она приступает к рассказу:

– Господин Родо, значит, был в деревне. Это никому неизвестно. Он, значит, поехал в деревню. Госпожа Родо тотчас же призывает к себе маленького причетника... маленького мальчика Юстина... в свою комнату... подмести там будто бы... Подметать вдруг вздумала! Она была совершенно голая, глаза у нее горели, как у собаки на охоте. Она его подзывает к себе... обнимает... ласкает... затем, говорит, блох будет искать у него и раздевает. И знаете ли, потом что она сделала? Она вдруг бросилась на него и насильно заставила... насильно, да, мои милые... И если бы вы знали, как она это сделала?

– Как она это сделала? – живо спросила маленькая смуглянка, вытягивая вперед свою кошачью мордочку.

Все напряженно слушают. Но Роза становится строгой и скромно заявляет:

– Это при барышнях нельзя говорить!..

«Ах!..» Все разочарованы. А Роза все более и более возмущается:

– Пятнадцатилетний ребенок... разве это слыхано! Такой красавчик... невинный, бедный мальчик мученик! Не пощадить ребенка... распутная женщина! Когда он уходил от нее, он дрожал, как осиновый лист... плакал горячими слезами... Херувимчик... сердце разрывалось, глядя на него... Что вы на это скажете?

Взрыв негодования, целый поток сквернословия и ругательств... Когда успокоились, Роза продолжает:

– Его мать ко мне приходила и рассказала все... Я, знаете ли, посоветовала подать в суд на нотариуса и его жену.

– Непременно... непременно...

– Вот видите, а она колеблется... и то и другое... Одним словом, она не хочет. Я думаю, не вмешался ли тут священник, он по воскресеньям обедает у Родо. Ну и боится! Ах! Если бы это со мной... Я, правда, религиозный человек, но ни один поп не заставил бы меня молчать... Я бы их заставила раскошелиться. Сотни, тысячи... десятки тысяч франков они бы мне заплатили...

– Непременно... непременно...

– Упустить такой случай? Беда!

И шляпа мушкетера качается, как шалаш во время бури.

Лавочница ничего не говорила... У нее смущенный вид... Должно быть, нотариус у нее в лавке покупает... Она ловко прерывает расхваливавшую Розу.

– Надеюсь, Селестина, вы не откажетесь выпить с нами стаканчик смородиновой наливки? И вы, Роза?

Это приглашение успокаивает страсти. При виде бутылки и стаканов, девицы начинают облизываться, глазки у всех разгораются.

Когда мы уходили, лавочница любезно, с улыбкой на устах сказала мне:

– Вы не смотрите, что ваши хозяева у меня не покупают в лавке... Вы заглядывайте ко мне...

Мы возвращаемся с Розой, которая заканчивает обзор местной хроники. Я думала, что запас ругательств иссяк у нее. Но не тут-то было. Она изобретает все новые ругательства, еще более страшные. Это какой-то неиссякаемый источник. Язык ее не знает удержу... Она перебирает решительно всех. Мы с ней дошли таким образом до забора Приерэ... Но и здесь она не может со мной расстаться... и говорит, говорит без конца, стараясь доказать мне свою дружбу и свою преданность. У меня трещит голова от всей этой болтовни, а вид Приерэ меня приводит в отчаяние. Ах, эти большие лужайки без цветов! И это огромное здание, имеющее вид казармы или тюрьмы, где вам кажется, за вами шпионят из каждого окна!

Солнечный жар становится сильнее, туман рассеялся и пейзаж проясняется. В конце долины, среди холмов виднеются деревушки, залитые розовым светом; речка протекает по долине то зеленая, то желтая, отливающая серебром на излучинах. Легкие облака украшают небо своими красивыми фресками. Но я не могу наслаждаться этим видом. Только одно желание, только один порыв охватывает меня – убежать от этого солнца, от этой долины, от этих холмов, от этого дома и от этой толстой женщины, которая своим злословьем терзает мне душу, приводит меня в бешенство.

Она наконец решается расстаться со мной, берет меня за руку, с чувством жмет ее своими толстыми пальцами и говорит:

– И затем, моя дорогая, имейте в виду, госпожа Гуэн очень милая женщина... и очень ловкая... К ней нужно почаще заглядывать.

Она опять останавливается и с еще большей таинственностью прибавляет:

– Сколько раз она уже молодым девушкам помогла! Как что-нибудь замечают... так тотчас же к ней идут... И никому ни звука. Уж я вам скажу... на нее положиться можно. Это очень... очень умная женщина...

Глаза у нее горят, она пристально глядит на меня и с какой-то странной настойчивостью повторяет:

– Очень умная... и ловкая... и... могила! Это настоящее благословение для нашего края. Ну идем, моя милая, не забывайте же заглянуть к нам. И почаще заходите к госпоже Гуэн... Вы об этом жалеть не будете... До скорого... до скорого свидания!

Она уходит. Я вижу, как она удаляется, раскачиваясь на своих кривых ногах, идет вдоль стены, забора, затем поворачивает на какую-то дорожку и вдруг скрывается из виду.

Я прохожу мимо кучера-садовника Жозефа, который очищает аллеи. Я думаю, что он сам заговорит, но он молчит. Он только искоса поглядывает на меня с каким-то странным выражением в глазах, от которого мне становится жутко.

– Хорошая погода сегодня, господин Жозеф...

Жозеф ворчит что-то сквозь зубы, сердит за то, что я позволяю себе идти по аллее, которую он расчищает...

Какой это смешной и неотесанный человек. Почему он никогда со мной не заговаривает? И почему он никогда не отвечает, когда я с ним заговариваю?

Дома застаю хозяйку недовольной. Она меня встречает очень сурово и делает выговор:

– Впредь, пожалуйста, не разгуливать так долго.

Я так раздражена, что мне хочется возразить. Но, к счастью, я овладеваю собой. Я только ворчу про себя...

– Что вы говорите?

– Я ничего не говорю...

– То-то. И я вам запрещаю гулять со служанкой Може. Это очень плохое знакомство для вас... Посмотрите... Все опоздало сегодня из-за вас.

А я говорю себе в это время:

– Наплевать! Нашла дурочку... Я буду говорить, с кем захочу... Буду встречаться с кем вздумается... Что ты, закон для меня, верблюд ты этакий!

Мне стоило только услышать ее пронзительный голос, увидеть ее злые глаза и самодурство, как мгновенно изгладилось то отвратительное впечатление, которое я вынесла от обедни, от торговки и от Розы. Роза и обе лавочницы правы, все они правы. И я даю себе обет встречаться с Розой, заходить к лавочнице, подружиться с этой грязной торговкой, потому что хозяйка мне это запрещает. И с каким-то диким упрямством я повторяю про себя:

– Верблюд, верблюд, верблюд!

Мне стало бы гораздо легче, если бы я осмелилась громко крикнуть это ей, бросить ей в лицо это оскорбление.

Днем, после завтрака, господа уехали в карете... Уборная, комнаты, бюро барина, все шкафы, буфеты – все было заперто на ключ. Что я говорила? Не угодно ли?

Я сидела в своей комнате и писала письма: матери, Жану и читала «В семье». Какая прелестная книга! И как хорошо она написана! Странно... Я люблю слушать всякие пошлости, но я не люблю их читать. Я люблю только такие книги, над которыми приходится плакать.

За обедом сегодня было потопе. Мне показалось, что господа дуются друг на друга. Барин с каким-то вызывающим видом читал «Petit Journal»... Он мял газету и вращал своими добрыми, смешными и мягкими глазами. Даже тогда, когда он сердится, глаза его остаются

мягкими и робкими. Наконец, чтобы завязать, вероятно, разговор, барин, не отрывая глаз от газеты, воскликнул:

– Так! Опять женщину на куски разрезали...

Барыня ничего не ответила. В черном шелковом платье, с резким и суровым лицом, она все сидела и думала... О чем? Может быть, она из-за меня дует на барина.

Глава четвертая

26 сентября.

За всю неделю я не могла ни одной строчки написать в своем дневнике. Когда наступает вечер, я себя чувствую утомленной, совершенно разбитой. И я думаю только о том, чтобы скорее лечь и заснуть. Заснуть! Если бы я могла навеки заснуть!

Ах, Боже мой, что это за казармы! Трудно и представить себе.

Из-за какой-нибудь безделицы хозяйка вас заставляет бегать вниз и вверх по этим проклятым этажам... Не успеешь присесть в прачечной и перевести дух, как... динь! динь! динь! нужно подниматься и бежать... Вам неможется – ничего не значит... динь! динь! динь! По временам я чувствую такие страшные боли в пояснице, в животе, что готова бываю закричать... Неважно... Динь! Динь! Динь!

Некогда даже болеть, не имеешь права страдать. Это – роскошь, которую могут себе позволить только господа. А мы должны бегать, всегда и скоро бегать... бегать, пока не свалимся... Динь! Динь! Динь! А если вы на зов колокольчика опоздаете немного, посыплются упреки, начнутся сцены.

– Да что с вами такое? Не слышите? Оглохли? Я уже три часа звоню... Это бесит, наконец...

А часто бывает так:

– Динь! Динь! Динь!

Вы соскакиваете со стула, как пружина...

– Принесите мне иголку.

Я бегу за иголкой.

– Хорошо! Принесите мне нитки.

Я бегу за нитками.

– Так! Принесите мне пуговку.

Я бегу за пуговкой.

– Что это за пуговка? Я у вас такой не просила. Вы ничего не понимаете... Белую пуговку, № 4... И скорее!

И я бегу за пуговкой № 4... Вы понимаете, как я бешусь, как я в душе ругаю и проклинаю свою хозяйку? А во время моей беготни взад и вперед, вверх и вниз барыня передумала – ей требуется что-нибудь другое или она совсем раздумала:

– Нет... Отнесите иголку и пуговку... Мне некогда...

У меня спину ломит, ноги подкашиваются, я без сил... Этого и нужно ей было. Она довольна... И говорите после этого, что существует общество покровительства животным...

Вечером, во время своего обхода, она в прачечной налетает на вас, как буря:

– Как? Вы ничего не сделали? На что у вас дни уходят? Я вам плачу деньги не для того, чтобы вы шлялись от утра до вечера.

Такая несправедливость меня возмущает, и я отвечаю немного резко:

– Но вы сами, барыня, меня все время отрывали от работы.

– Я вас отрывала от работы, я?... Прежде всего я запрещаю вам мне отвечать... Я не терплю никаких замечаний, слышите? Я знаю, что я говорю.

И это бесконечное хлопанье дверями. В коридорах, на кухне, в саду, по целым часам слышен ее пронзительный крик... Ах, как она надоела!

Право, не знаешь, как к ней подойти... Что у нее там внутри, почему она всегда в таком бешенстве? С каким удовольствием я бы ее бросила, если бы была уверена, что найду тотчас другое место.

Недавно я себя почувствовала хуже, чем обыкновенно... Появилась такая острая боль, что мне казалось, будто какой-то зверь раздирает мне внутренности своими зубами и когтями. Уже утром, когда я вставала, после потери крови я почувствовала себя совершенно обессиленной. Я и сама не знаю, как я могла стоять, таскать ноги и исполнять свою работу. По временам я должна была останавливаться на лестнице, хвататься за перила, чтобы перевести дух и не упасть. Я бледнела, и холодный пот выступал у меня на лбу... В пору было хоть взвыть, но я терпелива и горжусь тем, что никогда не жалуюсь своим хозяевам. Хозяйка меня застала как раз в тот момент, когда я чуть не упала. Все вокруг меня заходило: перила, ступеньки, стены.

– Что с вами? – грубо спросила она.

– Ничего.

И я попробовала выпрямиться.

– Если ничего, то зачем эти манеры? Я не люблю этих кривляний... Служба трудная... Несмотря на всю мою слабость, я готова была отвесить ей оплеуху.

Во время таких испытаний я всегда вспоминаю свои прежние места... Сегодня я с особенным сожалением думаю о месте на улице Линкольна... Я там была второй горничной, и мне, собственно говоря, нечего было делать. День мы проводили в прачечной, в великолепной прачечной, устланной красным войлочным ковром и уставленной шкафами из красного дерева с позолоченными замками. И сколько мы там смеялись, дурачились, читали, как изображали приемы у нашей хозяйки, и все это под наблюдением английской экономки. Она поила нас хорошим чаем, который хозяйка покупала в Англии для своих утренних завтраков. Иногда старший лакей приносил нам из буфета пирожки, тартинки с икрой, ветчину, целую гору всяких сластей.

Раз, вспоминаю, после обеда, меня заставили одеть очень шикарную пару нашего хозяина Коко, как мы его звали между собой. Конечно, тут затевались самые рискованные игры; заходили слишком далеко в этих шутках. Я была так смешна в роли мужчины и так много смеялась, что на панталонах Коко остались мокрые следы...

Вот это было место!

Я начинаю все больше узнавать хозяина. Совершенно верно говорят о нем, как о славном и благородном человеке, потому что в противном случае не было бы на свете такой канальи, такого жулика. Эта страсть к благотворительности толкает его на такие поступки, которые при всех его добрых намерениях влекут за собой самые плачевные последствия для других... И нужно сказать, в результате от его доброты происходили порой мелкие гадости вроде следующей.

В прошлый вторник, один очень древний старичок, дедушка Пантуа, принес шиповник, который ему заказал хозяин, тайно от жены, конечно... Дело было к вечеру... Я сошла вниз за горячей водой для стирки, с которой запоздала. Барыня уехала в город и еще не вернулась. И я болтала с Марианной на кухне, когда в дом с большим шумом вошел барин, такой веселый и радостный, и привел с собою дедушку Пантуа. Он тотчас же велел подать ему хлеба, сыра и сидра. И они стали разговаривать между собой.

На старика было жалко смотреть, до того он был изнурен, худ, грязно одет. Вместо штанов какие-то лохмотья, вместо шапки какая-то грязная тряпка. Ворот рубашки был расстегнут и открывал часть груди, на которой кожа потрескалась, обветрилась и потемнела, как старая медь. Он ел с жадностью.

– Ну как, дедушка Пантуа... – вскрикнул хозяин, потирая себе руки, – веселее стало, а?

Старик, у которого был полон рот, благодарил:

– Вы добрейший человек, господин Ланлер... С самого утра, видите ли, с четырех часов, как ушел из дому... во рту ничего не было...

– Ну так ешьте же, дедушка, подкрепитесь, черт возьми!

– Вы добрейший человек, господин Ланлер... извините...

Старик отрезал себе большие ломти хлеба и долго жевал их, потому что у него не было зубов. Когда он немного утолил голод, хозяин спросил:

– А шиповник у вас, дедушка Пантуа, хороший, а?

– Есть и хороший, есть и похуже... всяких сортов есть, господин Ланлер. Не выберешь... Трудно рвать, знаете ли... Вот господин Порселле не хочет, чтобы у него в лесу брали. Приходится за ним далеко ходить теперь... очень далеко. Не поверите, ведь я к вам из Районского леса иду, за три мили отсюда. Честное слово, господин Ланлер.

Хозяин подсел к нему и, весело похлопывая его по плечу, воскликнул:

– Пять миль! Клянусь, дедушка, вы все такой же молодой, здоровый...

– Нет уже, не того, господин Ланлер... не того...

– Да что там! – настаивал хозяин. – Здоровы, как старый турок и веселы, черт возьми!

Теперь не найти таких, как вы, дедушка Пантуа... Вы – старого закала человек...

Старик качал своей головой и повторял:

– Нет, не того... Ноги плохи стали, господин Ланлер... руки дрожат... Ну и поясница... Ах, эта проклятая поясница! Да и сил уж, как будто, нет... А тут еще жена хворает, с постели не сходит... Одни лекарства чего стоят! Какое уж тут счастье! И старость подкрадывается... Вот что, господин Ланлер, вот что, хуже всего...

Хозяин вздохнул, сделал какой-то неопределенный жест и, философски резюмируя вопрос, сказал:

– Да!.. Но что ж вы хотите, дедушка Пантуа?.. Жизнь... Она дает себя знать... Так-то вот...

– Правильно! Ничего не поделаешь.

– Вот, вот!..

– Да в конце концов что? Не правда ли, господин Ланлер?

– Конечно!

И после некоторого молчания он печальным голосом прибавил:

– У всякого свое горе, дедушка Пантуа...

– Это верно...

Наступило молчание. Марианна что-то рубила, надвигалась ночь... Два больших подсолнечника, которые видны были через открытую дверь, исчезали в темноте... А дедушка Пантуа все ел... Его стакан стоял пустой... Хозяин его наполнил... и вдруг, спускаясь с высот метафизики, спросил:

– А почему нынче шиповник?

– Шиповник, господин Ланлер? Да круглым счетом шиповник в нынешнем году стоит двадцать два франка сотня. Дороговато немного, это верно. Но дешевле не могу, видит Бог!

Как человек благородный и презирающий денежные расчеты, хозяин прервал дальнейшие объяснения старика:

– Хорошо, дедушка Пантуа... Согласен. Разве я когда-нибудь торгуюсь с вами?.. И я вам заплачу за шиповник не двадцать два франка, а... двадцать пять.

– Вы очень добры, господин Ланлер.

– Нет, нет. Я только справедлив. Я стою за народ, за труд...

И, стуча по столу, он набавляет цену:

– И не двадцать пять франков, а тридцать франков, черт возьми. Тридцать франков, слышите, дедушка Пантуа?

Бедный старик посмотрел на хозяина удивленными и благодарными глазами и прошептал:

– Очень хорошо слышу. Приятно на вас работать, господин Ланлер. Вы понимаете, что такое труд, вы...

Хозяин прервал эти излияния.

– Я вам заплачу... сегодня у нас вторник... Я вам заплачу в воскресенье? Заодно уж захвачу с собой и ружье. Согласны?

Глаза старика, которые светились благодарностью, потухли. Он сидел, съежившись, смущенный, перестал есть.

– Может быть... – сказал он робко, – сегодня заплатите? Премного обяжете, господин Ланлер. Только двадцать два франка. Извините.

– Вы шутите, дедушка Пантуа! – возразил хозяин с гордой уверенностью. – Конечно, я вам сейчас заплачу. Ах, Боже мой! Ведь я что вам сказал? Мне только хотелось прогуляться к вам.

Он стал искать по карманам брюк, сюртука и жилета и, как бы от неожиданности, воскликнул:

– Смотрите! Как раз мелких нет. У меня только эти проклятые тысячефранковые билеты...

И с каким-то искусственным смехом он спросил:

– Пари держу, что вы не разменяете тысячу франков, дедушка Пантуа?

Видя, что хозяин смеется, дедушка Пантуа решил, что и ему нужно засмеяться, и он шутливым тоном ответил:

– Ха!.. ха!.. ха!.. Да я никогда не видал этих проклятых билетов!..

– Ну тогда, значит, до воскресенья! – заключил хозяин.

Он налил себе стакан сидру и чокался с дедушкой Пантуа, как вдруг хозяйка, приезда которой никто не заметил, вихрем влетела в кухню. Ах, какие у нее были глаза, когда она увидела, что хозяин сидит рядом с бедным стариком и чокается с ним!

– Это что такое? – закричала она побелевшими губами.

Хозяин стал бормотать:

– Это шиповник... ты ведь знаешь, моя милая... шиповник... Дедушка Пантуа принес мне шиповник... Все розы замерзли в эту зиму...

– Я не заказывала шиповник... Здесь шиповник не требуется...

Это было сказано резким тоном. Затем она повернулась и, хлопнув дверью, ушла. Меня она не заметила.

Хозяин и бедный старик встали. Смущенные, они смотрели на дверь, через которую вышла хозяйка. Затем посмотрели друг на друга, не смея слова сказать. Хозяин первый прервал, тягостное молчание.

– Значит, до воскресенья, дедушка Пантуа.

– До воскресенья, господин Ланлер.

– Будьте здоровы, дедушка Пантуа.

– И вы также, господин Ланлер.

– Тридцать франков... Я не отказываюсь...

– Вы очень добры.

И старик на дрожащих ногах с согнутой спиной вышел и скрылся в темном саду...

Бедный барин! Ему, должно быть, достанется. А дедушка Пантуа вряд ли увидит свои тридцать франков – разве уж очень повезет.

Я не хочу оправдывать хозяйку, но я нахожу, что барин не должен так фамильярничать с людьми, которые гораздо ниже его. Это ниже его достоинства.

Я, конечно, знаю, что ему живется несладко и что он старается помочь своему горю, но это не всегда удается. Когда он поздно возвращается домой с охоты, грязный, мокрый, напевая для храбрости, хозяйка его очень плохо встречает:

– Ах! Это очень мило – оставлять меня на целый день одну.

– Но, ведь, ты знаешь, моя милая...

– Молчи.

Она дуется на него по целым часам. А он ходит за ней повсюду и извиняется.

– Но, милая, ты ведь знаешь...

– Оставь меня в покое... Надоед...

На следующий день хозяин, понятно, из дому не выходит, и хозяйка кричит:

– Что ты здесь все ходишь по комнатам?

– Но, милая...

– Ушел бы лучше, отправился бы на охоту или черт тебя знает куда! Ты меня раздражаешь. Убирайся!

И он никогда не знает, что ему делать: уходить или оставаться, быть здесь или еще где! Трудная задача... Но так как хозяйка во всех случаях кричит, то он чаще всего уходит. Так он по крайней мере не слышит ее криков.

Ах, право, жаль его!

На другой день утром, развешивая белье на заборе, я увидела хозяина. Он работал в саду. Ночью ветер согнул несколько георгинов и он подвязывал их к древкам.

Он часто работает в саду, если не уходит из дому до завтрака; по крайней мере делает вид, как будто чем-то занимается на этих клумбах. Все же это лучше, чем умирать с тоски сидя в комнатах. Ему тогда никаких сцен не устраивают. Вдали от жены он совершенно другой человек. Его лицо проясняется, глаза светятся, он становится веселым. Право, он недурен... В доме он со мной не разговаривает и, погруженный всегда в свои думы, как будто никакого внимания на меня не обращает, а вне дома никогда не пропустит случая сказать мне какую-нибудь любезность, удостоверившись, впрочем, предварительно, что жена за ним не шпионит. Если ему нельзя со мной заговорить, он на меня смотрит и его взгляды еще более красноречивы, чем слова. Меня очень забавляет поддерживать в нем всеми способами это возбужденное состояние, хотя я еще не решила, стоит ли серьезно кружить ему голову.

Проходя мимо него по аллее, где он работал, наклонившись над своими георгинами, я на ходу сказала ему:

– О! Как вы сегодня трудитесь, барин!

– Да! – ответил он. – Эти проклятые георгины! Вы понимаете.

Он мне предложил остановиться на минуту.

– Ну как, Селестина? Надеюсь, привыкаете у нас?

Вечная мания! И это неумение завязать какой-нибудь разговор!.. Чтобы доставить ему удовольствие, я ответила, смеясь:

– Да, барин, конечно. Я привыкаю.

– В добрый час... Это, наконец, не такое уж большое несчастье... не такое большое несчастье.

Он вдруг выпрямился, посмотрел на меня очень нежным взглядом и повторил: «Не такое большое несчастье», стараясь придумать в это время что-нибудь поумнее.

Расставив ноги, подбоченясь и широко раскрыв глаза, он воскликнул:

– Держу пари, Селестина, что у вас были шалости в Париже! Были шалости!..

Я не ожидала этого и чуть не рассмеялась. Стыдливо опустив глаза, со смущенным видом и стараясь краснеть, как и подобает в таких случаях, я тоном упрека произнесла:

– Ах! Сударь!..

– Отчего же? – настаивал он. – Такая красивая девушка, как вы... с такими глазами!.. Ах! вы, наверное, шалили!.. И тем лучше. Я стою за то, чтобы наслаждаться жизнью, черт возьми! Я за любовь!..

Хозяин как-то странно воодушевлялся. Во всей его сильной, мускулистой фигуре видно было страстное возбуждение. Он вспыхнул весь, страсть горела в его глазах... И мне захотелось окатить его холодным душем. Очень сухо и с достоинством я сказала:

– Вы ошибаетесь, сударь. Вы думаете, что разговариваете со своими прежними горничными. Вы должны знать, что имеете дело с честной девушкой.

И чтобы доказать, до какой степени я была оскорблена, я прибавила:

– Вы заслужили, сударь, чтобы я все это рассказала нашей супруге.

И я сделала движение, чтобы уйти. Барин быстро схватил меня за руку.

– Нет... нет!.. – лепетал он...

Я и сама не знаю, как мне удалось все это сказать и не расхохотаться.

Он был бесконечно смешон: как-то весь размяк, раскрыл рот, лицо приняло какое-то глупое и трусливое выражение. Он стоял молча и почесывал себе затылок.

Вблизи нас стояло старое грушевое дерево, широко раскинув свои ветви, покрытые лишаями и мхами, несколько груш висело над самой головой. Где-то по соседству насмешливо прокричала ворона. Притаившись у куста, кошка отмахивалась лапкой от шмеля. Молчание становилось все более тягостным для хозяина... Наконец, после невероятных усилий он с какой-то смешной гримасой спросил у меня:

– Любите вы груши, Селестина?

– Да, барин.

Я не сдавалась и отвечала тоном полного равнодушия.

Из боязни быть замеченным женой он колебался несколько секунд. И вдруг, как маленький воришка, быстро сорвал грушу с дерева и дал ее мне. Ах как он был жалок!.. Его колени сгибались, рука дрожала...

– Возьмите, Селестина, спрячьте ее в своем переднике. Ведь вам на кухне никогда не дают груш?..

– Нет, барин.

– Ну хорошо... я вам еще буду давать... иногда... потому что... потому что... я хочу, чтобы вы были счастливы...

Искренность и пыл его страсти, застенчивость, неловкие движения, смущенная речь и сила, все это привело меня в умиление. Смягчив немного выражение своего лица и улыбаясь, я сказала ему:

– О, Господи!.. Если бы барыня вас увидела!

Он смутился сначала, но, так как нас отделяли от дома густые каштаны, то он скоро оправился и, радуясь тому, что я стала менее сурова, воскликнул:

– Ну что барыня?.. Ну что?.. Смеюсь я над барыней. Надоела она мне... ах как надоела!..

Я строго заметила:

– Вы не правы, барин... вы не справедливы – барыня очень милая женщина.

Он подскочил:

– Очень милая? Она? Ах, Боже мой! Да вы не знаете, что она сделала? Ведь она отравила мне жизнь. Чем я стал из-за нее? Ведь надо мной везде смеются... и все из-за жены... Моя жена?.. Ведь это... это... корова... да, Селестина, корова... корова... корова!..

Я ему стала читать мораль. Лицемерно расхваливала энергию, хозяйственность и все другие добродетели барыни. Он раздраженно прерывал меня:

– Нет, нет!.. Корова... Корова!..

Я, наконец, успокоила его немного. Бедный! Я им играла с удивительной легкостью. Одного моего взгляда было довольно, чтобы он перешел от гнева к умилению.

– О! Вы такая мягкая, – заговорил он, – такая воспитанная... и такая добрая, должно быть!.. А посмотрите на эту корову!

– Перестаньте, барин... перестаньте!..

Он снова начал:

– Вы такая мягкая... А ведь вы только горничная.

Он подошел ко мне и очень тихо сказал:

– Если бы вы хотели, Селестина...

– Если бы я хотела... чего?..

– Если бы вы хотели... вы сами знаете... вы сами знаете...

– Вы хотели бы, может быть, изменять своей жене со мной?

Он не понял выражения моего лица. Он стоял с выпученными глазами, с раздувшимися венами на шее и влажными губами. Глухим голосом он ответил:

– Ну да!.. Ну да, конечно!..

– Вы об этом не думаете, барин!

– Я только об этом и думаю, Селестина.

Он весь покраснел.

– Ах, барин, вы опять начинаете...

Он хотел схватить меня за руки и притянуть к себе.

– Ну, да... – бормотал он. – Я опять начинаю. Я опять начинаю... потому что... потому что... я без ума от вас... от тебя, Селестина, потому что я думаю только об этом, потому что я не сплю по ночам, потому что я совсем заболел. И не бойтесь меня. Я не зверь... я... я... вам ребенка не сделаю... клянусь вам. Я... я... мы... мы...

– Замолчите, сударь, и на этот раз я все расскажу вашей жене. Что если бы кто-нибудь увидел вас в саду в таком состоянии?

Он остановился, как пришибленный. У него был какой-то сокрушенный, пристыженный, глупый вид, и он не знал, что делать со своими руками, глазами, куда девать свое тело. Он смотрел на землю у своих ног, на старую грушу, на сад и ничего не видел. Наконец, он снова нагнулся над повалившимися георгинами и, вздыхая, заговорил:

– Я вам только что сказал, Селестина. Я вам сказал это... очень просто... Какая я старая скотина!.. Не нужно этого... и барыне не нужно говорить. Ведь правда: что если бы кто-нибудь увидел нас в саду?

Я едва удержалась от смеха.

Да, мне хотелось смеяться, но и еще какое-то чувство шевелилось у меня в груди... что-то – как бы это выразить? – что-то материнское. Правда, удовольствия мало было бы спать с хозяином... К тому же одним больше или меньше, разве это могло иметь значение? Но я могла ему дать счастье, и я была бы рада этому, потому что в любви давать счастье другим, может быть, приятнее, чем получать его. Даже тогда, когда наше тело остается нечувствительным к ласкам, мы испытываем огромное наслаждение, когда в наших объятиях мы видим мужчину, совершенно обессиленного, беспомощно вращающего своими глазами... Забавно также посмотреть, что будет с хозяйкой. Подождем немного.

Хозяин целый день не выходил из дому. Он подвязал свои георгины, а после обеда с ожесточением больше четырех часов колот дрова в сарае. С какой-то гордостью я прислушивалась из прачечной к сильным ударам колуна по железным клиньям.

Вчера барин с барыней весь день после обеда провели в Лувье. Барину нужно было повидать своего поверенного, а барыне свою портниху. Ее портниху!

Я воспользовалась этой передышкой, чтобы побывать у Розы, которую я не видела с того памятного воскресенья. Я была также не прочь познакомиться с капитаном Може...

Вот уж действительно редкий тип, доложу я вам. Представьте себе голову карпа с седыми усами и бородкой. Очень сухой, нервный, подвижный, он никогда на одном месте не сидит; он вечно работает то в саду, то в своей маленькой столярной мастерской, напевая военные песни или подражая полковой трубе.

У него красивый, старый сад, разбитый на четырехугольники, со старомодными цветами, которые можно встретить еще только в захолустных деревнях у очень старых священников.

Когда я пришла, Роза сидела под тенистой акацией за деревенским столом, на котором стояла ее корзинка с работой, и штопала чулки, а капитан, сидя на корточках на одной из лужаек, в какой-то старинной полицейской фуражке на голове, затыкал дыры в старой лейке.

Меня приняли очень радушно. Роза приказала мальчику, который полтел грядку с маргаритками, принести бутылку с настойкой и стаканы.

После первого обмена приветствиями капитан спросил у меня:

– Ну что, ваш Ланлер еще не лопнул? Да! Вы можете гордиться, вы служите у знаменитого обжоры. Мне очень жаль вас, моя дорогая.

Он мне рассказал, что раньше они с моим хозяином жили добрыми соседями и неразлучными друзьями. Ссора из-за Розы сделала их смертельными врагами. Мой хозяин упрекал капитана за то, что он унижает свое достоинство, сажая с собою за стол свою прислугу.

Прерывая свой рассказ, капитан как бы призвал меня в свидетели.

– С собой за стол! Ну а если я хочу класть ее с собой в постель?.. Что... я и на это права не имею?.. Разве это его дело?

– Конечно, нет, господин капитан.

Роза каким-то стыдливым голосом прибавила:

– Совсем одинокий человек, не правда ли?.. Это так естественно.

После этой пресловутой ссоры, которая едва не закончилась дракой, прежние друзья не перестают судиться друг с другом.

– Все камения из моего сада, – заявил капитан, – я бросаю через ограду в сад Ланлера. Они попадают в парники, в окна... что ж!.. тем лучше... Ах, какая это свинья! Впрочем, вы сами увидите.

Заметив камень на аллее, он бросился его поднимать, затем очень осторожно подошел к ограде и изо всех сил бросил камень в наш сад. Мы услышали звук разбиваемого стекла. Торжествуя и задыхаясь от смеха, он подошел к нам и пропел:

– Еще одно окно высажено... чисто сделано...

Роза смотрела на него нежным материнским взглядом. Она была в восхищении от него.

– Какой он проказник! Совсем ребенок! – сказала она мне. – Как он молод для своих лет!

Когда мы выпили по маленькой рюмке настойки, капитан Може предложил мне оказать честь пройтись по его саду. Роза отказалась сопровождать нас, ссылаясь на свою астму, и советовала нам не заставлять себя ждать слишком долго.

– Впрочем, – прибавила она в шутку, – я буду смотреть за вами.

Капитан мне показал все свои аллеи и все клумбы с цветами. Он называл мне наиболее красивые из них, и каждый раз прибавлял при этом, что таких нет у свиньи Ланлера. Вдруг он сорвал маленький, очень красивый и причудливый цветок и, вращая его между пальцами, спросил у меня:

– Ели вы его когда-нибудь?

Я так была ошеломлена этим нелепым вопросом, что не нашлась, что ответить. Капитан подтвердил:

– А я ел. Великолепный вкус. Я ел все цветы, которые здесь растут... Тут есть и хорошие, есть и похуже. Есть и такие, которые мало чего стоят... Вообще, я все ем...

Он прищурил глаза, прищелкнул языком, потрепал себя по животу и повышенным голосом, в котором звучал какой-то вызов, повторил:

– Да, я все ем!..

Мне захотелось польстить его мании.

– И вы правы, господин капитан.

– Конечно, – ответил он не без гордости. – И я ем не только растения, но и животных... животных, которых никто не ест... животных, которых никто не знает... Да, я все ем...

Мы продолжали свою прогулку вокруг клумб с цветами, по узким аллеям, где тихо качались на стеблях красивые чашечки, голубые, желтые, красные. Когда я смотрела на эти цветы, мне казалось, что капитан испытывал какие-то радостные ощущения в своем желудке. Он как-то медленно и мягко облизывал языком свои потрескавшиеся губы.

Он еще прибавил:

– И я вам должен сказать: нет таких птиц, насекомых, червяков, которых бы я не ел. Я ел хорьков, ужей, кошек, сверчков, гусениц... Я все ел... Об этом все знают у нас. Когда находят какое-нибудь животное, живое или мертвое, которого никто не знает, тогда говорят: «Нужно снести капитану Може...». Мне приносят, и я съедаю... Зимой, в большие холода, пролетает много неизвестных птиц... из Америки, еще из более далеких стран, может быть... Их приносят мне, и я их ем. Я держу пари, что нет такого человека в мире, который ел столько вещей, сколько я. Я все ем...

Вернувшись с прогулки, мы сели под акацией. Я уже хотела уходить, как капитан воскликнул:

– Ах!.. Нужно мне вам показать любопытную штуку, вы, наверное, ничего подобного никогда не видели.

И он громко позвал:

– Клебер! Клебер!

– Клебер – это мой хорек, объяснил он мне. Феномен...

И еще раз позвал:

– Клебер! Клебер!

Тогда на одной ветви, над нами, из-за зеленых и желтых листьев показалась розовая мордочка и два маленьких, очень живых черных глаза.

– Ах! Я так и знал, что он здесь поблизости. Иди сюда, Клебер! Псст!..

Животное проползло по ветви и осторожно спустилось по стволу, цепляясь когтями за кору. Оно было покрыто белой шерстью в рыжих пятнах и передвигалось мягко и грациозно, как змея. Оно встало на землю и в два прыжка было уже на коленях у капитана, который очень нежно стал его ласкать:

– Ах! Мой милый Клебер! Ах! Мой прелестный, маленький Клебер!

Он обернулся ко мне:

– Видели ли вы когда-нибудь такого ручного хорька? В саду, повсюду он следует за мной, как маленькая собачка. Мне стоит только позвать его, как он уже здесь, смотрит на меня, виляет хвостом. Он ест с нами, спит с нами. Право, я его люблю больше, чем человека. Мне давали за него триста франков, я отказался, и не отдам его за тысячу, за две тысячи франков. Сюда, Клебер.

Животное подняло голову к хозяину, вскочило к нему на плечи, нежилось, ласкалось и обвилось вокруг шеи капитана, как галстук. Роза ничего не говорила, она казалась рассерженной.

Вдруг адская мысль мелькнула у меня в голове.

– Держу пари, – сказала я, – держу пари, господин капитан, что вы не сможете съесть своего хорька!

Капитан посмотрел на меня сначала с большим удивлением, затем с бесконечной грустью... Глаза его стали совершенно круглыми, губы дрожали.

– Клебера? – бормотал он, – съесть Клебера?

Очевидно, такого вопроса никто ему никогда не предлагал, ему, который ел все... Перед ним как будто открылся новый мир съестного.

– Держу пари, – повторила я с жестокой настойчивостью, – что не сможете съесть своего хорька?

Испуганный, грустный, движимый каким-то таинственным чувством, старый капитан поднялся со скамьи. В нем заметно было какое-то необыкновенное возбуждение.

– Повторите еще раз! – прошептал он.

Резко, отчеканивая каждое слово, я в третий раз сказала:

– Держу пари, что вы не сможете съесть вашего хорька!

– Я не смогу съесть своего хорька? Что вы сказали? Вы сказали, что я не буду его есть?.. да. Вы это сказали? Ну так вы сейчас увидите... Я все ем...

Он схватил хорька, моментально переломил ему позвоночник и бросил на дорожку аллеи бездыханный трупик, крикнув при этом Розе:

– Приготовь мне из него рагу на ужин!

И с какими-то безумными жестами убежал и заперся в комнатах.

Я испытывала в течение нескольких минут невыразимый страх. Все еще подавленная своим ужасным поступком, я поднялась, чтобы уйти. Я была очень бледна. Роза проводила меня. Улыбаясь, она сказала мне:

– Я не сержусь за то, что вы это сделали. Он слишком сильно любил своего хорька. Я не хочу, чтобы он что-нибудь любил. Я нахожу, что и цветы он уж слишком сильно любит...

После короткого молчания она прибавила:

– Он вам этого никогда не простит. Этому человеку верить нельзя... Еще бы!.. Старый солдат!..

Через несколько шагов она опять заговорила:

– Будьте осторожней, моя милая. Про вас уже начинают болтать. Вас, кажется, видели вчера в саду с господином Ланлером. Поверьте мне, это очень неблагоприятно с вашей стороны. Он вас разукрасит, если не постарался уже. Будьте осторожны и помните. С этим человеком шутки плохи. С одного раза... ребенок...

Запирая за мной калитку, она простилась:

– Ну, до свиданья! Пойду теперь готовить свое рагу.

Целый день я видела перед глазами маленький трупик бедного хорька на дорожке аллеи.

Сегодня за обедом, когда я подавала десерт, хозяйка очень строго сказала мне:

– Если вы любите сливы, то вы должны просить у меня. Я уж посмотрю, можно ли вам дать, но я вам запрещаю брать самой.

– Я не воровка, барыня, и не люблю слив, – ответила я.

Хозяйка настаивала:

– Я вам говорю, что вы брали сливы.

– Если вы считаете меня воровкой, – возразила я, – то рассчитайте меня.

Хозяйка вырвала у меня из рук тарелку со сливами.

– Барин съел утром пять штук. Всего было тридцать две, теперь осталось только двадцать пять... значит, две украли вы. Чтобы этого больше не было!..

Это была правда... Я съела две... Она их сосчитала! Нет! В жизни таких не видела!

Глава пятая

28 сентября.

Моя мать умерла. Это известие я получила сегодня по почте. Хотя я от нее ничего, кроме побоев, не видела, меня это опечалило, и я много, много плакала... Застав меня в слезах, хозяйка мне сказала:

– Это еще что за манера?

Я ответила:

– Моя мать, моя бедная мать умерла!

Своим обычным голосом хозяйка на это заметила:

– Это несчастье, но я тут ничего не могу поделать. Во всяком случае работа от этого не должна страдать.

И это все... Ах, право, какая она добрая!

Меня поразило это совпадение между смертью моей матери и мучительным концом маленького хорька, и я почувствовала себя от этого еще более несчастной. Я подумала, что это мне в наказание послано и что моя мать, может быть, не умерла бы, если бы я не заставила капитана убить бедного Клебера... Сколько я ни повторяла себе, что моя мать умерла раньше хорька, ничего не помогало, и эта мысль меня преследовала целый день, как угрызение совести...

Мне хотелось бы туда поехать... Но Одиерн так далеко... на краю света!.. И у меня денег нет. Когда я получу жалованье за первый месяц, мне придется уплатить в контору, и нельзя будет даже заплатить своих мелких долгов, которые я сделала, когда была без места.

Да и зачем ехать? Брат мой служит на казенном пароходе, в Китае должно быть, потому что от него что-то давно уже никаких вестей не слышно... А где теперь сестра Луиза, не знаю... С тех пор, как она с Жаном-ле-Дюффом уехала от нас, о ней ничего не известно... Черт ее знает, где она шатается!.. Может быть, она где-нибудь служит, а может быть, также умерла. И брат, может быть, тоже умер...

Да и что мне там делать, на родине?.. У меня там никого нет, а от матери, вероятно, ничего не осталось. Ее жалких тряпок и мебели не хватит даже на то, чтобы заплатить, что она задолжала за водку.

Странно, однако... Пока она была жива, я почти никогда не думала о ней, не испытывала желания ее видеть... Я писала ей только, когда меняла место, чтобы сообщить свой адрес. Сколько она меня била... Сколько я настрадалась у нее, у этой вечно пьяной женщины! А после того, как я узнала, что она умерла, у меня душа болит, и я чувствую себя еще более одинокой, чем раньше... Я ясно помню свое детство. Пред моими глазами встают все люди и предметы, среди которых я начала свой трудный жизненный путь... Право, слишком много горя у одних и слишком много счастья у других. Нет на свете справедливости.

Однажды ночью, я вспоминаю – я еще была совсем маленькая, – мы были разбужены звуками рожка со спасательной лодки. О! Как они жалобны, эти звуки ночью, в бурю!.. Еще с вечера дул сильный ветер; в порту все было покрыто пеной от разбушевавшихся волн; только несколько шлюпок вернулось вовремя... остальные, конечно, были в опасности...

Зная, что отец ловил рыбу вблизи острова Сена, моя мать не особенно беспокоилась. Она была уверена, что он приютится в порту острова, как он делал всегда в таких случаях... Однако, заслышав звуки рожка со спасательной лодки, она поднялась, дрожа всем телом, бледная, наскоро завернула меня в большую шаль, и мы пошли к молу... Моя сестра Луиза, которая уже была большая, и мой меньший брат шли за нами, восклицая:

– Ах, святая Дева!.. Ах, Боже наш!

И она также причитала:

– Ах, святая Дева!.. Ах, Боже наш!

Улицы были полны народу: тут были старики, женщины, дети. На набережной, в тех местах, откуда раздавались крики с лодок, толпились какие-то испуганные тени. На молу трудно было устоять из-за сильного ветра и рева волн, разбивавшихся о каменные глыбы.

Везде было темно, и на берету, и на море, и только время от времени вдали, в лучах света, падавшего с маяка, белели огромные гребни волн... Несмотря на толчки при восклицаниях: «Ах, святая Дева!.. Ах, Боже наш!..», несмотря на сильный ветер и даже до некоторой степени укачиваемая этими толчками и утомленная шумом, я заснула на руках у матери... Я проснулась в низкой комнате и увидела какие-то темные фигуры, мрачные лица, жестикулирующие руки, я увидела на походной кровати, освещенной двумя свечами, огромный труп... «Ах, святая Дева! Ах, Иисусе, Боже наш!» Какой это был ужасный труп, длинный, голый, вытянутый; лицо в ссадинах, тело в кровавых шрамах, в синих кровоподтеках... Это был мой отец...

Я его и теперь еще вижу перед своими глазами... Волосы у него прилипли к черепу, а запутавшиеся в них морские водоросли образовали как бы корону на голове... Люди стояли, наклонившись над ним, терли ему кожу горячими суконными тряпками, вдували ему воздух через рот. Тут были мэ, священник, таможенный капитан, морской жандарм... Мне стало страшно, я сбросила с себя шаль и, бегая между ног этих людей по мокрым плитам, стала кричать: «Папа... Мама...» Наша соседка унесла меня из комнаты.

Начиная с этого времени, моя мать стала пьянствовать. Она, правда, сначала попробовала, было, работать на упаковке сардинок, но так как она всегда была пьяна, то хозяева не хотели ее держать. Тогда она сидела дома, тосковала и пила, а когда напивалась, колотила нас... Не знаю, как я в живых осталась...

При первой возможности я убежала из дома, по целым дням играла на набережной, воровала в садах и шлепала по лужам во время морских отливов... А часто мы уходили с маленькими мальчиками по Плогофской дороге в долину, покрытую травой и густым кустарником и защищенную от морского ветра, и под белыми терновниками предавались всяким грязным забавам. Возвращаясь вечером домой, я заставала свою мать расprostертой на полу у порога, с испачканным рвотой ртом, с разбитой бутылкой в руке... Часто я должна была перешагнуть через нее, чтобы войти в комнату... Ее пробуждение было страшно... У нее появлялась страсть к разрушению. Не слушая ни моих просьб, ни моих криков, она стаскивала меня с кровати, гоняла по комнате, била меня о мебель и кричала:

– Я с тебя шкуру сдеру!.. Я с тебя шкуру сдеру!

Сколько раз я уже думала, что моя смерть пришла.

Затем она стала развратничать, чтобы было на что пить. По целым ночам не переставали стучаться в двери нашего дома... Приходил матрос и наполнял комнату сильным запахом морской соли и рыбы... Он ложился, оставался час и уходил. Затем приходил другой, также ложился, оставался час и уходил... Сколько драк и диких криков бывало в эти ужасные ночи и сколько раз в дело должны были вмешиваться жандармы!

Целыми годами тянулась такая жизнь... Нас никто не хотел знать – ни меня, ни сестру, ни брата. Нас избегали на улицах. Честные люди прогоняли нас камнями от своих домов, когда мы приходили попрошайничать или воровать. В один прекрасный день сбежала от нас моя сестра, которая также стала развратничать с матросами. За ней последовал и брат, который нанялся юнгой. Я осталась одна с моей матерью.

В десять лет я уже не была целомудренной. Узнав, что такое любовь по печальным примерам из жизни матери, развращенная грязными забавами, которым я предавалась вместе с маленькими мальчиками, я очень рано физически развилась... Несмотря на лишения и побои, проводя свое время постоянно на воздухе у моря, свободная и сильная, я так выросла,

что в одиннадцать лет у меня уже были первые проявления половой зрелости... Я еще казалась подростком, но была уже почти женщиной...

В двенадцать я уже окончательно стала женщиной... и потеряла свою невинность... Насильно? Нет, ничуть. Добровольно? Да, почти... по крайней мере в такой же степени, в какой был наивен и чистосердечен мой порок, мой разврат. Однажды в воскресенье, после большой обедни помощник мастера из сардиночного заведения, старик, мохнатый и вонючий, как козел, с лицом, заросшим густой бородой и волосами, увел меня на песчаный берег со стороны церкви, св. Иоанна. И там в укромном месте под утесом, в темном отверстии скалы, где чайки выют свои гнезда и матросы прячут свою найденную в море добычу, там, на ложе из гниющих водорослей он овладел мною... без всякого протеста и борьбы с моей стороны... за один апельсин. Его звали смешным именем: г Клеофас Бискуйль...

И вот что для меня непонятно и ни в одном романе я не находила объяснения этому. Г. Бискуйль был некрасив, груб и отвратителен... К тому же за эти четыре или пять раз, когда он меня таскал в эту темную дыру в скале, я, могу сказать, никакого удовольствия от него не получила; напротив. Тогда почему же при воспоминании о нем – а это у меня бывает часто – у меня с уст не срывается проклятий по его адресу? При этих воспоминаниях, которые для меня приятны, я чувствую большую признательность, большую нежность и даже искреннее сожаление о том, что я никогда не увижу больше этого отвратительного человека таким, каким он был на ложе из водорослей.

Да будет мне позволено по этому поводу почтительнейше внести и свою лепту в материалы для биографий великих людей.

Поль Бурже был интимным другом и духовным руководителем графини Фардэн, у которой я в прошлом году служила горничной. Я всегда знала, что он один познал до недосягаемой глубины сложную натуру женщины. Много раз у меня появлялась мысль описать ему этот психологический случай из области любви... Но я не решалась... Не удивляйтесь моим мыслям по такому поводу. Я готова согласиться, что это совсем не свойственно прислуге. Но в салоне графини только и говорили, что о психологии... А это известный факт, что мы всегда думаем о том, о чем думают наши хозяева, и о том, о чем говорят в салонах, говорят также и в людской. К несчастью, у нас в людской не было Поля Бурже, который мог бы осветить те вопросы женской психологии, которые у нас дискутировались... Даже объяснения самого Жана не удовлетворяли меня.

Однажды хозяйка послала меня отнести «спешное» письмо знаменитому писателю. Он лично вручил мне ответ. Тогда я решилась изложить ему вопрос, который меня мучил, и объяснила при этом, что вся эта темная и скабрзная история случилась с одной моей подругой... Поль Бурже меня спросил:

– Кто такая ваша подруга? Девушка из народа? Бедная, наверное?..

– Такая же горничная, как и я, уважаемый учитель.

Бурже сделал гримасу высшего существа, его лицо выразило презрение. Ах черт! И не любит же он бедных!

– Я не занимаюсь этими натурами, – сказал он... это слишком мелкие душонки... Это даже не души... Это не из области моей психологии...

Я поняла, что в этой среде душу начинают признавать только при ежегодном доходе в сто тысяч франков.

Другое дело Жюль Лёметр, который также был вхож в дом. Когда я ему предложила тот же самый вопрос, он ущипнул меня за талию и вежливо ответил:

– Ваша подруга, милая Селестина, очень славная девушка, вот и все. И если она похожа на вас, то я, знаете ли, сказал бы ей словечко... хе!.. хе!.. хе!..

Этот человек со своей горбатой и смешной фигурой маленького фавна по крайней мере не ломался. Это был добрый малый... Как жаль, что он связался с попами.

При всей этой обстановке я и не знаю, что случилось бы со мной в этом аду, если бы из жалости меня не взяли к себе монахини Понкруа, которым я понравилась своим умом и наружностью. Они не злоупотребляли ни моим возрастом, ни моим неведением, ни моим трудным положением, меня не обременяли работой, не лишали свободы, как это часто бывает в таких домах, где эксплуатация человека доходит до преступления. Это были бедные маленькие создания, хорошенькие, робкие, добрые, которые не решались даже протягивать руку прохожим или просить милостыни по домам. Часто бывали и очень плохие времена, но кое-как сводили концы с концами... И, несмотря, на эту тяжелую жизнь, они сохраняли постоянную веселость и вечно пели, как зяблики... В их непонимании жизни было нечто трогательное, вызывающее у меня слезы на глазах даже теперь, когда я лучше могу понять их бесконечную, чистосердечную доброту.

Они меня научили читать, писать, шить, стряпать и, когда я усвоила немного эти необходимые знания, поместили меня в качестве помощницы бонны у одного отставного полковника, который каждое лето приезжал с женой и двумя девочками в маленький полуразрушенный замок вблизи Комфора. Это были честные люди, но страшно скучные... и маньяки... Они одевались только в черное платье, и никогда на их лицах нельзя было увидеть улыбки... Полковник поставил на чердаке токарный станок и по целым дням сидел один и точил рюмки из букса или яйца, которыми хозяйки пользуются для штопанья чулок. Полковница писала прошение за прошением о разрешении открыть табачную торговлю. А две девочки, молчаливые и неподвижные, одна с лисьей мордочкой, другая с физиономией хорька, обе желтые, худые, бледные, с угловатыми манерами, увядали, как растения, которым не хватает воздуха, воды, света... Они наводили на меня тоску... После восьмимесячного пребывания у них я их покинула, не задумавшись над этим, а потом сожалела.

Да и где уж там было думать!.. Вокруг меня кипела парижская жизнь... И мое сердце трепетало от новых желаний. Хотя я и нечасто выходила из дому, но я с глубоким удивлением смотрела на эти улицы, витрины в магазинах, на толпы народа, на здания, блестящие кареты, на нарядных женщин... И когда я вечером уходила спать к себе на шестой этаж, я завидовала другим нашим служанкам, их любовным похождениям, их интересным приключениям... За короткое время, которое я провела в этом доме, я по вечерам на шестом этаже насмотрелась на картины разврата, в котором и сама принимала участие со всей страстью и увлечением новичка. Ах! Сколько у меня тогда было несбыточных надежд и честолюбивых замыслов в этой изменчивой обстановке страстей и порока...

О, да!.. В молодости... когда не знаешь жизни... какие образы, какие мечты не являются только в голове!.. Ах, эти мечты! Шалости... Я ими сыта по горло, как говорил обыкновенно господин Ксавье, этот вконец развращенный мальчишка, о котором речь будет впереди...

И сколько я нашагалась... Ах! Сколько нашаталась... страшно и подумать...

Я еще не стара, но виды видала на своем веку, видала и людей во всей их наготе... Нанюхалась запаха их белья, их кожи и их души... Несмотря на духи, все это не очень приятно пахнет... Сколько грязи, постыдных пороков, низких преступлений может скрываться в уважаемых домах, в честных семьях под добродетельной внешностью... Ах! Я это знаю!.. Они могут быть богатыми, ходить в шелку и бархате, убирать свои квартиры золоченой мебелью; они могут купаться в серебряных ваннах и блистать своим шиком... Они меня не обманут!.. Все это грязно. А их сердце более отвратительно, чем постель моей матери.

Ах! Как достойна сожаления бедная служанка и как она одинока! Она может жить в больших, шумных, веселых домах и все-таки остается всегда одинокой! Одиночество чувствуешь не потому, что живешь одна, а потому, что живешь у других, у людей, которые тобой не интересуются, для которых ты значишь меньше, чем собака или растение, у людей, от которых получаешь только ненужное или старое или испорченные остатки.

– Вы можете взять эту грушу, она червивая. Съешьте на кухне этого цыпленка, он воняет.

В каждом слове звучит презрение к вам, каждым жестом вас унижают. И нельзя ничего сказать; нужно улыбаться, благодарить, иначе сочтут за неблагодарную, за злую. Иногда, когда я причесывала волосы своим хозяйкам, у меня являлось бешеное желание разорвать им шею. впитаться своими ногтями им в грудь. К счастью, не всегда бывают такие мрачные мысли на уме. Забываешься и стараешься развлечься среди своих.

Заметив мое грустное настроение сегодня вечером, Марианна почувствовала нежность ко мне и захотела меня утешить. Из глубины буфета, из-под груды старых бумаг и грязных тряпок она вытащила бутылку с водкой...

– Не нужно так грустить, – сказала она мне. – Нужно немного встряхнуться, моя милая... подкрепиться.

Налив мне водки и положив локти на стол, она целый час тягучим голосом и вздыхая рассказывала мне печальные истории своих болезней, родов, смерти матери, отца и сестры... Ее голос становился все более и более глухим, глаза наполнялись слезами, и, облизывая свой стакан, она повторяла:

– Не нужно так огорчаться. Смерть вашей матери... ах! это большое несчастье... Но что ж поделаешь? Мы все помрем... Ах, Боже мой! Ах! Бедная малютка..

Затем она принялась вдруг плакать, и плача причитала:

– Не нужно огорчаться... не нужно огорчаться...

Сначала она только причитала, но скоро начала реветь во весь голос и все сильнее и сильнее... Ее толстый живот, огромная грудь и тройной подбородок поднимались, как волны, от этих всхлипываний.

– Перестаньте, Марианна, – говорила я ей. – Еще услышит хозяйка и придет сюда.

Она не слушала меня и еще пуще заливалась:

– Ах, какое горе!.. Какое большое горе!..

Меня тошнило от водки и сердце болело при виде слез Марианны, и я тоже заплакала... Все-таки... она недурная женщина...

Но мне скучно здесь... скучно... скучно! Я предпочла бы служить у кокотки или даже в Америке.

Глава шестая

1 октября.

Бедный барин! Мне кажется, что я была слишком резка с ним тогда в саду. Может быть, я меру перешла? Он, глупый, воображает, что ужасно оскорбил меня и что я неприступная добродетель. Ах! эти умоляющие взгляды, они как будто всегда просят извинения у меня...

Хотя я стала любезнее с ним, он мне больше ничего не говорит о своих чувствах; он не решается еще раз на прямую атаку, не решается даже прибегнуть к классическому приему – попросить пришить пуговицу к штанам. Это грубый прием, но часто удается. Боже мой, сколько я попришивала этих пуговиц на своем веку!

Однако видно, что в нем кипит страсть, что он все более и более страдает от этой страсти. Но он становится вместе с тем все более робким. Ему страшно решиться на что-нибудь. Он боится окончательного разрыва и не доверяет моим ободряющим взглядам.

Однажды он подошел ко мне с каким-то странным выражением в блуждающих глазах и сказал:

– Селестина... вы... вы... очень хорошо... чистите... мои сапоги... Очень... очень... хорошо... Никогда... их... так... не чистили...

Я так и ждала, что последует прием с пуговкой. Но нет... Барин задыхался, глотал слюну, как будто он съел слишком большую и слишком сочную грушу.

Затем он позвал свою собаку и ушел. Но вот что было еще забавней.

Вчера хозяйка уехала на базар – она сама все закупает на базаре; барин ранним утром ушел с ружьем и собакой. Он рано вернулся, убив трех дроздов, и тотчас вошел в свою уборную, чтобы принять душ и переодеться. Нужно сказать, что барин очень чистоплотен и не боится воды. Я подумала, что момент был благоприятный, чтобы попытаться сделать ему удовольствие. Бросив работу, я направилась к уборной и в течение нескольких секунд простояла у дверей, приложив ухо к замочной скважине. Барин ходил взад и вперед по комнате, насвистывал и напевал какую-то песенку.

Я слышала, как он двигал стульями, открывал и закрывал шкафы, как струилась вода из душа, как он вскрикивал «ах», «ох», «фу», «брррр». Вдруг я открыла дверь...

Барин стоял лицом ко мне, весь мокрый и держал в руках губку, из которой текла вода... Ах! эта голова, эти глаза, эта неподвижность! Никогда, мне кажется, я не видела человека таким ошеломленным. Под рукой не было ничего, чем бы он мог прикрыться, и он инстинктивно стыдливым и комичным движением воспользовался губкой в качестве фигового листа. Мне стоило большого труда удержаться от душившего меня хохота. Я заметила, что у него было много волос на плечах и груди, как у медведя. И все-таки это был красивый мужчина, черт побери!

Я, конечно, испустила подобающий случаю крик стыда и ужаса, выскочила из уборной и захлопнула за собой дверь. За дверью сказала себе: «Он меня, конечно, сейчас позовет. И что же дальше будет?» И прождала несколько минут. Ни звука. «Он размышляет, – думала я, – не может решиться... Но он меня сейчас позовет...» Напрасно... Скоро вода заструилась. Затем я услышала, как он вытирался, фыркал, шлепал туфлями по паркету, двигал стульями... Открывал и закрывал шкафы... Наконец, он стал напевать свою песенку.

– Нет, право, как он глуп! – прошептала я про себя, сердитая и злая.

И я ушла в прачечную и решила, что он от меня никаких радостей не увидит.

После обеда барин с очень озабоченным видом не переставал увиваться за мной. Он подошел ко мне на черном дворе, когда я несла корм для кошек. Чтобы посмеяться немного над его испугом, я стала извиняться за то, что было утром.

– Это ничего, – протянул он. – Это ничего... Наоборот...

Он хотел меня задержать и пробормотал что-то. Но я его оставила там, с недоконченной фразой, в которой он запутался, и строгим голосом сказала:

– Прошу извинения, барин. Мне некогда разговаривать с вами... Меня ждет барыня...

– Послушайте, Селестина, одну минуту...

– Нет, барин.

На повороте аллеи, которая ведет в дом, я снова увидела его... Он стоял на том же месте. Опустивши голову и согнув ноги, он все смотрел на кучу навоза и почесывал себе затылок.

После обеда у барина с барыней произошла перебранка.

Барыня говорила:

– Я тебе говорю, что ты ухаживаешь за этой девкой.

– Я? Тоже выдумала!.. Подумай, милая. За такой потаскухой, грязной девкой, которая, может быть, еще страдает дурной болезнью... Это уж слишком!

– Как будто я не знаю твоего поведения. Твоих вкусов...

– Позволь... Позволь!..

– А все эти грязные женщины, за которыми ты увиваешься в деревне!

Я слышала, как паркет затрещал под ногами барина, который в большом возбуждении стал ходить по комнате.

– Я? Вот выдумала! Откуда ты все это берешь, моя милая?

Барыня с упрямством продолжала:

– А маленькая пятнадцатилетняя Жезуро! Несчастный! Пятьсот франков мне за нее пришлось заплатить! Был бы теперь, может быть, в тюрьме, как твой вор-отец...

Барин перестал ходить. Он сел в кресло и молчал.

Барыня закончила разговор:

– Впрочем, мне все равно! Я не ревнива. Ты можешь себе спать с этой Селестиной. Но чтобы это мне денег не стоило.

Ну, погодите же! Я вас обоих прочту.

Я не знаю, верно ли заявление барыни, что барин увивается за деревенскими девицами. Но если это и так, то он совершенно прав, раз он получает удовольствие от этого. Он здоровый человек, много ест. Ему это нужно. А барыня ему никогда этого не дает. По крайней мере, с тех пор как я здесь. Я в этом уверена. И это тем более необыкновенно, что у них одна кровать. А горничная, да еще при этом ловкая и с глазами, великолепно знает все, что происходит у хозяев. Ей даже не нужно подслушивать у дверей. Уборная, спальня, белье и многое другое все ей расскажут... Непонятно даже, эти люди хотят читать мораль другим и рекомендуют воздержание своей прислуге, а сами даже не умеют хорошенько скрыть следы своих собственных любовных походов. Есть даже такие, которые сознательно или бессознательно, или в силу какой-то странной развращенности испытывают потребность выставить их напоказ. Я не причисляю себя к неприступным и я люблю посмеяться, как и все. Но право! Я видела такие супружеские парочки – и еще какие почтенные, – которые переходили в этой области всякие границы.

В начале моей службы мне иногда странно было видеть своих хозяев после... на другой день... Я смущалась... За завтраком я не могла заставить себя смотреть на них, смотреть им в глаза, видеть их губы, руки. И часто барин или барыня мне говорили:

– Что с вами? Разве так смотрят на своих господ? Будьте внимательны к своим обязанностям.

Да, вид их вызывал у меня какие-то мысли, образы... Как бы это сказать? Желания преследовали меня целый день, и, не имея возможности их удовлетворить, я с какой-то дикой страстью упивалась своими собственными ласками.

Теперь привычка видеть вещи в их настоящем свете приучила меня к другому жесту, более соответствующему действительности. При виде этих лиц, с которых ни краска, ни туалетная вода, ни пудра не могли стереть следов этой синевы под глазами, при виде их я пожимаю плечами... И как мне от них достается назавтра, от этих честных людей, с этим важным видом, с добродетельными манерами, с их презрением к девушкам, которые позволяют себе шалости, с их нравоучительными наставлениями:

– Селестина, вы слишком засматриваетесь на мужчин, Селестина, неприлично разговаривать по углам с лакеями. Селестина, мой дом не увеселительное заведение. До тех пор, пока вы у меня на службе и в моем доме, я не потерплю... И т. д. и т. д.

Это не мешает вашему хозяину, вопреки всей этой морали, бросать вас на диваны и таскать по кроватям, и за грубое и эфемерное наслаждение наградить ребенком... А вы затем устраивайтесь как знаете. А если вы не умеете устраиваться, то хоть тресните со своим ребенком. Это его не касается... В их доме!.. Ну! ну!

На улице Линкольна, например, это всегда бывало по четвергам, очень регулярно. Тут никаких ошибок не случалось. По четвергам бывали журфиксы у барыни. Приходило много народа, много разнообразных женщин, болтливых, ветреных, бесстыдных, неведомо каких! Понятно, что они между собою немало говорили о всяких неприличных вещах, и это возбуждающим образом действовало на хозяйку! А затем вечером – опера и все прочее. То ли, другое или третье, но верно то, что каждый четверг... извольте радоваться!..

Если у хозяйки был приемный день, то у хозяина, у Коко была приемная ночь. И что за ночь!.. Нужно было видеть на другой день уборную, его комнату: мебель в полном беспорядке, повсюду разбросано белье, по коврам разлита вода... И как тут сильно пахло... человеческой кожей и духами! В уборной хозяйки стояло огромное зеркало во всю стену. И часто перед этим зеркалом я находила груды подушек, разбросанных, помятых, истоптанных, а по обеим сторонам зеркала – высокие канделябры, в которых свечи догорели и оплыли длинными сосульками на серебряные подставки. Что за оргии тут разыгрывались! И до чего могла бы еще дойти изобретательность каждого из них, если бы они не были женаты!

Я вспоминаю одну замечательную поездку в Бельгию в тот год, когда мы прожили несколько недель в Остенде. На станции Фейнье таможенный досмотр... Это было ночью, барин крепко спал в своем отделении. Мы с барыней сами отправились в зал, где осматривали багаж.

– Нет ли у вас каких-нибудь вещей, за которые нужно платить пошлину? – спросил у нас толстый таможенный чиновник, который при виде моей элегантной и красивой хозяйки надеялся найти кое-что пикантное в багаже.

Некоторые чиновники испытывают какое-то особенное физическое удовольствие, какой-то сладострастный трепет, когда они роются своими толстыми руками в панталонах и рубашках красивых женщин.

– Нет, – ответила хозяйка. – У меня ничего нет.

– Ну... откройте этот сундук...

Из шести сундуков, которые мы везли с собой, он выбрал самый большой и тяжелый, кожаный сундук в сером чехле.

– Но в нем ничего нет! – сказала хозяйка с раздражением в голосе.

– Все-таки откройте, – приказывал этот урод; сопротивление моей хозяйки, очевидно, давало ему повод к более внимательному и строгому осмотру.

Барыня – ах! я еще помню выражение ее лица – вынула из маленького сака связку ключей и открыла сундук... Таможенный чиновник с видимым удовольствием вдыхал тонкий запах, который поднимался из сундука, а затем стал рыться своими грязными лапами в тонком белье и платьях. Барыня злилась и испускала крики негодования, так как это живот-

ное с очевидной злобой перекидывало и приводило в беспорядок все, что мы так бережно укладывали.

Осмотр уже приближался к концу без новых задержек, как вдруг таможенный чиновник вытащил со дна сундука длинную шкатулку, покрытую красным бархатом, и спросил:

– А это?.. Что это такое?

– Драгоценности, – ответила барыня, – уверенно, без малейшего смущения.

– Откройте...

– Зачем? Я же вам говорю, что это драгоценности.

– Откройте...

– Нет, я не открою... Вы злоупотребляете своей властью. Говорю, что не открою... Да у меня и ключа нет.

Барыня была в крайнем возбуждении. Она хотела вырвать шкатулку из рук чиновника, который отступил и угрожающе произнес:

– Если вы не откроете шкатулку, я пойду за инспектором.

– Это гнусность... это нахальство.

– Если у вас нет ключа, то мы сами откроем.

В отчаянии барыня закричала:

– Вы не имеете права... Я буду жаловаться в посольство... министрам... и пожалуюсь королю, он нам друг... Я вас привлеку к суду... засажу в тюрьму...

Но эти слова не производили никакого впечатления на бесстрастного чиновника, и он с еще большим упорством повторил:

– Откройте шкатулку...

Барыня побледнела и стала ломать себе руки.

– Нет! – сказала она, – я не открою... я не могу открыть...

И по крайней мере в десятый раз упрямый чиновник повторил, свое приказание:

– Откройте шкатулку!

Эта перебранка прервала работу на таможне и собрала вокруг нас несколько любопытных путешественников. Я сама была заинтересована перипетиями этой маленькой драмы и таинственной шкатулкой, которой я никогда не видала у барыни и которая, очевидно, была спрятана в сундук без моего участия.

Вдруг барыня переменяла тактику, повела себя мягче, любезней с этим неподкупным досмотрщиком, подошла к нему и, как бы гипнотизируя его своим дыханием и своими духами, тихо стала умолять его:

– Удалите, пожалуйста, публику, и я открою шкатулку...

Чиновник, наверное, подумал, что хозяйка хочет поймать его в какую-нибудь ловушку. Он недоверчиво покачал своей седой головой.

– Довольно манерничать и притворяться. Откройте шкатулку!

Тогда барыня, конфузясь и краснея, покорно вынула из своего портмоне очень маленький золотой ключик и, стараясь скрыть от окружающих содержимое красной бархатной шкатулки, открыла ее в руках чиновника. В тот же момент чиновник в испуге отскочил назад, как будто ядовитое животное хотело его укусить...

– Черт возьми! – воскликнул он.

Затем, когда первое впечатление прошло, с насмешкой произнес:

– Так бы и сказали, что вы вдова!

И он запер шкатулку, но не особенно спешил при этом, чтобы все эти насмешки, перешептывания, неприличные и даже оскорбительные словечки, которые слышны были в толпе, могли удостоверить хозяйку, что «ее драгоценности» были замечены пассажирами.

Барыня была смущена... Но я должна признать, что она проявила очень много смелости в этом затруднительном положении... О!.. Нахальства ей не занимать. Она помогла мне

привести в порядок наш сундук, и мы оставили зал под свист и оскорбительные насмешки присутствующих.

Я ее проводила до вагона, неся в руках сак, в который она положила пресловутую шка-тулку. На перроне она на один момент остановилась и с каким-то бесстыдным спокойствием сказала мне:

– Боже! как я была глупа. Ведь я же могла сказать, что шкатулка ваша.

С точно таким же бесстыдством я ей ответила:

– Я вам очень благодарна, сударыня. Вы очень добры ко мне. Но я предпочитаю поль-зоваться этими «драгоценностями» в естественном виде.

– Молчите!.. – крикнула она, не сердясь. – Вы глупая девчонка...

И она пошла искать Коко, который ни о чем не подозревал...

Впрочем, ей не везло. Не то из-за ее смелости. Не то из-за беспорядочности, но с ней подобные истории случались часто. Я могла бы рассказать некоторые, наиболее назидатель-ные в этом отношении... Но по временам надоедает, становится противно беспрестанно копать во всей этой грязи... И затем, я достаточно, мне кажется, уже сказала об этом доме, который для меня служил самым типичным примером того, что я буду называть моральным разрушением. Я ограничусь только несколькими штрихами.

Хозяйка прятала в одном из ящиков своего шкафа с дюжину маленьких книжечек в желтых переплетах с золотыми застежками... милых книжечек, похожих на молитвенники молодой девушки.

Иногда по субботам она забывала одну из них на столе у своей кровати или в убор-ной среди подушек... Книжечка была заполнена необыкновенными изображениями. Я не хочу вовсе изображать из себя святую, недотрогу, но я должна сказать, что нужно быть самой грубой развратницей, чтобы хранить эти ужасы у себя и находить даже развлечение в них. Меня в жар бросает, когда я подумаю об этом... Женщины с женщинами, мужчины с мужчинами и женщины с мужчинами, в безумных объятьях, в отчаянных позах... Голые тела стояли прямо, сгибались арками, переплетались узлами, лежали в развалку, кучей, гроз-дьями, с выступающими друг против друга торсами, сливаясь в самые сложные комбинации, с немыслимыми ласками... Губы, сложенные как присоски у пиявок, сосали груди, животы, целые заросли ляжек, ног, перевитых между собою, как густые ветви на деревьях...

Старшая горничная Матильда стащила одну из этих книжечек... Она предполагала, что у хозяйки не хватит дерзости спросить о пропаже... Однако она ошиблась... Перерыв свои ящики и обыскав повсюду, она сказала Матильде:

– Вы не видели здесь книги?

– Какой книги, сударыня?

– Желтой книги.

– Молитвенника, наверное?

Она посмотрела прямо в глаза хозяйке, но та не смутилась.

– Мне кажется, – прибавила Матильда, – что я действительно видела желтую книгу с золотой застежкой на столе у кровати в вашей комнате.

– Ну?

– Ну, я не знаю, что вы с ней сделали...

– Вы ее не взяли?

– Я, барыня?

И с удивительным нахальством она прибавила:

– Нет, барыня, я думаю, вы не захотели бы, чтобы я читала такие книги!

Удивительная была эта Матильда! Барыня больше не настаивала.

И каждый день в прачечной Матильда к нам обращалась со словами:

– Внимание! Обедня начинается...

Она вытаскивала из кармана маленькую желтую книжечку и читала нам из нее, несмотря на протесты англичанки, которая кричала нам: «Замолчите, вы бесстыжие девушки», – а сама с расширенными зрачками под очками, уткнув нос в эти изображения, подолгу рассматривала их и фыркала... Сколько смеху у нас было с ней!

Ах, эта англичанка! Никогда в своей жизни я не встречала такой смешной блудницы. Она часто напивалась и в пьяном виде делалась необыкновенно нежной, страстной и влюбленной, в особенности в женщин. Пороки, которые она скрывала в молодости под маской суровости, просыпались и обнаруживались теперь во всей своей неприглядной красе. Но эти пороки проявлялись скорее в ее желаниях, чем в ее жизни; я по крайней мере никогда не слыхала, чтобы она их когда-нибудь осуществила. По выражению барыни, мисс намеревалась «реализовать» себя... Право, ее только не доставало в коллекции испорченных людей этого вполне современного дома!

Однажды ночью я дожидалась барыни. Все в доме уже спали, и я сидела одна и дремала в прачечной... К двум часам барыня вернулась. Услышав звонок, я вскочила и застала перчатки, она смотрела на барыню в ее комнате. Снимая ковер и покатывалась со смеху.

– Мисс опять совсем пьяна, – сказала она мне, – указывая на экономку, которая лежала на полу, вытянув руки и подняв одну ногу вверх, охала, вздыхала и бормотала какие-то непонятные слова.

– Поднимите ее, – приказала барыня, – и уложите спать.

Англичанка вся отяжелела и размякла, и только при помощи барыни мне с большим трудом удалось поднять ее и поставить на ноги.

Мисс уцепилась обеими руками в манто барыни и стала ей объясняться:

– Я не оставлю тебя... я никогда тебя не оставлю... Я тебя очень люблю... Ты моя милая, ты моя красивая...

– Мисс, – сказала смеясь барыня, – вы старая блудница. Ступайте спать.

– Нет, нет... я буду с тобой спать... ты моя красавица... я тебя люблю... я тебя обниму...

Держась одной рукой за манто, она другой старалась ласкать грудь барыни и вытягивала вперед для поцелуя свои старые слюнявые губы.

– Поросенок, поросенок... ты мой маленький поросенок... Я хочу обнять тебя... Пу!.. пу!.. пу!..

Мне удалось наконец высвободить барыню из объятий мисс и вытащить ее из комнаты. Тогда ее нежная страсть обратилась на меня. Еле держась на ногах, она хотела обнять мою талию, и ее рука смелее разгуливала по моему телу даже в местах менее позволительных...

– Перестаньте же, грязная старуха!

– Нет! нет... ты тоже... ты красавица... я тебя люблю... идем со мной... Пу!.. пу!.. пу!..

Я не знаю, как мне удалось бы освободиться от нее, если бы ее пылкие страсти не потонули в отвратительном потоке рвоты.

Эти сцены очень забавляли барыню. Она испытывала самую искреннюю радость только от картин порока, даже еще более отвратительного.

Однажды я как-то застала барыню в уборной с ее подругой. Она рассказывала о своих впечатлениях, которые она вынесла из посещения одного специального дома, где показывались два карлика, предававшиеся любовным ласкам.

– Нужно было это видеть, моя дорогая! Нет ничего, что могло бы так возбуждать страсть, как это зрелище. Те, которые судят о людях только по их внешнему виду и поражаются наружным блеском, не могут и подозревать, до чего этот бомонд, это «высшее общество» испорчено и грязно. Можно без всякого преувеличения и без всякой клеветы сказать, что это общество живет только для самых гнусных оргий, только для разврата... Я перебывала во многих буржуазных и знатных домах, и только в очень редких случаях мне удавалось

наблюдать любовь, согретую нежным и глубоким чувством, идеалом сострадания, самопожертвования и обожания, всем тем, что накладывает на эти отношения печать величия и святости.

Еще несколько слов о барыне. Помимо официальных журфиксов и торжественных обедов, господа интимно принимали у себя очень шикарную молодую чету; они вместе посещали театры, маленькие концерты, кабинеты в ресторанах и, говорят, места похуже. Муж был очень красив, с женственным, почти безбородым лицом. Жена – рыжая красавица с каким-то особенным блеском в глазах и очень чувственными губами. Никто в точности не знал, что это были за люди.

Когда они обедали вчетвером, их разговор принимал такой разнузданный характер, что у лакея, который далеко не был святым, являлось часто желание бросить им тарелки в лицо... Он не сомневался впрочем, что между ними существовали противоестественные отношения и что они устраивали себе такие же празднества, которые были изображены в маленьких желтых книжечках хозяйки. Эти вещи если и не широко распространены, то, во всяком случае, довольно известны. И если люди не обращаются к этому пороку из страсти, то предаются ему из снобизма. Это высший шик.

Кто мог бы заподозрить столь ужасные наклонности в барыне, которая принимала у себя архиепископов, папских нунциев и которую Gaulois прославлял каждое воскресенье на своих страницах за ее добродетели, воспитанность, благотворительность, изысканные обеды и за верность чистым католическим традициям Франции?

Но сколько бы пороков ни было в этом доме, мы там были свободны, счастливы, и барыня никогда не следила за поведением своей прислуги.

Сегодня вечером мы дольше обыкновенного сидели на кухне. Я помогала Марианне составлять счет. Она никак не может справиться с ним. Я удостоверилась, что, как и все надежные служанки, она ворует понемногу, где только может... Ее сметливость меня даже поражает. Но она не справляется с цифрами, и это ее затрудняет при расчетах с хозяйкой, которую трудно провести. Жозеф становится немного благосклоннее ко мне. Он теперь время от времени удостаивает меня даже разговором... Так, сегодня он не ушел по своему обыкновению к своему закадычному другу – пономарю. Пока мы с Марианной работали, он читал «Libre Parole». Это его газета. Он даже и мысли не допускает, чтобы можно было читать другую. Я заметила, что, читая газету, он несколько раз посмотрел на меня с каким-то новым выражением в глазах.

Окончив свое чтение, Жозеф захотел познакомить меня со своими политическими взглядами. Он устал от республики. Это разорение и позор для страны. Он за твердую власть.

– Пока у нас не будет твердой власти, до тех пор у нас ничего не будет, – сказал он.

Он за религию... потому что... наконец... просто... он за религию...

– До тех пор, пока религия не будет восстановлена во Франции, как раньше, до тех пор, пока все не будут обязаны ходить к обедне, к исповеди... клянусь Богом, у нас ничего не будет!..

В сарае для сбруи он повесил портреты папы и Дрюмона, в своей комнате – Деруледа, а в амбаре развесил портреты Гереза, генерала Мерсье... бравых молодцов... патриотов... словом, французов!

Он очень старательно собирает все юдофобские песенки, все портреты в генеральских мундирах. Жозеф – заядлый антисемит. Он член всех религиозных, военных и патриотических обществ своего департамента. Он состоит членом «Руанской антисемитской молодежи», «Стариков-юдофобов» в Лувье, членом еще многочисленных групп и подгрупп – как «Национальная дубинка», «Нормандский колокол» и пр. Когда он начинает говорить о евреях, в его глазах появляется какой-то враждебный блеск, жесты становятся кровожадными. И он не выходит из дому без того, чтобы не сказать:

– Пока во Франции останется хоть один еврей, у нас ничего не будет.

И при этом прибавляет:

– Если бы я жил в Париже!.. Сколько бы я этих проклятых поубавил... сжег... распрошил!.. Эти изменники у нас в Мениль-Руа селиться не станут... нам эта опасность, не грозит... Поди, эти продажные души понимают, что здесь им не место!

Он с одинаковой ненавистью относится к протестантам, франкмасонам, свободомыслящим, ко всем этим проходимцам, которые носа в церковь не покажут, да впрочем, ведь все они – переодетые евреи... Но он не клерикал, он за религию, вот и все.

Что касается мерзавца Дрейфуса, то пусть он лучше и не думает вернуться с Чертова острова во Францию... А поганого Золя Жозеф честью просит не приезжать в Лувье и не произносить здесь своих речей, как он, по слухам, собирается сделать... Добром дело не кончится, уж об этом Жозеф позаботится. Этот негодный изменник Золя за шестьсот тысяч франков предал всю французскую армию и всю русскую армию немцам и англичанам! И это не сказка, не пустая болтовня, нет, Жозеф в этом уверен... Жозеф это знает от пономаря, а тот от священника, который это слышал от епископа, а епископ от папы... а папе рассказал Дрюмон... Евреи могут приехать в Приерэ. На погребе, на амбаре, на конюшне, на каретном сарае, на сбруе, даже на метле, везде они найдут сделанную Жозефом надпись: «Да здравствует армия! Смерть жидам!»

Марианна одобряет время от времени эти сильные выражения покачиванием головы, молчаливыми жестами... Ее так же, конечно, республика разоряет и позорит. Она так же за твердую власть, за попов и против евреев, о которых она знает только, что им чего-то в чем-то не хватает...

И я так же, конечно, за армию, за отечество, за религию и против евреев. Кто же из нас, из прислуги, от мала до велика, не исповедует этого учения? Можно что угодно говорить о прислуге, недостатков много найдется, это возможно, но в чем ей отказать нельзя, это в патриотизме. Вот я, например... Политика не в моем духе, она мне надоедает. Но вот за неделю до моего отъезда сюда я наотрез отказалась служить в качестве горничной у Лабори. Да и все другие служанки, которые были тогда в конторе, также отказались:

– У этого мерзавца?.. Нет! Никогда в жизни!

Однако, когда я себе серьезно задаю вопрос, то я не знаю, почему я против евреев. Я у них служила иногда, в те времена, когда это еще не было так позорно. Я нахожу, что в сущности еврейки и католички совершенно схожи. И те и другие одинаково порочны, с такими же низкими натурами и грязными душонками. Все это, видите ли, один и тот же мир, и разница в религии тут не при чем. У евреев, может быть, больше чванства, показного блеска, умения сорить деньгами? Говорят, что они домовиты, скупы. Я могу заявить, что вовсе не плохо служить в их домах, где гораздо большей свободой пользуешься, чем в католических семьях.

Но Жозеф об этом и слушать не хочет. Он упрекает меня, что я не патриотка, плохая француженка. И с убийствами и кровавыми расправами на устах он ушел спать.

Марианна тотчас же вынула из буфета бутылку с водкой, и мы заговорили о другом. Марианна становится с каждым днем все доверчивее ко мне. Она рассказала о своем детстве, о трудных годах молодости и как она, когда служила в Каене в няньках у табачной торговки, сошлась с пансионером, – маленьким, слабеньким, светленьким мальчиком с голубыми глазами и короткой остроконечной шелковой бородкой. Она забеременела, и табачная торговка, которая развратничала с целой кучей народа, со всеми унтер-офицерами гарнизона, прогнала ее от себя. Она была выброшена на улицу в большом городе, такая молодая да еще беременная!.. У ее возлюбленного денег не было, и она натерпелась горя... Она, наверное, умерла бы с голода, если бы ее друг не нашел ей наконец места в медицинской школе.

– Да, – сказала она, – в лаборатории я убивала кроликов и приканчивала маленьких морских свинок... Забавно было.

И при этом воспоминании на ее толстых губах появляется какая-то меланхолическая улыбка.

После некоторого молчания я спрашиваю у нее:

– А ребенок? С ним что случилось?

Марианна делает какой-то неопределенный жест, как бы открывая занавес рая, где спит ее младенец... Расслабленным от водки голосом она отвечает:

– Как вы думаете... Боже мой! Что же мне с ним было делать?

– Значит, так же, как с маленькими морскими свинками?

– Да, так.

И она налила себе еще водки.

Мы разошлись по своим комнатам слегка навеселе.

Глава седьмая

6 октября.

Вот, наконец и осень наступила. Морозы начались раньше, чем их ожидали, и последние цветы уже поблекли в саду. Георгины, бедные свидетели любви и трусости хозяина, померзли; померзли также большие подсолнечники, которые сторожили вход в кухню. На опустошенных грядках осталось только несколько чахлах гераней и несколько кустов астр, которые печально склонили к земле свои синие головки. И в саду капитана Може все вымерло, пожелтело.

Деревья желтеют и сбрасывают свою листву, небо покрыто тучами. Последние четыре дня стоит густой туман, который не рассеивается и после обеда. Теперь хлещет холодный дождь и дует северо-восточный ветер...

Да! Я не на свадебном пиру... В моей комнате собачий холод. И ветер продувает, и вода протекает через крышу, в особенности у окон. Свет едва проникает в мою мрачную лачугу. Шум сдвигающихся от ветра черепиц на крыше, треск деревянных перекладин, лязг шарниров – как все это оглушает и утомляет... Я не смею заявить, что нужна печь. Я такая зябкая и не знаю, как выживу в этом адском холоде моей комнаты... Сегодня вечером я должна была заткнуть своими старыми юбками окна от ветра и дождя. А тут еще над головой флюгер, который не перестает вертеться на своем шпиле. Временами он начинает так резко визжать, что его можно принять за голос хозяйки, которая устраивает сцену в коридоре...

Когда первые столкновения прошли, жизнь стала монотонной, скучной, и я понемногу стала привыкать, не испытывая больших нравственных страданий. К нам никогда никто не приезжает, мы живем, словно в заколдованном доме. Помимо чисто домашних историй, о которых я рассказывала, здесь никогда ничего не бывает. Все дни проходят совершенно одинаково, все те же лица, та же обстановка. Скука смертная... Но я начинаю тупеть и приспосабливаться к этой тоске как к естественному явлению. Даже отсутствие любовных развлечений меня не трогает, и я без большой печали переношу эту непорочность, на которую я осуждена или, вернее, сама себя осудила, окончательно отказавшись от барина. Барин мне опротивел, в особенности после того, как он из трусости грубо отозвался обо мне в разговоре с барыней. Но он не сдаётся и не боится меня. Наоборот, он упорно увивается за мной все с такими же выпученными глазами и влажными губами...

Теперь, когда дни стали короче, барин до обеда проводит время у себя в рабочем кабинете, и черт его знает, чем он там занимается... Роется в старых бумагах, пересматривает сельскохозяйственные каталоги или перелистывает с рассеянным видом старые охотничьи журналы. Нужно его видеть, когда я вечером захожу к нему закрыть ставни или поправить огонь в камине. Он тогда поднимается, кашляет, чихает, фыркает, стучит мебелью, все опрокидывает, старается всеми этими глупыми приемами обратить мое внимание... Смешно! Я притворяюсь, что ничего не слышу, ничего не понимаю, и ухожу, молчаливая, строгая, не глядя на него, как будто его здесь и нет.

Вчера вечером, однако, мы обменялись несколькими словами:

– Селестина...

– Что вам угодно, барин?

– Селестина... Вы сердитесь на меня... За что вы сердитесь на меня?

– Да ведь, вы, барин, знаете, что я потаскуха...

– Но...

– Грязная девка...

– Но... Но...

- Что у меня дурная болезнь...
- Но, черт возьми, Селестина! Но Селестина... Послушайте же...
- Дрянь!..

Право, так. Я порвала окончательно. С меня довольно. Надоело кружить ему голову своим кокетством...

Я здесь ничем не могу развлечься... И еще хуже то, что ничто меня не раздражает... Должно быть, воздух этого захолустья, деревенская тишина, слишком тяжелая и грубая пища на меня так действуют? Я в каком-то оцепенении, и это имеет свою прелесть. Во всяком случае, это притупляет мою чувствительность, усыпляет мои грезы, помогает мне привыкнуть к оскорблениям и крикам моей хозяйки. Этим я также могу только объяснить то известное удовлетворение, которое я испытываю в этой болтовне по целым вечерам с Марианной и Жозефом, этим странным Жозефом, который уже больше не уходит от нас и даже, по-видимому, с удовольствием участвует в наших беседах. Мысль, что Жозеф, может быть, влюблен в меня, льстит мне. Боже мой, да... я дошла до этого... Затем я читаю, читаю... все романы, романы, романы... Я перечитала некоторые романы Поля Бурже. Его книги уже не производят на меня такого впечатления, как раньше, мне даже скучно становится от них, и я думаю, что они неискренне и поверхностно написаны. Они были для меня понятны только тогда, когда я была очарована и ослеплена роскошью и богатством. Я теперь от этого далека, и его произведения меня больше не увлекают. Поль Бурже сам всегда в восторге от них. Ах! Я теперь не была бы так наивна и не стала бы спрашивать у него психологических объяснений, потому что сама лучше его знаю, что можно найти за портьерой салона и под кружевным платьем...

Я никак не могу привыкнуть к тому, что совсем не получаю писем из Парижа. Каждое утро, когда приходит почтальон, у меня сердце разрывается от сознания, что все забыли про меня, что я совершенно одинока. Напрасно я писала самые отчаянные письма моим старым приятельницам и Жану, напрасно я их умоляла вырвать меня из этого ада и найти мне место в Париже, хоть самое плохое. Ни от кого ни слова... Никогда не поверила бы, что можно быть такими равнодушными, такими неблагодарными.

И это заставляет меня еще больше дорожить своими воспоминаниями о прошлом. В этих воспоминаниях все-таки радостей больше, чем страданий. Прошедшее дает мне надежду, что не все еще кончено для меня и что от этого случайного падения я сумею еще оправиться... И когда я, одна в своей комнате, слышу храпение Марианны за перегородкой, напоминающее о мерзости настоящего, я стараюсь покрыть эти смешные звуки шумом своего прежнего счастья, я страстно перебираю в своей памяти прошлое, чтобы из его разрозненных обрывков создать иллюзию будущего.

Как раз сегодняшнее число, 6 октября, связано со многими воспоминаниями. Вот уже пять лет прошло со времени этой драмы, все подробности которой так ясно сохранились в моей памяти. Герой этой драмы умер. Это был милый красивый мальчик, которого я убила своими ласками, доставляя ему слишком много радости, слишком много жизни... И 6-го октября я в первый раз за эти пять лет не снесу цветов на его могилу... Но я сделаю букет из неувядаемых цветов, которые украсят его в моей памяти. Эти цветы я соберу в саду своего сердца, в саду своего сердца, где растут недолговечные цветы увлечений, где цветут также большие белые лилии любви...

Я помню, это было в субботу... В рекомендательной конторе на улице Колизея, куда я в течение восьми дней регулярно приходила каждое утро искать место, меня представили одной даме в трауре. Никогда до тех пор я не встречала человека с таким располагающим к себе лицом, мягкими глазами, простыми манерами, с такою чарующей речью. Мне стало тепло на душе с первых же слов ее.

– Дитя мое, – сказала она мне, – госпожа Пола-Дюран (хозяйка конторы) с большой похвалой отзывается о вас. Я думаю, что вы этого заслуживаете, потому что у вас интеллигентное, открытое и веселое лицо, и вы мне очень нравитесь. Мне нужен надежный и преданный человек. Преданный!.. Знаю, что это требование очень трудное, потому что вы меня не знаете и не имеете никаких оснований быть мне преданной... Я вам объясню сейчас условия, в которых я живу. Но не стойте же, дитя мое... садитесь вот сюда...

Достаточно, чтобы со мной мягко заговорили, чтобы на меня не посмотрели как на существо постороннее, как на человека с улицы, как на нечто среднее между собакой и попугаем, и я тотчас же чувствую себя тронутой, во мне воскресает душа ребенка. Я каким-то чудом забываю всю свою злобу, ненависть, возмущение и к тем, которые со мной говорят по-человечески, испытываю только чувство преданности и любви. Я знаю также по опыту, что только несчастные люди могут поставить свои страдания рядом со страданиями людей ниже себя. Есть всегда что-то оскорбительное и холодное в доброте счастливых людей!

Когда я села рядом с этой почтенной дамой в трауре, я уже любила ее... и любила искренне...

Она со вздохом начала:

– Я вам не веселое место предлагаю, дитя мое...

С искренним энтузиазмом, который не ускользнул от нее, я живо запротестовала:

– Это не важно, сударыня... Я буду делать все, что вы от меня потребуете.

И это была правда... Я была на все готова.

Она поблагодарила ласковым взглядом и продолжила:

– Так вот... Я много испытала в своей жизни... Я всех своих потеряла... у меня остался только один внук. И ему также угрожает смерть от страшной болезни, которая отняла у меня всех других...

Боясь назвать эту страшную болезнь, она своей старой рукой, одетой с черную перчатку, указала мне на грудь. И с еще более печальным выражением в голосе продолжала:

– Бедный мальчик... Это прелестный ребенок... я его обожаю и все свои надежды возлагала на него. После него я останусь совсем одинокой. И зачем мне, Боже мой, жить тогда?..

Глаза ее заволоклись слезами. Она их вытерла платком и заговорила опять:

– Врачи уверяют, что его можно спасти, что легкие неглубоко затронуты... От режима, который они предписывают, они ждут много хорошего. Каждый день после обеда Жоржу нужно будет купаться или, вернее, окунаться в море. Затем ему нужно растирать все тело волосяной перчаткой для ускорения кровообращения, затем заставлять выпивать стакан старого портвейна, затем в течение часа по крайней мере он должен будет спокойно лежать в теплой кровати. Вот чего я от вас прежде всего хочу, мое дитя. Но, кроме того, ему нужен молодой, милый, веселый, жизнерадостный человек. У меня меньше всего может он найти этих качеств... У меня есть двое слуг, очень преданных, но они старые, скучные, слабоумные... Жорж их терпеть не может... Я сама со своей старой седой головой и вечным трауром также удручающе действую на него. И что хуже всего, я чувствую, что часто я не могу скрыть от него своих опасений... Может быть, такой молодой девушке, как вы, и неудобно ухаживать за таким же молодым юношей, как Жорж... ему только девятнадцать лет! Это, наверное, даст повод всяким сплетням. Но меня это не интересует... Меня интересует мой больной мальчик, и я вам доверяю... Вы честная женщина, по-видимому.

– О да, сударыня, – воскликнула я, заранее уверенная в том, что буду играть роль святой, которую разыскала бабушка для спасения своего внука.

– А он... бедный мальчик, Боже мой! В его возрасте, видите ли, больше, чем морские купания, может помочь, если он не будет оставаться один, если он всегда около себя будет видеть красивое лицо, слышать веселый смех молодого человека... Это будет отгонять мысль о смерти, внушит доверие к жизни... согласны вы?

– Согласна, сударыня, – ответила я, тронутая до глубины души. – И будьте уверены, что я буду хорошо ухаживать за Жоржем.

Мы условились, что я в тот же вечер приступлю к исполнению своих обязанностей и что на третий день мы поедем в Ульгату, где эта дама в трауре наняла красивую виллу на берегу моря.

Бабушка не обманула меня. Жорж был очаровательным, восхитительным мальчиком. От его безбородого лица веяло прелестью красивого лица женщины; женственны были также его мягкие движения и его длинные руки, белые и изящные, на которых просвечивали жилки. И какой блеск в глазах! В зрачках светился какой-то внутренний огонь, ресницы отливали голубым цветом и сияли светом пламенного взгляда... Сколько в этих глазах проглядывало мысли, чувства, страсти, внутренней жизни! А на щеках уже играл румянец смерти... Казалось, что он умирает не от болезни, а от избытка жизни, от лихорадочного огня, который пожирал его органы и сушил его кожу. Как было красиво и печально на него смотреть! Когда бабушка привела меня к нему, он лежал на кушетке и держал в руках розу... Он встретил меня не как служанку, а почти как друга, которого он ожидал. И с первого же момента я привязалась к нему со всем пылом своей души.

Мы переехали и поселились в Ульгате без всяких приключений. Все для нас заранее было приготовлено. Вилла, которую мы заняли, была просторная, светлая, изящная и веселая. Широкая терраса с плетеными креслами и пестрыми маркизами вела прямо к морю. К нижним ступенькам каменной лестницы подступали волны во время прилива. В нижнем этаже была комната Жоржа; из широкого окна открывался прекрасный вид на море. Моя комната в том же коридоре, как раз напротив, выходила своим окном в маленький сад, где росли тощие розы. Мне трудно выразить словами мою радость, гордость, мое волнение – все мои чистые и новые чувства, которые были вызваны таким обращением, такой заботой обо мне. Я, как равная, принимала участие в этой комфортабельной, роскошной жизни, в семейных радостях, о которых я так напрасно мечтала. Как будто по мановению жезла благодетельной феи, у меня исчезли всякие воспоминания о моих прежних унижениях, и я исполняла свои обязанности с сознанием своего достоинства, которое наконец стали уважать во мне. Могу сказать, что я вся, как по какому-то волшебству, преобразилась. Не только зеркало говорило мне, что я стала красивее, но и сердце кричало мне, что я стала лучше. Я открывала в себе новые неиссякаемые источники преданности, самопожертвования... героизма... У меня была только одна мысль – своими заботами, своим вниманием, своею изобретательностью во что бы то ни стало спасти Жоржа от смерти.

С большой верой в свои способности исцелительницы я говорила, я кричала бедной бабушке, которая по целым дням сидела в соседнем зале и плакала:

– Не плачьте, сударыня, мы его спасем... Клянусь вам, что мы его спасем...

И, действительно, через две недели Жорж почувствовал себя гораздо лучше. В его здорovie произошла большая перемена. Приступы кашля уменьшились, появились сон и аппетит. По ночам не было этого ужасного, обильного пота, от которого он себя по утрам чувствовал истощенным и разбитым. Силы восстановились настолько, что мы могли предпринимать продолжительные прогулки в карете и небольшие прогулки пешком, не утомляясь при этом. Погода стояла хорошая, воздух был теплый, умеряемый ветром с моря, и мы в те дни, когда оставались дома, почти все время сидели в беседке на террасе в ожидании времени, когда Жоржу нужно было идти купаться в море. Жорж был весел, никогда не говорил о болезни, никогда не говорил о смерти. Он подолгу болтал со мной, и я, видя его доверчивые глаза, его сердечность и любезность по отношению ко мне, сама увлекалась разговором и рассказывала ему обо всем, что приходило мне в голову, шутила, пела... О моем детстве, о своих желаниях, о своих несчастьях и мечтах, о житейских бурях, о различных местах у смешных ничтожных хозяев, обо всем этом я ему рассказывала, нисколько не маскируя истины,

потому что он понимал все благодаря той удивительной чуткости, которой обладают больные, несмотря на вынужденную удаленность и отчужденность от жизни. Между нами установилась настоящая дружба благодаря, с одной стороны, его характеру и одиночеству, а с другой стороны – моим постоянным заботам о нем, моему неусыпному вниманию. Я себя чувствовала невыразимо счастливой, и мой ум развивался от постоянного общения с ним. Жорж обожал стихи. По целым часам я ему читала по его просьбе на террасе под шум моря или вечером, в его комнате поэмы Виктора Гюго, Бодлера, Верлена, Метерлинка. Часто он закрывал глаза, лежал неподвижно со скрещенными на груди руками. Думая, что он спит, я умолкала... Но он начинал смеяться и говорил:

– Продолжай, малютка. Я не сплю. Я так лучше слышу стихи. Я так лучше слышу твой голос, твой прелестный голос...

Иногда он меня сам прерывал. Он медленно прочитывал те стихи, которые произвели на него наиболее сильное впечатление, и – как я его за это любила! – старался дать мне понять и почувствовать их красоту...

Однажды он мне сказал, и я храню эти слова как священную реликвию:

– Для того, чтобы понимать и любить все возвышенное в поэзии, не нужно совсем быть ученым... наоборот... Ученые не понимают и большею частью презирают поэзию. Чтобы любить стихи, достаточно иметь душу, душу чистую как цветок... Поэты говорят простым, печальным и больным душам... И поэтому они бессмертны. Знаешь ли ты, что всякий чуткий человек немного поэт? И твои рассказы, Селестина были также красивы, как стихи...

– О!., господин Жорж, вы смеетесь надо мной...

– Да нет же! Ты и сама не знала, что так красиво рассказываешь. И это-то особенно восхитительно...

То были единственные в моей жизни часы, и что бы со мной ни случилось в будущем, до самой смерти мое сердце сохранит память о них, как о лучшей песне... Я испытала невыразимо приятное чувство, как будто я становилась другим существом, как будто во мне просыпалось что-то новое, не известное мне раньше... И если, несмотря на мой нравственный упадок и пробуждение всего дурного, что было во мне, я сохранила в себе страсть к чтению и стремление к высшему в окружающей меня среде и во мне самой, если я, несмотря на свое невежество, доверилась своим способностям и осмелилась писать этот дневник, то всем этим я обязана Жоржу...

О, да! Я была счастлива... счастлива, кроме того, видеть, как воскресает милый больной, как наполняется новыми здоровыми соками его тело, как расцветает его лицо... счастлива от той радости, надежд и уверенности, которые появились во всем доме, благодаря этому быстрому выздоровлению; виновницей, волшебной феей этого семейного счастья была я. Это исцеление приписывали мне, моему заботливому уходу, неограниченной преданности и еще больше, моему постоянному веселью очаровательной молодости и большому влиянию моему на Жоржа. Бедная бабушка меня благодарила, выражала свою признательность и осыпала подарками... как кормилицу, которой доверили почти мертвого ребенка и которая своим чистым, здоровым молоком восстановила его органы, вернула ему радость и жизнь.

Иногда, забывая о своем общественном положении, бабушка брала меня за руки, нежила и ласкала их со слезами на глазах и говорила:

– Я была уверена, когда я вас увидела, я была уверена!

И уже составлялись проекты... путешествия в теплые края... в страны, где вечно цветут розы.

– Вы от нас никогда не уйдете, никогда, мое дитя.

Ее восхищение мною часто меня стесняло, но в конце концов я принимала его как заслуженное. Если бы я захотела злоупотребить ее благородством, как это сделали бы другие на моем месте... Ах, горе!..

И случилось то, что должно было случиться.

В этот день было жарко и душно и чувствовалось приближение грозы. Над потемневшим, но спокойным морем неслись большие красные грозовые тучи. Жорж не выходил даже на террасу, и мы сидели в его комнате. Более нервный, чем всегда, очевидно, под влиянием атмосферного электричества, он даже не захотел, чтобы я читала ему стихи.

– Это меня утомит, – говорил он. – И к тому же я чувствую, что ты сегодня плохо будешь читать.

Он ушел в зал и попробовал играть на рояли. Рояль его раздражала, и он вернулся в комнату и, сидя около меня, стал рисовать карандашом женские силуэты. Но скоро оставил бумагу и карандаш и с нетерпением в голосе проговорил:

– Я не могу... нет у меня настроения... Рука дрожит... Не знаю, что со мной... И с тобой что-то такое происходит... Ты не можешь усидеть на месте...

Наконец, он растянулся на кушетке у большого окна, из которого на большое расстояние видно было море. Рыболовные барки, уходя от грозы, возвращались в порт Трувиль. С рассеянным видом он следил за их движением и за серыми парусами...

Как верно сказал Жорж, я не могла усидеть на месте... я волновалась, стараясь придумать, чем занять его. Конечно, я ничего не придумала, и мое волнение не успокаивало больного...

– Зачем так нервничать?.. Зачем так волноваться?.. Посиди около меня.

– А не хотели ли бы вы теперь быть на этих маленьких барках, там на море?.. – спросила я.

– Не говори для того только, чтобы говорить... Посиди около меня...

Как только я села около него, вид моря стал ему несносен, и он попросил спустить шторы.

– Погода сегодня меня приводит в отчаяние... Море какое-то страшное, я не хочу его видеть... Все сегодня страшно. Я ничего не хочу видеть сегодня, ничего, кроме тебя.

Я его слегка стала бранить.

– Господин Жорж, вы неблагоприятны... Нехорошо... Если бы бабушка вошла и увидела вас в таком состоянии она заплакала бы!

Он поднялся немного на подушках.

Прежде всего зачем ты меня называешь «господин Жорж»? Ты ведь знаешь, что это мне не нравится.

– Но я не могу вас называть «господин Гастон»!

– Называй меня просто «Жорж»... злюка...

– Не сумею, никогда не сумею...

– Любопытно! – сказал он со вздохом. – Ты всегда хочешь быть бедной маленькой рабыней?

Затем он замолчал. И весь остальной день он нервничал или молчал, что его еще больше расстраивало.

После обеда разразилась наконец гроза. Поднялся сильный ветер, и море с шумом ударило о берег... Жорж не хотел ложиться спать. Он чувствовал, что не может заснуть, а бессонные ночи так длинны и мучительны! Он разлегся на кушетке, а я села у маленького столика, на котором стояла лампа под абажуром и разливала мягкий, розовый свет вокруг нас. Мы не разговаривали. Глаза Жоржа блестели больше обыкновенного, но он казался спокойным, а розовый свет лампы оживлял его лицо и оттенял изящные формы его тела... Я занялась шитьем.

Вдруг он сказал мне:

– Оставь свою работу, Селестина, и иди ко мне...

Я всегда повиновалась его желаниям и капризам. Его порыв и дружеские излияния я приписывала чувству благодарности. Я повиновалась, как и всегда.

– Ближе ко мне... еще ближе, – сказал он. Затем:

– Дай мне теперь твою руку...

Без малейшего недоверия я ему дала свою руку, и он стал ее ласкать.

– Какая красивая у тебя рука! Какие красивые у тебя глаза! И какая ты вся красивая... вся... вся!..

Он часто мне говорил о моей доброте, но никогда он мне не говорил, что я красива – по крайней мере никогда не говорил с таким видом. От неожиданности, хотя в глубине души я была в восхищении от этих слов, произнесенных порывистым и страстным голосом, я инстинктивно отступила назад.

– Нет... нет... не уходи... Остайся около меня... ближе... Ты не знаешь, как мне хорошо, когда ты близко около меня... как это меня ободряет... Ты видишь, я больше не нервничаю, не волнуюсь... я не болен... я доволен... я счастлив... очень... очень счастлив...

И, скромно обняв мою талию, он меня заставил сесть рядом с ним на кушетку и спросил:

– Разве тебе так плохо?

Я несколько не успокоилась. Глаза его еще больше заблестели... Голос стал дрожать... О! эта дрожь в голосе была мне знакома! Она появляется у мужчин, когда ими овладевает бурная страсть. Я сама волновалась, трусила... и голова немного кружилась у меня... Но я решила не поддаваться и защищать его против его самого. Наивным тоном я ответила:

– Да, господин Жорж, мне дурно... Дайте мне прийти в себя...

Его рука не оставляла моей талии.

– Нет... нет... я прошу тебя!.. Будь добрее...

И с какой-то бесконечно милой хитростью в голосе он прибавил:

– Ты так труслива... И чего ты боишься?

В то же время он приблизил свое лицо к моему, и я почувствовала его горячее дыхание... какой-то неприятный запах... какое-то дыхание смерти...

У меня сердце сжалось от боли, и я вскрикнула:

– Господин Жорж! Ах! Господин Жорж!.. Оставьте меня! Вы опять заболите... Я вас умоляю, оставьте меня!

Я не решалась обороняться ввиду его слабости и хрупкости его тела. Я пыталась только со всеми предосторожностями отстранить его руку, которая робко и неловко старалась растегнуть мой корсаж и ласкать мою грудь. Я повторяла:

– Оставьте меня! Вы нехорошо делаете, господин Жорж... оставьте меня...

Усилие удержать меня утомило его, напряжение его рук скоро ослабело. В течение нескольких секунд он трудно дышал. Затем сухой кашель вырвался из его груди...

– Видите, господин Жорж, – сказала я ему с мягким, материнским упреком. – Вы хотите заболеть... вы ничего не хотите слушать, и опять сначала придется начинать... Вы хорошенько поправитесь, тогда... Будьте благоразумны, я вас прошу! И если бы вы были совсем милый, знаете, что бы вы сделали? Вы сейчас же легли бы спать.

Он убрал свою руку, которая обнимала меня, растянулся на кушетке и, когда я поправляла ему подушки, печально, со вздохом сказал:

– Да... это верно... Извини меня...

– Вам не нужно извиняться предо мной, господин Жорж, вам нужно быть спокойным.

– Да... да!.. – сказал он, глядя на пол, где прыгало светлое пятно от лампы. – Я немного с ума сошел... и на один миг подумал, что ты можешь меня полюбить, меня, который нико-

гда не любил... и ничего никогда не имел, кроме... одних страданий... Зачем тебе любить меня?.. Меня моя любовь к тебе исцелила... С тех пор, как ты здесь, близ меня и будишь во мне страсть, с тех пор, как ты здесь со своею молодостью, свежестью, своими глазами, своими руками, своими маленькими бархатными ручками, так нежно ласкающими... я мечтаю только о тебе... я чувствую в себе, в моей душе и в моем теле новые силы... целую жизнь, неизведанную и кипучую... Вернее, я чувствовал, потому что теперь... Чего ты хочешь, наконец? Это было безумие! И ты... ты... это верно...

Я была очень смущена. Я не знала, что говорить; я не знала, что делать. Самые противоречивые чувства волновали меня... Порыв толкал меня к нему... священный долг меня удерживал... И я глупо начала бормотать, потому что была неискренна и не могла быть искренней в этой неравной борьбе между чувством и сознанием долга:

– Господин Жорж, будьте благоразумны... не думайте об этих глупостях... Это вам причиняет боль... Ну же, господин Жорж... будьте хорошим мальчиком...

А он повторял все:

– Зачем тебе любить меня? Верно... ты права, если не любишь меня. Ты считаешь меня больным. Ты боишься заразиться от меня... заразиться той болезнью, от которой я умираю... от поцелуя со мной... Это верно...

Эти оскорбительные и жестокие слова сильно задели меня.

– Не говорите этого, господин Жорж, – воскликнула я, взволнованная. – Это страшно зло с вашей стороны так говорить... Вы меня слишком обижаете... это слишком обидно...

Я схватила его за руки... они были влажные и горячие. Я наклонилась над ним... его хриплое дыхание как будто вылетало из кузнечного горна...

– Страшно... страшно!

Он продолжал:

– Поцелуй от тебя... но это было бы для меня выздоровлением, возвратом к жизни. Ты серьезно верила в купания, в портвейн, в волосяную перчатку? Бедная малютка... Это я в твоей любви купался... вино твоей любви я пил, и от твоей любви у меня под кожей потекла новая кровь... Это потому, что я так надеялся, жаждал и ждал твоего поцелуя, я вернулся к жизни, стал здоровым... да, я теперь здоров. Но я не хочу, чтобы ты отказала мне в этом поцелуе... ты права, отказывая мне в нем... Я понимаю... понимаю... У тебя маленькая, робкая душа, маленькая птичка, которая поет на одной ветке, потом на другой... и при малейшем шуме улетает... фьють!

– Вы говорите ужасные вещи, господин Жорж.

Я кусала себе руки, а он продолжал:

– Почему ужасные? Нет, не ужасные, а верные. Ты считаешь меня больным... Ты думаешь, что можно быть больным, когда любишь... Ты не знаешь, что любовь – это жизнь... жизнь вечная... Да, да, я понимаю, твой поцелуй для меня жизнь... и ты поэтому вообразила, что для тебя это будет смерть... Не будем больше говорить об этом...

Я не могла этого больше слышать. Была ли эта жалость, подействовали ли так на меня горькие упреки, грубое недоверие, его жестокие слова или чувственная, грубая любовь захватила меня вдруг? Не знаю... Может быть, все вместе было. Я знаю только, что я всей тяжестью своего тела упала на кушетку и, приподнимая своими руками его чудную головку, взволнованно закричала ему:

– Ну! злой... посмотри, как я боюсь... смотри же, как я боюсь...

Я прильнула своими губами к его губам, своими зубами к его зубам с такой силой и страстью, что язык мой, казалось мне, проникнет во все глубокие складки его груди, выпьет и вылижет всю зараженную кровь, весь смертельный яд. Он простер свои руки и сомкнул их в объятии надо мной...

Случилось то, что должно было случиться.

Но, нет. Чем больше я думаю об этом, тем больше я убеждаюсь в том, что я бросилась в объятия Жоржа и прильнула к его губам прежде всего и исключительно из непосредственного и непреодолимого чувства протеста против тех низких побуждений, которым Жорж – может быть, из хитрости – приписывал мой отказ. Это было, кроме того, проявлением горячего сочувствия, которым я хотела сказать:

– Нет, я не считаю тебя больным, нет, ты не болен... В доказательство я без колебания дышу тобой, глотаю твое дыхание, пропитываю им свою грудь и свою кожу. И если бы ты действительно был болен, если бы твоя болезнь была заразительна и смертельна для меня, то я не хочу, чтобы у тебя была эта чудовищная мысль, будто я боюсь заболеть этой болезнью, страдать и умереть от нее...

Я менее всего предвидела и обдумала, к чему неизбежно должен был привести этот поцелуй, я не соображала тогда, что, будучи в объятиях своего друга и прикасаясь своими губами к его губам, я не сумею оторваться от него и уклониться от этого поцелуя. Это так! Когда меня держит мужчина в своих объятиях, у меня горит кожа и голова кружится, кружится... Я становлюсь пьяной... безумной... дикой... Во мне говорит тогда только страсть. Я вижу только его... думаю только о нем... покорная и робкая, я иду за ним... хотя бы на преступление!

О, этот первый поцелуй Жоржа! Его неловкие и милые ласки, наивная страсть в его жестах... и этот восторг в его глазах перед раскрывшейся тайной женщины и любви! В этом первом поцелуе я ему отдалась вся с безотчетным увлечением, с той бурной, лихорадочной страстью, которая обессиливает и укрощает самых сильных мужчин и заставляет их просить пощады. Но когда опьянение прошло, когда я увидела бедного, хрупкого мальчика задыхающимся и обмершим в моих объятиях, у меня появились страшные угрызения совести, какое-то чувство или скорее страх, как будто я только что совершила убийство...

– Господин Жорж... господин Жорж!.. Вам дурно... Ах! бедный мальчик!..

Но он с какой-то кошачьей грацией, с доверчивой нежностью и бесконечной признательностью обвился вокруг меня, как бы ища защиты у меня. С глазами, полными восторга, он мне сказал:

– Я счастлив... Теперь я могу умереть...

И так как я приходила в отчаяние и проклинала свою слабость, он повторил:

– Я счастлив... Остайся со мной всю ночь, не покидай меня. Один я, мне кажется, не перенесу такого огромного счастья.

Когда я ему помогла улечься, начался приступ кашля. К счастью, ненадолго, но у меня сердце разрывалось на части. Неужели после того, как я облегчила его страдания, исцелила его, я теперь буду убивать его? Мне казалось, что я не сумею удержать своих слез и я проклинала себя...

– Это ничего... ничего... – говорил он, смеясь. – Зачем же отчаиваться, когда я счастлив... Ты увидишь, как хорошо я буду спать рядом с тобой... Ведь я не болен... не болен... Я буду спать на твоей груди, как будто я твой маленький ребенок, положу голову на твою грудь...

– А если ночью бабушка позвонит мне, господин Жорж?

– Да нет... нет... бабушка не будет звонить. Я хочу спать с тобой.

Некоторые больные любят сильнее, чем даже самые сильные и здоровые люди. Я думаю, что мысль о смерти, что смерть, витающая над ложем любви, своею страшной таинственностью будит страсть. В течение двух недель после этой памятной ночи – этой восхитительной и трагической ночи – мы находились как будто во власти волшебницы, которая слила наши поцелуи, наши тела, наши души, сжала нас в одном объятии, в непрерывном наслаждении. Мы спешили вознаградить себя за потерянное время, мы хотели жить без отдыха этой любовью, так как мы предчувствовали скорую развязку в надвигающейся смерти...

– Еще... еще... еще!..

Во мне произошла внезапная перемена. Я не только не чувствовала никаких угрызений совести, когда Жорж ослабевал, но умела новыми и более страстными ласками оживлять на время его разбитые члены и придавать им видимость силы. Исцеляя его своими поцелуями, я его сжигала огнем своей страсти.

– Еще... еще... еще!..

Я целовала с каким-то роковым, преступным безумием. Зная, что я убиваю Жоржа, я сама решила умереть от этого счастья и от этой болезни. Я смело жертвовала и его жизнью, и своей собственной... С каким-то бешеным порывом, который удваивал напряжение нашей страсти, я вдыхала своим ртом, я пила смерть, всю смерть, я сосала губами его яд... Однажды, во время сильного приступа кашля, я заметила на его губах большой сгусток мокроты с кровью.

– Дай... дай... дай!..

И я проглотила эту мокроту с мучительной жадностью, как целительное лекарство.

Жорж таял, как свеча. Припадки стали повторяться чаще, становились более тяжелыми и болезненными. У него шла кровь горлом, появились обмороки, во время которых он казался мертвым. Он весь исхудал, высох и стал похож на скелет. Недавняя радость в доме сменилась ужасной печалью. Бабушка опять начала по целым дням плакать, молиться, кричать, подслушивать у его двери в постоянном страхе услышать крик, хрип, вздох, последний вздох... увидеть конец того, что у нее осталось дорогого на земле. Когда я выходила из комнаты, она следовала за мной по пятам и, вздыхая, говорила:

– Почему, Боже мой? Почему? Что же случилось?

Обращаясь ко мне, она прибавляла:

– Вы убиваете себя, моя бедная малютка. Вам нельзя проводить все ночи у Жоржа. Я приглашу сестру на помощь.

Но я отказалась. И она еще нежнее полюбила меня за этот отказ... Ведь я уже совершила чудо, я могла совершить еще другое чудо... Не ужасно ли? Я была ее последней надеждой!..

Врачи, приглашенные из Парижа, были поражены быстрым развитием болезни. Но ни на одну минуту ни они, ни кто-либо другой не заподозрили ужасной истины.

Они ограничились тем, что прописали успокаивающие средства.

Лишь один Жорж оставался постоянно веселым, неизменно счастливым. Он не только не жаловался, но, наоборот, говорил о своей благодарности и признательности. В его словах всегда звучала радость. Вечером после страшных приступов болезни он иногда говорил мне:

– Я счастлив... Зачем тебе плакать и отчаиваться?... Твои слезы омрачают мою радость... светлую радость, которая наполняет мою душу... Я уверяю тебя, что смерть недорогая плата за то нечеловеческое счастье, которое ты мне дала... Я уже был погибшим человеком... смерть была во мне... не было ничего, что могло ей помешать сделать свое дело. Ты превратила эту смерть в лучезарное счастье... не плачь же, дорогая малютка. Я тебя обожаю... я благодарю тебя...

Лихорадочная страсть угасла во мне теперь. Я чувствовала ужасное отвращение к себе самой, невыразимый страх перед совершенным преступлением, убийством... У меня оставалась только одна надежда, только одно утешение или извинение – это уверенность в том, что я заразилась от своего друга и что я умру вместе с ним, в одно время с ним. Ужас и безумие охватили меня, когда Жорж, почти умирающий уже, притянул меня к себе своими руками, прильнул ко мне своими губами и просил, жаждал еще любви. Я чувствовала, что у меня не хватит храбрости, что я не имею права отказать ему в ней, не совершив нового преступления, еще более жестокого убийства...

– Еще раз дай мне твои губы!.. Твои глаза!.. Твою ласку!..

У него не было сил перенести мои ласки; часто он терял сознание в моих объятиях. И случилось то, что должно было случиться...

Это было как раз 6 октября. Осень в том году стояла мягкая, теплая, и врачи советовали продолжить наше пребывание на берегу моря, чтобы потом переехать на юг. Весь этот день Жорж был очень спокоен. Я широко раскрыла большое окно в его комнате, и, лежа на кушетке у окна, укутанный в теплые одеяла, он по крайней мере четыре часа подряд вдыхал йодистые испарения, поднимавшиеся с широкого моря. Он радовался живительным лучам солнца, приятному аромату, песчаному берегу и людям, которые там внизу ловили раковины. Никогда я его не видела таким веселым. И от этого веселья на его исхудалом, лице, на котором кожа с выступающими под ней костями просвечивала, как прозрачная перепонка, от этой радости веяло какой-то зловещей печалью, и я несколько раз должна была выйти из комнаты, чтобы выплакаться вволю. Он не захотел, чтобы я ему читала стихи. Когда я открыла книгу, он сказал мне:

– Нет!.. Ты моя поэма... ты все мои поэмы... и какие они красивые!

Ему было запрещено разговаривать. Самая небольшая беседа утомляла его и вызывала частые приступы кашля. Впрочем, у него и сил почти не было говорить. Все, что в нем оставалось живого, все его мысли, воля, чувства – все сосредоточилось в его взгляде, в котором его душа горела каким-то неестественным ярким пламенем... В этот вечер, 6 октября, он, казалось, перестал страдать. Я его вижу еще перед своими глазами лежащим на кровати с высоко поднятой на подушке головой и спокойно перебирающим своими худыми пальцами бахрому голубого занавеса, улыбающимся мне и следящим за каждым моим приходом и уходом своим взглядом, который в тени кровати светился и горел, как лампа.

В его комнате поставили для меня маленькую кушетку и – о, ирония! чтобы пощадить, очевидно, нашу стыдливость – ширмы, за которыми я могла бы раздеваться. Но я часто и не ложилась на кушетку, потому что Жорж хотел, чтобы я была с ним всегда. Он себя чувствовал действительно хорошо, был на самом деле счастливым только тогда, когда моя обнаженная кожа прикасалась к его обнаженной коже или – увы! – к его обнаженным костям.

Часа два он проспал почти спокойным сном, а около полуночи проснулся. Его немного лихорадило, щеки были красные. Заметив у меня слезы на глазах, он с мягким упреком в голосе сказал:

– Ты опять плачешь! Ты меня хочешь огорчить, причинить мне неприятность? Почему ты не легла? Ложись со мной...

Я покорно повиновалась, потому что малейшее противоречие было ему вредно. Легкого неудовольствия было достаточно, чтобы вызвать кровотечение... Зная мои опасения, он ими злоупотреблял. Но едва я легла, как его руки обвились вокруг моего тела, его губы искали моих губ. Робко и не сопротивляясь, я стала умолять его:

– Пожалуйста, не сегодня! Будьте благоразумны сегодня...

Он не слушал меня. Дрожащим от страсти и близкой уже смерти голосом он ответил:

– Не сегодня! Ты всегда одно и то же повторяешь... Не сегодня! Разве у меня есть время ждать?

Я не могла удержаться от рыданий.

– Ах! господин Жорж, – воскликнула я, – вы хотите, чтобы я вас убила? Вы хотите, чтобы всю жизнь меня мучила совесть за это убийство?

Всю жизнь!.. Я уже забыла, что хотела умереть вместе с ним, умереть от него, умереть, как он.

– Господин Жорж... господин Жорж!.., из жалости ко мне, я вас заклинаю!

Но его губы были на моих губах... Смерть была на моих губах...

– Молчи! – прошептал он, задыхаясь. – Я никогда тебя не любил, как сегодня...

И мы слились своими телами... Несмотря на безумную страсть, которая охватила меня, жестокой пыткой было для меня слышать, как вздыхал и вскрикивал Жорж и как хрустели подо мной его кости, как кости скелета.

Вдруг его руки перестали обнимать меня и упали беспомощно на кровать; его губы разомкнулись и оторвались от моих губ. И из его раскрытого рта вырвался какой-то крик отчаяния, затем хлынула горячая кровь, которая забрызгала мне все лицо. Одним прыжком я соскочила с кровати. В стоявшем против меня зеркале я увидела свое красное лицо, залитое кровью... Я растерялась от охватившего меня ужаса и хотела звать на помощь. Но чувство самосохранения, боязнь ответственности, страх, что раскроется мое преступление, какая-то трусливая расчетливость закрыли мне рот, толкнули к краю пропасти, где помрачался мой разум... Очень быстро, очень ясно я поняла, что никто не должен был войти в эту комнату и увидеть этот беспорядок, нашу наготу, всю обстановку любви.

До чего жалок человек! Было нечто более сильное, чем моя скорбь, более властное, чем мой испуг, это было низкое благоразумие, низкий расчет... Несмотря на страх, у меня хватило присутствия духа открыть дверь в залу, затем в переднюю и прислушаться... Нигде ни звука. Все спали в доме... Тогда я подошла к кровати... Я подняла Жоржа, он был легок, как перышко... Я держала его за голову в своих руках... кровь продолжала течь изо рта липкой струйкой... Я слышала, как грудь его опорожнялась через горло с характерным шумом опрокинутой бутылки с жидкостью...

– Жорж! Жорж! Жорж!

Жорж не ответил на мой зов, на мой крик... Он не слышал меня... Он уже больше не слышал никаких земных зовов и криков.

– Жорж! Жорж! Жорж!

Я уложила его на постель, он оставался без движения... Я положила ему руку на сердце... сердце не билось...

– Жорж! Жорж! Жорж!

Ужас увеличивался от этой тишины, от его молчания, от неподвижности этого окровавленного трупа, от меня самой... И, разбитая горем, испугом, обессиленная, я в обмороке упала на ковер.

Сколько минут или сколько веков продолжался этот обморок, не знаю. Когда я пришла в себя, одна мучительная мысль не давала мне покоя: скорее уничтожить все, что могло бы меня изобличить... Я умыла себе лицо, оделась. Я привела – да, меня хватило на это – в порядок постель, комнату... И когда все было окончено, я всех разбудила, я на весь дом прокричала эту страшную новость...

Ах, эта ночь! В эту ночь я узнала все муки, все пытки ада...

Сегодняшняя ночь мне напомнила ту... Буря воеет, как в ту ночь, когда я начала свою разрушительную работу над этим бедным мальчиком. И рев ветра в саду воскресил в моей памяти рев моря у песчаного берега этой навеки проклятой виллы в Ульгате.

Когда мы после похорон Жоржа вернулись в Париж, я не хотела остаться на этом месте, несмотря на многократные просьбы бедной старушки. Я спешила уйти, чтобы не видеть этих слез, не слышать этих рыданий, которые разрывали мое сердце... Я спешила уйти от этих выражений ее признательности, потому что в своем безутешном горе она чувствовала потребность без конца благодарить меня за мою преданность, за мой героизм, называть меня «дочерью, своей дорогой дочерью», обнимать и нежно ласкать меня... Много раз в эти две недели, которые я согласилась провести у нее, у меня являлось непреодолимое желание сознаться ей, изобличить себя, рассказать ей все, что так тяготило мою душу, что так угнетало меня. К чему? Разве ей стало бы легче от этого? Это значило бы ко всем ее мукам прибавить еще одну, внушить ей мучительную мысль, что ее дорогой мальчик мог бы остаться

в живых. И затем, я должна сознаться, у меня не хватало смелости для этого. Я уехала от нее, провожаемая, как святая, любимая, осыпанная богатыми подарками...

В тот же день, когда я после ухода со службы возвращалась из конторы госпожи Пола-Дюран, я встретила на Елисейских полях старого товарища, лакея, с которым мы прослужили вместе в одном доме целых шесть месяцев. Два года прошло с тех пор, как мы с ним не виделись. С первых же слов, которыми мы обменялись, я узнала, что он ищет места, как и я.

– Эта Селестина всегда весела! – воскликнул он, обрадовавшись нашему свиданию.

Это был добрый малый, весельчак, шутник и любил покутить.

– Может быть, пообедаем вместе? – предложил он.

У меня была большая потребность рассеяться, прогнать от себя печальные образы, гнетущие мысли, и я согласилась...

– Великолепно! – воскликнул он.

Он взял меня под руку, и мы пошли в один погребок на улице Камбон. Он был весел, грубо шутил, вел вульгарный разговор, и это не шокировало меня. Напротив, я почувствовала какую-то радость разгула, какую-то беспутную беспечность, как будто вспомнила забытую привычку... Одним словом, я узнала себя, я узнала свою жизнь в этих опухших веках, в этом плоском лице, в этих выбритых губах с отпечатком услужливости, скрытой лжи и склонности к разврату со всеми этими черточками, одинаково свойственными актерам, судьям и лакеям.

После обеда мы шатались некоторое время по бульварам. Затем зашли посмотреть синематограф. В темной зале, когда на освещенном экране под аплодисменты публики дефилировала французская армия, он обнял меня за талию и так крепко поцеловал в шею, что чуть не испортил мне прическу.

– Ты прелестна, – прошептал он. – Черт возьми! Как же от тебя хорошо пахнет...

Он меня проводил до гостиницы, где я жила, и мы несколько минут стояли на тротуаре молча, немного пьяные. Он концом своей трости ударял по носкам своих ботинок. Я, опустив голову, спрятав руки в муфту, растаптывала ногой апельсиновую корку...

– Ну, до свидания! – сказала я ему.

– Нет! – протестовал он. – Позволь мне пойти к тебе, Селестина?

Я как-то неопределенно отказывалась для виду, он настаивал:

– Что с тобой? У тебя сердце болит? Как раз самый настоящий момент...

Он пошел со мной. В этой гостинице не особенно смотрели за теми, кто поздно возвращался домой. Со своей крутой и темной лестницей, мокрыми перилами, удушливым воздухом, отвратительными запахами гостиница напоминала какой-то воровской или разбойничий притон. Мой спутник закашлял для храбрости. А я с чувством отвращения подумала:

– Ах! Как это не похоже на виллу в Ульгате и на великолепный отель на улице Линкольна...

Едва мы вошли в комнату, и не успела я запереть на ключ дверь, как он грубо схватил меня и бросил на кровать.

Какими мы, право, скотами иногда бываем!

Какие мы жалкие люди!

И я попала в водоворот жизни с ее радостями и печалью, с этой постоянной сменой лиц, новыми знакомыми, с неожиданными вылетаниями на улицу из роскошных домов... как всегда...

Удивительное дело! В своем упоении любовью я с жадной самопожертвования, искренне и страстно хотела умереть, а теперь я целые месяцы была полна ужаса от мысли, что я заразилась от поцелуев Жоржа. Малейшая слабость, случайные боли заставляли меня трепетать от страха. Часто по ночам я просыпалась в безумном испуге, вся в холодном поту. Я ощупывала себе грудь и от мнительности чувствовала боли, колики; я рассматривала свою

мокроту и находила в ней кровавые нити; я считала биения своего пульса, и мне казалось, что у меня лихорадка. Когда я смотрела на себя в зеркало, мне казалось, что глаза у меня ввалились и что лицо становится розовым, как щеки у Жоржа... Я как-то простудилась ночью после бала и прокашляла целую неделю. Я уже была уверена, что мой конец пришел. Я обложила себе спину пластырем и глотала без конца всякие лекарства. Я даже сделала пожертвование св. Антонию Падуанскому... Но страхи оказались напрасными; я была совершенно здорова и легко переносила все невзгоды своей службы и постоянную смену удовольствий. Я зажила по-прежнему...

В прошлом году 6 октября я по примеру прежних лет пошла положить цветы на могилу Жоржа, на Монмартрское кладбище. В большой аллее, в нескольких шагах от себя, я увидела бедную бабушку. Как она постарела и как постарели ее двое слуг, которые ее сопровождали! Она сгорбилась, согнулась, дрожала вся, еле передвигала ноги и нуждалась в поддержке своих слуг, которые так же сгорбились, согнулись и еле двигались, как и их хозяйка. За ними шел провожатый, который нес большой сноп белых и красных роз. Я замедлила шаги, чтобы не встретиться с ними и не быть узнанной. Спрятавшись за высокий памятник, я переждала, пока бедная старушка не положила своих цветов, не помолилась и не выплакалась на могиле своего внука... Они возвращались по узкой аллее таким же медленным шагом мимо самого склепа, где я стояла. Я притворилась, что не вижу их, потому что мне казалось, что это мои угрызения совести какими-то призраками проходили предо мной. Узнала ли она меня? Не думаю... Они ни на что не смотрели, ничего не видели на земле вокруг себя. Глаза у них как-то застыли, как у слепых, губы шевелились, но не было слышно слов. Можно было подумать, что это души трех мертвецов, которые заблудились в лабиринте кладбища, отыскивая свои могилы... Я вспомнила эту трагическую ночь... мое красное лицо... и кровь, которая шла горлом у Жоржа. Я вся похолодела при этом воспоминании. Наконец они скрылись из виду...

Где они теперь, эти три жалкие тени? Они, может быть, еще ближе стали к смерти. Они, может быть, уже умерли. Они еще, может быть, блуждали дни и ночи на земле, пока не нашли себе тишину и покой, которых они искали...

Все равно! Какая это была странная идея со стороны несчастной бабушки пригласить меня в качестве сиделки к такому молодому, такому красивому, как Жорж. И что меня больше всего поражает, когда я подумаю об этом, это то, что она никогда ничего не подозревала... никогда ничего не видела... Никогда ничего не понимала... Ах! теперь это можно сказать! Какие они, все трое, были бесхитростные люди, какие доверчивые...

Я еще раз увидела капитана Може через ограду. Он сидел на корточках перед свежескопанной грядкой и пересаживал желтые левкои. Заметив меня, он оставил свою работу и подошел к ограде поговорить со мной. Он не сердится на меня за убийство хорька. Вид у него очень веселый. Покатываясь со смеху, он мне по секрету рассказывает, что сегодня утром он схватил за шею белую кошку Ланлера, очевидно, в отместку за хорька.

– Я это уже десятую у них стаскиваю, – воскликнул он с какой-то дикой радостью, ударив себя по ляжкам и потирая затем грязные от земли руки. – А пусть не таскает чернозем из моих парников, мошенник. Пусть не портит моих питомников, верблюдов! Если бы мне схватить за шею самого Ланлера и его бабу! Свиной этих!.. А!., а!., а!.. Это идея!

Эта идея заставляет его вертеться на месте некоторое время. И со сверкающими скрытой злобой глазами он вдруг спросил:

– А почему бы вам не насыпать щетинки им в кровать? Пусть бы почесались! Честное слово, я вам пакетик дам! Идея!

Спустя немного времени он опять обратился:

Кстати, знаете, Клебер?.. Мой маленький хорек?

Да... ну?

Ну, я его съел.

Что, не очень вкусно?

Как плохой кролик.

Это было все надгробное слово над бедным животным.

Капитан рассказал мне, что на прошлой неделе он поймал под хвостом ежа. Он думает его приучить. Назвал он его Бурбаки. Это идея! Умное, забавное, необыкновенное животное и все ест!

– Верно! – воскликнул он. – В один и тот же день этот еж ел бифштекс, баранину с фасолью, соленое сало, швейцарский сыр, варенье... Поразительно! Его не насытишь... Он, как я... он все ест!

В этот момент маленький слуга вез по аллее тачку с камнями, старыми коробками от сардинок и всякими обломками, чтобы выбросить весь этот мусор в яму.

– Иди сюда! – окликнул его капитан.

Узнав от меня, что барин ушел на охоту, что барыня в городе, и что Жозефа тоже нет дома, он начинает бросать в наш сад все эти камения, обломки, один за другим, выкрикивая при этом:

– На, свинья! На, мерзавец!

Все это попадает на свежую грядку, где накануне Жозеф посадил горошек.

– Вот вам! А вот еще! А вот еще впридачу!

Грядки скоро вся была засыпана этим ломом. Радость капитана сопровождается улюлюканьем и беспорядочными жестами... Затем, покручивая свои старые седые усы, он обращается ко мне с видом пошлого волокиты:

– Селестина, вы – красавица, черт возьми! Что бы вам прийти, когда Розы не будет дома, а?.. Это идея!..

Право!.. Он даже не сомневается.

Глава восьмая

28 октября

Наконец я получила письмо от Жана. Как оно сухо написано! Читая его, можно было бы подумать, что между нами никогда ничего интимного не было. Ни одного дружеского слова, ни одной нежности, ни одного воспоминания! Он говорит только о самом себе. Если ему верить, он стал важной персоной. Это видно, это чувствуется по покровительственному, слегка презрительному тону. Все письмо как будто написано с целью поразить меня. Я всегда знала его хвастовство – красивый парень был, но никогда я от него ничего подобного не слышала. Мужчины теряют совсем голову от успеха, от славы.

Жан по-прежнему старшим лакеем у графини Фарден, а о графине Фарден теперь говорят во Франции больше, чем о ком-либо. Кроме службы в качестве лакея, на долю Жана выпала роль политического манифестанта и роялистского конспиратора. Он манифестирует с Коппе, Леметром, Кенэде-Борепером; он конспирирует с генералом Мерсье. Дело идет о низвержении республики. Он сопровождал Коппе на собрание «Французского отечества». Он себя чувствовал героем на эстраде позади великого патриота и целый вечер держал в своих руках его пальто. Впрочем, можно сказать, что он держал в своих руках все пальто всех великих патриотов нашего времени. Это что-нибудь да значит. В другой раз по выходе из дрейфусистского собрания, куда графиня его послала «посчитать ребра космополитам», он попал в участок, за то что ругал этих людей без отечества и во все горло кричал: «Смерть жидам! Да здравствует король! Да здравствует армия!» Графиня пригрозила правительству интерpellацией, и Жан был тотчас освобожден. За это геройство ему даже увеличили жалование на двадцать франков. Артур Мейер поместил его имя в *Gaulois*. Его же имя фигурирует в «*Libre Parole*», среди подписавшихся в пользу полковника Анри. Подписка эта была принята Коппе. Благодаря тому же Коппе он состоит членом «Французского Отечества». Это знаменитая лига. Вся прислуга всех знатных домов в ней участвует. Ее членами состоят также графы, маркизы, князья. Вчера генерал Мерсье, когда пришел к завтраку, сказал Жану: «Ну, мой храбрый Жан?» Мой храбрый Жан! Жюль Герен в «*Anti-juif*», в статье под заглавием «Еще одна жертва предателей» написал: «Наш доблестный товарищ, антисемит г. Жан и пр...» Наконец, Форен, который не выходит из дома, предложил Жану позировать для картины, которая должна воплощать душу отечества. Форен находит, что Жан «гвоздь картины!» Поразительно, какие у него знатные знакомства, какие почетные, в высшей степени лестные знаки отличия, какие солидные подарки он получает. И если ему верить до конца, то генерал Мерсье приглашает его в качестве лжесвидетеля в предстоящем процессе Золя, на что больше славы? Лжесвидетельство в этом году считается каким-то особенным шиком в высшем обществе. Быть выбранным в качестве лжесвидетеля – это все равно что вытащить самый большой выигрыш в лотерею. Жан замечает, что он производит большую сенсацию в квартале Елисейских полей. Когда он вечером заходит в кафе на улице Франциска I или выводит собак графини, то делается объектом всеобщего внимания, собаки, впрочем, также. Ввиду такой славы, которая может распространиться из этого квартала на весь Париж, а из Парижа на всю Францию, он подписался на газету «*Argus de la Presse*», как и графиня. Он мне будет присылать все, что о нем там напишут. Это все, что он для меня может сделать. Я должна понять, что ему некогда заниматься моими делами. Он после посмотрит, «когда мы будем у власти», – замечает он вскользь. – Во всех моих неудачах я сама виновата. Я никогда не умела вести себя, никогда не было никакой последовательности в моих мыслях, я не умела пользоваться своими хорошими местами. Если бы у меня была голова на плечах, я, может быть, также была бы в хороших отношениях с генералом Мерсье, Коппе, Деруледом

и, может быть, несмотря на то, что я женщина, я увидела бы свое имя на столбцах «Gaulois», который так покровительствует всякого рода прислуге.

Я едва не расплакалась, читая это письмо. Я почувствовала, что Жан совсем отказался от меня, что мне нечего больше рассчитывать на него... Ни на него, ни на кого другого! Он ничего не упоминает о той, которая заменила ему меня. Но я ее вижу отсюда, я вижу отсюда их обоих в этой комнате, которая мне так знакома, в объятиях друг друга, во взаимных ласках, бегающими вместе по общественным балам, по театрам. Как мило мы с ним все это проделывали! Я вижу, как он, возвратившись с бегов и проиграв свои деньги, обращается к этой другой, как он много раз обращался ко мне, и говорит: «одолжи мне твои драгоценности, твои часы, мне нужно заложить их!» Пусть его новое положение политического манифестанта и роялистского конспиратора не внушит ему по крайней мере новых честолюбивых замыслов и пусть не меняет он любовь в лакейской на любовь в салоне! А он дойдет до этого.

Неужели в самом деле я сама повинна во всех своих несчастьях? Может быть! Но мне все-таки кажется, что какой-то рок висел надо мной и не давал мне никогда прослужить больше шести месяцев на одном месте. Если меня не рассчитывали, то я сама уходила. Смешно и печально. Я всегда спешила быть «в другом месте» и всегда питала какие-то безумные надежды на эти «химерические другие места», меня всегда преследовали несбыточные миражи чего-то далекого, в особенности после пребывания в Ульгате, у бедного Жоржа. И с тех пор у меня осталось какое-то беспокойство, какое-то томительное и беспомощное стремление к недостижимому идеалу. Я прекрасно понимаю, что мое случайное и короткое общение с этим миром, лучше которого я никогда не видела, было пагубно для меня. Как обманчивы эти пути к неизвестному! Идешь, идешь, и все одно и то же. Посмотрите на этот горизонт, затянутый дымкой, там внизу. Какие чудесные краски, голубые, розовые, как там свежо, светло, легко, словно в мечте. Как хорошо, должно быть, жить там, внизу. Вы приближаетесь, вы приходите – и ничего не находите. Песок, камни, скучные берега, как стены. Ничего больше. А над этим песком, над этими камнями, над этими берегами висит серое небо и сокрушенно плачет. Ничего больше, ничего того, за чем пришли. Впрочем, я и не знаю, чего я ищу, и не знаю, кто я сама.

Прислуга – не нормальное существо в нашем обществе. Она как бы состоит из разнообразных кусков, которые никак нельзя склеить вместе, это какой-то чудовищный выродок. Она отстала от народа, из которого она вышла, и не пристала к буржуазии, у которой она живет. Она потеряла благородную и наивную силу той среды, от которой она отреклась. А от буржуазии она приобрела только одни пороки без тех средств, которые необходимы для их проявления, похотливость, трусость, преступные аппетиты без декоративной обстановки, которая служит оправданием для богатых людей. От общения с честным буржуазным обществом прислуга уходит с загрязненной душой, и от одного только вдыхания ядовитых паров, которые поднимаются из этих смрадных клоак, она теряет свою собственную голову, теряет даже свое внешнее обличье. Обо всех бесчисленных лицах, среди которых она блуждает, как призрак, остаются самые низменные воспоминания, одни страдания. Слуга часто смеется, но это вынужденный смех. Это не смех искренней радости, исполнившихся надежд, это горькая усмешка возмущенного человека, это жесткая саркастическая гримаса. В этом смехе так много грубости и печали, он жжет и сушит. Уж лучше бы плакать, чем так смеяться! И затем, я не знаю. И затем черт с ним! Будь, что будет.

Но тут ничего не бывает, никогда ничего. И я не могу привыкнуть к этому. Труднее всего переносить неподвижность, монотонность жизни. Я хотела бы уехать отсюда. Уехать? Но куда и как? Я не знаю и остаюсь!

Хозяйка по-прежнему та же; недоверчивая, требовательная, грубая, жадная, без порывов, без фантазии, без чуткости, без луча радости на этом мраморном лице. Барин живет по-

прежнему, и по его угрюмому виду я догадываюсь, что он злится на меня за мою неуступчивость, но это не страшно. После обеда он с ружьем уходит на охоту, возвращается вечером, не просит уже меня больше помочь стащить ему сапоги и в девять часов ложится спать. Он все такой же неуклюжий, смешной, рассеянный. Он толстеет. Как могут богатые люди довольствоваться такой скучной жизнью? Иногда, бывает, подумаешь о нем. Но что мне с ним было делать? Денег у него нет, удовольствия от него тоже никакого. Да и барыня не ревнива!

Эта ужасная тишина в доме меня больше всего донимает. Я и сама привыкаю неслышно скользить по полу, «ходить по воздуху», как говорит Жозеф. В этих темных коридорах с холодными стенами я сама себе часто кажусь каким-то привидением. Мне душно здесь. Но я остаюсь!

Мое единственное развлечение – мои посещения госпожи Гуэн, к которой я захожу по воскресеньям после обедни. Скука берет верх над отвращением; там по крайней мере мы все вместе. Мы болтаем, шутим, шумим и попиваем небольшими стаканчиками настойку. Тут есть хоть какая-то иллюзия жизни. И время проходит. В прошлое воскресенье я не видела маленькой девушки со слезящимися глазами и кошачьей мордочкой. Я стала справляться.

– Ничего, ничего, – сказала мне лавочница каким-то таинственным тоном.

– Она больна?

– Да, но это пустяки. В два дня она будет здорова.

Глаза Розы как бы подтверждают слова лавочницы:

– Вы сами видите! Это очень ловкая женщина.

Сегодня я у лавочницы узнала, что охотники нашли вчера в лесу под листьями страшно изуродованный труп девочки. Это, кажется, дочь землекопа. Ее звали маленькой Klarой. Простодушная, добрая и милая девочка лет двенадцати. Можете себе представить, что это была за находка для компании, которая каждое воскресенье пережевывала старые истории. Языки быстро развязались.

По словам Розы, всегда лучше всех осведомленной, у маленькой Клары живот был распорот ножом, и внутренности вышли наружу. На шее и на горле были ясные следы пальцев, которыми ее душили. Огромная рана, безобразно распухшая, свидетельствовала о каком-то совершенно невероятном, зверском изнасиловании. В кустах еще теперь можно видеть утоптанное место, где преступление было совершено. Это произошло дней восемь назад, потому что труп почти совсем разложился.

Несмотря на искреннее негодование по поводу этого убийства, для всех почти моих собеседниц, как мне кажется, самое насилие и все чувственные образы, которое оно вызывает, служат если и не совершенно оправдывающими, то, по крайней мере смягчающими вину обстоятельствами, ведь насилие связано с любовью. Тут же рассказывается много подробностей, припоминают, что маленькая Клара целые дни проводила в лесу. Весной она там собирала ландыши, анемоны, из которых делала букеты для городских дам. Летом были грибы и другие цветы. Но что ей было делать в лесу в это время, когда там нечего собирать?

Одна из собеседниц основательно замечает:

– Почему же это отец не выразил никакого беспокойства, что дочь пропала? Может быть, он сам и совершил это насилие?

Другая, не менее основательно на это отвечает:

– Но если бы он это хотел сделать, зачем ему нужно было бы уводить свою дочь в лес!

Тут Роза вмешивается в разговор:

– Это, конечно, очень темная история! Я...

У нее появляется какое-то многозначительное выражение на лице, она говорит очень тихо, как будто хочет посвятить нас в страшную тайну:

– Я... я ничего не знаю. Я ничего не хочу утверждать. Но...

Наше любопытство становится еще напряженнее от этого «но». Шеи вытягиваются, рты раскрываются. Со всех сторон слышны голоса:

– Но что? Но что?

– Но... я не стала бы удивляться, если бы это оказался...

Мы все замираем в ожидании.

– Господин Ланлер, вот, если хотите знать, что я думаю, – заканчивает она с выражением грубой и низкой жестокости в голосе.

Одни протестуют, другие воздерживаются. Я утверждаю, что Ланлер не способен на такое преступление:

– Он? Боже мой! Да, у него, бедного и храбрости не хватило бы на это.

Но Роза с еще большей ненавистью в голосе настаивает на своем:

– Не способен? Та-та-та! А маленькая Жезуро? А девочка из Валентена? А маленькая Дужер? Вспомните-ка? Не способен?

– Это другое дело, это другое дело.

В своей ненависти к Ланлеру другие не идут так далеко, как Роза, до формального обвинения в убийстве. Он сожительствует с маленькими девочками, которые соглашались на это? Что же! Еще куда ни шло. Но чтобы он их стал убивать? Нет, невероятно. Роза упорно стоит на своем. С пеной у рта, стуча по столу, она волнуется, кричит:

– Да говорю же я вам, что так, да я положительно уверена в этом.

Молчавшая до сих пор госпожа Гуэн, своим бесцветным голосом заявляет:

– Барышни мои, в таких делах трудно сказать что-нибудь. Для маленькой Жезуро это было неслыханное счастье, что он ее не убил, уверяю вас.

Несмотря на авторитет лавочницы и на упрямство Розы, которая не хочет, чтобы вопрос был отложен, все начинают перебирать подходящих людей, которые могли бы быть виновниками этого преступления. Таких оказывается очень много, это все те, против которых у них имеется какое-нибудь неприязненное чувство, злоба, ревность. Наконец, тщедушная, бледная женщина с крысиной физиономией высказывает свое предположение:

– Знаете, на прошлой неделе появились у нас двое капуцинов. Вид у них подозрительный. Они повсюду расхаживают и милостыню собирают. Не они ли это?

Все возмущаются:

– Честные, благочестивые монахи! Святые люди! Это ужасно.

Когда мы уже расходимся, высказав всевозможные предположения, Роза с ожесточением повторяет:

– Я вам говорю, я вам говорю, что это он.

Прежде чем войти в дом, я остановилась у сарая, где Жозеф чистил свою сбрую. Над столиком, на котором были симметрично расставлены бутылки с лаком и ящики с мазью, сверкал своей оправой портрет Дрюмона. Чтобы придать ему больше величия, должно быть, Жозеф украсил его венком из лавровых листьев. Напротив висел портрет папы, который весь почти был закрыт конской попоной, повешенной на гвоздь. Тут же на полке лежала пачка антиеврейских брошюр и патриотических песен.

Из любопытства я неожиданно спросила:

– А вы знаете, Жозеф, что в лесу нашли маленькую Клару убитой и изнасилованной?

В первый момент Жозеф сделал какое-то движение от неожиданности – от неожиданности ли? Мне показалось, что при имени маленькой Клары какая-то дрожь пробежала по нему. Но он быстро оправился.

– Да, – сказал он твердым голосом. – Я знаю. Мне сегодня утром в деревне рассказали.

Он совершенно равнодушен и спокоен. Большой черной тряпкой он аккуратно чистит свою сбрую. Я люблюсь могучими мускулами на его руках, белизной его кожи. Из-за опущенных ресниц не видно его глаз, которые прикованы к работе. Но я вижу его рот, весь его

огромный рот, огромную пасть хищного, чувственного животного. И у меня слегка сердце сжимается. Я продолжаю его спрашивать:

– А известно кто это сделал?

Жозеф пожимает плечами. Не то шутя, не то серьезно, он отвечает:

– Бродяги какие-нибудь, негодяи.

После короткого молчания он продолжает:

– Вот увидите, что их не поймают. В магистрате ведь все продажные люди сидят.

Он вешает вычищенную сбрую на место и, указывая на портрет Дрюмона, прибавляет:

– Вот если бы он тут был! А!

Когда я ушла от него, я почувствовала, не знаю почему, какое-то особенное беспокойство.

Эта история даст материал для разговоров; можно будет, наконец, немного развлечься.

Иногда, когда хозяйки нет дома и становится очень скучно, я выхожу на дорогу к калитке, где меня встречает Роза. Она вечно следит и видит все, что у нас происходит, кто приходит и уходит от нас. Она все больше жиреет, толстеет и краснеет. Губы у нее висят, а корсаж не может сдерживать бушующих волн ее груди. Непристойные мысли все более овладевают ею. Она только это и видит, только об этом и думает, только этим и живет. При каждой нашей встрече она первый свой взгляд бросает на мой живот, первое ее слово всегда одно:

– Помните же, что я вам советовала. Как только что-нибудь заметите, сейчас же идите к госпоже Гуэн, сейчас же.

Она помешалась на этом, это стало у нее настоящей манией. С некоторым раздражением в голосе я отвечаю ей:

– Откуда мне это заметить? Ведь я здесь никого не знаю.

– Ах! – восклицает она. – Долго ли до беды. Забылась на минуту. Очень просто и готово. Много я таких, как вы, видела, были уверены, что у них ничего нет, а затем оказывалось. Но с госпожой Гуэн можно быть спокойной. Это настоящее благословение для нашего края – такая умная женщина.

Она воодушевляется, и ее отвратительная, толстая кожа двигается от волнующих ее страстей.

– Раньше, моя дорогая, здесь только детей и встречаешь бывало. Город был переполнен детьми. Одна мерзость! Они кишели на улицах, как куры на птичьем дворе, сколько от них было визгу, шуму! Все было усеяно ими! А теперь, не знаю, обратили ли вы внимание, теперь их не видно стало, их почти больше нет.

С какой-то слюнявой улыбкой на губах она продолжает:

– И это не потому, что девицы меньше шалить стали. Нет, Боже мой. Напротив. Вы никогда по вечерам не выходите, но попробуйте прогуляться в девять часов, под каштанами, вы увидите. Везде на скамейках парочки, обнимаются, целуются. Это очень мило. Мне, знаете ли, любовь очень нравится. Я понимаю, что без любви жить нельзя. Да противно иметь дело с этой детворой. Но их не бывает теперь, их не бывает больше. И все благодаря госпоже Гуэн. Всего каких-нибудь несколько неприятных минут, ведь не целое же море, наконец, придется выпить. На вашем месте я и задумываться не стала бы. Такая красивая девушка, как вы, такая изящная и, наверно, очень красиво сложенная и ребенок, это было бы убийственно.

– Успокойтесь, у меня нет никакого желания иметь ребенка.

– Да. Да, никто этого не хочет. Только... А скажите, Ваш хозяин никогда вам не делал предложение?

– Нет.

– Удивительно. Ведь он известный. А в саду, утром, когда он около вас так близко стоял?

– Уверяю вас...

Роза недоверчиво качает головой.

– Вы ничего не хотите говорить, вы мне не доверяете, это ваше дело. Только шила в мешке не утаишь.

Она выводит меня, наконец, из терпения.

– Послушайте! – крикнула я ей, – вы, должно быть, воображаете, что я готова спать с кем угодно, даже с отвратительными стариками?

Она ответила холодным тоном:

– Э! Моя милая, не задирайте нос, пожалуйста. Другие старики стоят молодых. Это верно, что ваши дела меня не касаются. Ведь я же так и сказала.

В заключение она ядовито замечает, заменив свой мед уксусом:

– Наконец, это вполне возможно. Очевидно, ваш Ланлер предпочитает более зеленые плоды. У каждого свой вкус, моя милая.

По дороге проходят крестьяне и почтительно кланяются Розе:

– Здравствуйте, Роза, как капитан, по-прежнему здоров?

– Благодарю вас, здоров. Вино, поди, попивает.

По дороге проходят горожане и кланяются Розе:

– Здравствуйте, Роза. Как капитан?

– По-прежнему, благодарю, вы очень любезны.

По дороге медленным шагом, наклонив голову, идет священник. Увидев Розу, он останавливается, кланяется, улыбается, закрывая свой требник.

– Это вы, мое дорогое дитя? Как поживает капитан?

– Благодарю вас, батюшка, живем понемногу. Капитан занят чем-то у погреба.

– Очень хорошо. Очень хорошо. Он, надеюсь, красивые цветы посадил, и в будущем году у нас во время крестного хода будут красивые алтари.

– Непременно, батюшка.

– Всего хорошего, мое дитя, привет капитану.

– И вам также, батюшка.

Он открывает свой требник и уходит.

– До свидания, до свидания. Лучших прихожан, чем вы, и желать нельзя.

И я ухожу, немного опечаленная, обескураженная, озлобленная. Я покидаю эту мерзкую, толстую Розу с ее отвратительным счастьем, торжествующей, приветствуемой всеми, почитаемой всеми. Скоро, я уверена, священник водрузит ее в нише своей церкви с двумя восковыми свечами по бокам, разукрасив золотом, как святую.

Глава девятая

25 октября.

Единственный человек, который меня интригует здесь, это Жозеф. Он окружен какой-то тайной, и я не знаю, что происходит в глубине этой молчаливой и неистойвой души. Но я уверена, что в ней происходит что-то необыкновенное. Его упорный взгляд трудно иногда выдерживать, и я отвожу свои глаза. У него какая-то медленная, скользкая походка, которая мне внушает страх. Как будто он волочит за собой колодку на ногах или, вернее, у него воспоминание об этой колодке сохранилось. Что у него там в прошлом было, каторга, монастырь или и то и другое вместе?.. Мне жутко смотреть на его спину и на его толстую могучую шею с крепкими сухожилиями и потемневшую от загара. На затылке у него выступает большой клубок отвердевших мускулов, как у волков и у диких животных, которые таскают в своей пасти тяжелую добычу.

Помимо бешеной ненависти к евреям, которая обнаруживает в Жозефе большую жестокость и кровожадность, он абсолютно равнодушен ко всем другим явлениям жизни. Никак не поймешь, о чем он думает. У него нет ни хвастовства, ни профессиональной лести, по которым узнаешь настоящую прислугу; никогда от него не услышишь ни недовольного слова, ни жалобы на хозяев. Он уважает своих хозяев, но без всякой угодливости, по-видимому, предан им, но не выставляет это на показ. Работа, даже самая отталкивающая, не вызывает в нем неудовольствия. Он смышлен и умеет делать самые разнообразные и трудные вещи, которые даже не относятся к его службе. Приере он считает как бы своим именем, заботится о нем всегда и ревниво охраняет. Как настоящий дог, он выслеживает и прогоняет от дома нищих, бродяг и других назойливых посетителей. Это тип слуги доброго старого времени. О Жозефе в округе говорят: «Такого не сыщешь. Золотой человек!» Я знаю, что его хотят отбить у Ланлеров. Он получает самые выгодные предложения из Лувье, Эльбефа и Руана. Он всем отказывает и делает это без всякого хвастовства. Он уже пятнадцать лет здесь служит и на этот дом смотрит, как на свой собственный. Сколько захотят, столько он и служить будет. Несмотря на всю свою подозрительность, хозяйка ему слепо доверяет. Она верит в его честность, верит в его преданность.

– Золотой человек! Он в огонь и воду пойдет за нас, – говорит она.

И при всей своей скупости она его осыпает мелкими подарками.

Однако я не доверяю этому золотому человеку. Он меня беспокоит и в то же время удивительно интересует. Часто я замечала какое-то страшное выражение в его темных мертвых глазах. С тех пор, как я внимательно рассматриваю его, он не кажется мне таким грубым, глупым и неуклюжим мужиком, каким казался в начале моей службы здесь. Теперь я его нахожу, напротив, тонким и хитрым человеком и даже более... мне это трудно выразить. И, должно быть, в силу привычки, потому что каждый день вижу его, он не кажется мне больше ни противным, ни старым. Привычка смягчает вид, окутывает его какой-то дымкой. Она мало-помалу стирает и затушевывает резкие черты; горбатый при ежедневных встречах по истечении некоторого времени перестает казаться горбатым. Но, кроме того, я в Жозефе открываю много нового... и глубокого, и это меня волнует. Не гармония в чертах лица и не совершенство линий делают мужчину красивым в глазах женщины. Здесь влияет нечто менее ясное, менее определенное... какое-то сродство и, осмелюсь так выразиться, какая-то половая атмосфера, жгучая, страшная или опьяняющая, которая увлекает некоторых женщин помимо их воли. И Жозеф эту атмосферу распространяет вокруг себя. Я однажды залюбовалась, как он поднимал бочку с вином. Он играл ею, как мальчик своим резиновым мячом. Его необыкновенная сила, его ловкость, гибкость, поразительная легкость ног, могу-

чие плечи атлета – все это голову кружит мне. И эта мощная мускулатура и богатырские плечи еще усиливают болезненное любопытство, которое вызвано во мне его загадочной походкой, этими сжатыми губами и выразительным взглядом. Не могу себе объяснить, но я чувствую, что между мною и Жозефом установилось какое-то таинственное общение... какая-то физическая и моральная связь, которая с каждым днем все более крепнет.

Из окна прачечной, где я работаю, я иногда слежу за ним. Он стоит, нагнувшись над работой или на коленях у стены... И вдруг пропал... исчез... Не успеешь повернуть голову, а его и след простыл. Сквозь землю он провалился или сквозь стену прошел? Время от времени случается пойти в сад передать ему поручение от хозяйки. Я его нигде не нахожу и зову:

– Жозеф! Жозеф! Где вы!

Никакого ответа. Я снова кричу:

– Жозеф! Жозеф! Где вы?

Вдруг Жозеф бесшумно появляется из-за дерева или из-за гряды с овощами. Он появляется предо мной, освещенный лучами солнца, со своим суровым угрюмым лицом, со своими гладко причесанными волосами, расстегнутым воротом рубашки и открытой волосатой грудью... Словно с неба свалился...

– Ах, Жозеф, как вы меня напугали!

И на губах и в глазах его мелькает страшная улыбка, светятся быстрые и короткие блики острой стали. Мне кажется тогда, что передо мной стоит сам дьявол...

Убийство Клары служит постоянно предметом для разговоров и вызывает всеобщее любопытство. Местные и парижские газеты, переполненные описанием этого случая, покупаются нарасхват. «Libre Parole» определенно обвиняет всех евреев и утверждает, что это «ритуальное убийство». Власти побывали на месте преступления, проводили следствие, собирали справки, переспросили много народу. Никто ничего не знает... Циркулировало обвинение Розы, но нигде доверия не встретило, все пожимали только плечами. Вчера жандармы арестовали бедного разносчика, но ему легко удалось доказать, что его не было в этих краях в тот момент, когда преступление было совершено. Оправдан был также и отец, на которого указывала молва. Впрочем, о нем все дали самые лучшие отзывы. Нигде никакого указания, которое могло бы навести суд на следы виновника. Это преступление вызывает удивление у властей. По-видимому, оно было совершено с удивительной ловкостью, без сомнения, профессионалами... из Парижа. Видно, что прокурор ведет дело очень вяло, только для формы. Убита маленькая бедная девочка, нечего особенно стараться... Имеются все основания думать, что ничего никогда не найдут и что дело будет прекращено, как и многие другие, тайна которых осталась нераскрытой.

Я не удивилась бы, если бы барыня заявила, что ее муж виновен в преступлении. Это смешно, но, кому же лучше знать, как не ей. После этой новости она какая-то странная стала. Она бросает на барина необыкновенные взгляды. За столом, я заметила, она вздрагивает, когда раздается звонок.

Сегодня после завтрака барин заявил, что хочет уйти. Она его удержала.

– Ладно, можешь дома посидеть. И чего тебе все носиться?

Она даже целый час прогуляла с ним по саду. Понятно, тот ни о чем и не догадывается... Вот простофиля!

Мне захотелось узнать, о чем они говорят, когда бывают одни. Вчера вечером я минут двадцать простояла за дверью, когда они сидели в зале. У барина, я слышала, шуршала газета в руках, барыня за маленьким столиком писала свои счета.

– Сколько я тебе дала вчера? – спросила барыня.

– Два франка, – ответил барин.

– Ты уверен?

– Ну да, моя милая.

- У меня не хватает тридцати восьми су.
- Я не брал.
- Нет... это кошка...

Ни о чем больше они не говорили.

Жозеф не любит, чтобы говорили на кухне о маленькой Кларе. Когда мы с Марианной поднимаем этот вопрос, он тотчас меняет разговор или не принимает в нем участия. Ему скучно становится... Я не знаю почему, но меня все более и более преследует мысль, что Жозеф совершил это убийство. У меня нет никаких доказательств, никаких указаний, которые могли бы дать повод к таким подозрениям... никаких указаний, кроме его глаз, никаких других доказательств, кроме того легкого движения, которое он сделал, как будто от неожиданности, когда я, вернувшись от лавочки, в первый раз внезапно назвала ему имя убитой и изнасилованной маленькой Клары. Однако это подозрение, подсказанное мне исключительно моим чутьем, разрастается и превращается в возможный и затем в действительный факт. Я ошибаюсь, наверное. Я стараюсь убедить себя, что Жозеф «золотой человек». Я повторяю себе, что это плод расстроенного воображения, моей романтической фантазии. Но ничего не помогает. Против моей воли это впечатление остается, не покидает меня ни на одну минуту и преследует, как неотвязная мысль. И у меня является неодолимое желание спросить Жозефа:

– Скажите, Жозеф, это вы изнасиловали маленькую Клару в лесу? Это вы, старая свинья?

Преступление было совершено в субботу... Я вспоминаю, что Жозеф приблизительно в этот день ходил в Районский лес за землей из-под вереска. Его не было целый день. Вернулся он в Приере поздно вечером. В этом я уверена. И – удивительное совпадение – я вспоминаю, что в этот вечер, когда он вернулся, у него были какие-то беспокойные жесты и какие-то тревожные глаза. Тогда я на это не обратила внимания. Сегодня я вспоминаю выражение его лица до мельчайших подробностей... Но в ту ли именно субботу ходил Жозеф в Районский лес? Я никак не могу точно установить день его отсутствия. И затем действительно ли у него были эти беспокойные жесты, эти подозрительные взгляды, которые я ему приписываю и которые его уличают в моих глазах? Не сама ли я стараюсь внушить себе, что у Жозефа были тогда такие странные, непривычные для него жесты и взгляды и что это он – золотой человек – совершил преступление... И мое неумение восстановить эту драму в лесу раздражает меня и еще больше укрепляет в моих подозрениях. Если бы судебное следствие открыло хотя бы свежие следы колес на листьях и на вереске вблизи места преступления... Но нет... следствие ничего подобного не установило, оно устанавливает только факт изнасилования и убийства маленькой девочки, вот и все. И это меня больше всего волнует. В этом ловком убийце, который не оставляет после себя ни малейшего доказательства своего преступления, в этом дьяволе-невидимке я чувствую, я вижу Жозефа... В таком нервном возбуждении я осмеливаюсь после долгого молчания предложить ему вопрос:

– Жозеф, в какой день вы ходили в Районский лес за землей для вереска? Не помните ли?

Не спеша, без малейшего волнения Жозеф опускает свою газету. Его душа теперь уже бронзовым щитом защищена от всяких неожиданностей.

– Зачем вам? – спрашивает он.

– Хочу знать.

Жозеф устремляет на меня свой тяжелый и глубокий взгляд. Затем он без всякой натянутости принимает вид человека, который роется в своей памяти, отыскивая старые воспоминания.

– Право... не припомню, – отвечает он, – пожалуй, что это было в субботу.

– В ту субботу, когда нашли труп маленькой Клары в лесу? – продолжаю я спрашивать с вызывающим видом.

Жозеф не отводит своих глаз от моих. Его взгляд становится таким острым, таким страшным, что, несмотря на всю свою обычную дерзость, я должна отвернуться.

– Пожалуй, и так... – говорит он... – Пожалуй, что это было в ту самую субботу.

И затем прибавляет:

– Вы проклятые бабы! Что бы вам о чем-нибудь другом думать. Почитали бы газету... вот в Алжире опять били евреев. Это, по крайней мере, стоит того...

Взгляд у него спокойный, естественный, почти добродушный. Жесты у него свободные, голос не дрожит. Я умолкаю... Жозеф берет опять газету, которую он положил на стол и удивительно спокойно приступает к чтению.

А я опять погружаюсь в свои думы. Мне хочется вспомнить из жизни Жозефа какой-нибудь факт, который свидетельствовал бы о его жестокости... Его ненависть к евреям, его постоянные угрозы пытать их, убивать, жечь – все это, может быть, только одно хвастовство, к тому же это из области политики. Я ищу более точных и определённых проявлений с его стороны, в которых я могла бы безошибочно обнаружить преступную натуру. Но мне припоминаются только какие-то неопределенные впечатления, предположения, которым мое желание или мое опасение, что они окажутся недействительными, придают несоответствующую им важность и значение.

Но... вот факт... факт действительный, страшный, обличительный... Это не продукт моей изобретательности, моей фантазии. Он на самом деле таков, как он есть. На Жозефе лежала обязанность убивать цыплят, кроликов, уток. Он убивает уток по какому-то старому нормандскому способу, прокалывая им голову булавкой. Он мог бы убивать их одним ударом, не заставляя их мучиться. Но он любит удлинять время их страданий всякими тонкими пытками; он любит чувствовать дрожь, пробегающую по их коже, и биение их сердца в своих руках; своими руками он как бы следит, считает и собирает их мучения, судороги, смерть... Я раз была при том, как Жозеф убил утку. Он держал ее между колен. Одной рукой он обхватил ее шею, а другой всадил ей в голову булавку и каким-то медленным, рассчитанным движением долго поворачивал эту булавку в голове. Как будто он кофе перемалывал... И, поворачивая булавку, Жозеф с какой-то дикой радостью приговаривал:

– Пусть помучается. Чем больше мучается, тем вкуснее кровь бывает...

Птица высвободила из колен Жозефа свои крылья и долго била ими... Ее шея делала невероятные изгибы в его руках... и под перьями скрючивалась ее кожа... Тогда Жозеф бросил утку на пол и, опершись локтями на свои колени и обняв ладонями подбородок, с каким-то отвратительным наслаждением в глазах стал следить, как птица подпрыгивала, билась в предсмертной агонии и безумно царапала пол своими желтыми лапами.

– Довольно, Жозеф, – закричала я. – Убейте ее сейчас же, ведь это ужасно так мучить животных.

– Это забавно, – ответил Жозеф. – Я люблю это...

Я вспоминаю тот случай, я вызываю в своей памяти все ужасные подробности, я слышу все слова, которые сказаны были при этом. И у меня является желание... страстное желание крикнуть Жозефу:

– Это вы изнасиловали маленькую Клару в лесу... Да... да... я в этом уверена теперь... это вы, вы, вы, старый кабан!

Нечего больше сомневаться. Жозеф, должно быть, страшный преступник. Но вопреки этому убеждению я не чувствую ни страха, ни неприязни к нему, я его, может быть, еще не люблю, но в высшей степени заинтересована им. Странно, у меня всегда была какая-то слабость к преступникам. В них есть что-то неожиданное, волнующее вашу кровь... какой-то особенный запах, который вас опьяняет, что-то острое и жгучее, воспаляющее

вашу страсть. Худшие преступники никогда не бывают так ужасны, как честные люди. Мне досадно, что у Жозефа репутация и манеры честного человека. Мне он больше бы нравился, если бы был откровенным, нахальным преступником. Но тогда у него не было бы этого ореола тайны, этой заманчивой неизвестности, которая меня волнует, смущает и влечет – да – влечет к этому старому чудовищу.

Теперь я более спокойна, потому что уверена и потому что никто не может меня лишить этой уверенности, что это он изнасиловал маленькую Клару в лесу.

С некоторого времени я замечаю, что Жозеф равнодушен ко мне. Его нерасположение ко мне исчезло. В его молчании я не вижу больше ни вражды, ни презрения, в его упреках звучит какое-то нежное чувство. В его взглядах я не замечаю ненависти, и если они бывают иногда страшными, то это происходит от его желания лучше меня узнать, проверить. Как большинство крестьян, он крайне недоверчив, избегает раскрывать свою душу перед другим, боится, что его «проведут». У него, должно быть, много тайн, но он их ревниво оберегает под маской суровости и жесткости, как хранят драгоценности в железных сундуках с крепкими обручами и потайными замками. Однако по отношению ко мне его скрытность ослабевает. В своем роде он великолепно обращается со мной. Врем, чем только может, он старается подчеркнуть свое расположение и понравиться мне. Самую трудную и неприятную мою работу он делает за меня, и притом без всякой задней мысли и не ожидая благодарности. Я со своей стороны поддерживаю порядок в его вещах, штопаю ему носки, починая штаны, рубашки и укладываю все это в его шкаф с большей заботливостью и большим вкусом, чем я это делаю для хозяйки. Он бывает очень доволен и говорит в таких случаях:

– Очень хорошо, Селестина. Вы добрая женщина и любите порядок. Порядок, знаете ли, лучше богатства. А если к тому да еще милая и красивая, то лучше и не нужно.

До сих пор мы только случайно говорили с ним наедине. По вечерам на кухне разговор из-за Марианны мог быть только общий. Никакими интимными словами мы обмениваться с ним не могли. А наедине с ним нет ничего труднее, как вызвать его на разговор. Он уклоняется от длинных бесед, очевидно боится скомпрометировать себя. Два слова о том, два слова о другом, любезно или грубо... и все... Но его глаза говорят за него.

Впервые мы с ним наедине долго поговорили только вчера вечером. Господа уже спали, а Марианна раньше обыкновенного ушла в свою комнату. Я не была расположена ни читать, ни писать, и мне было скучно одной. Постоянно преследуемая образом маленькой Клары, я пошла к Жозефу, в сарай. Он сидел там за маленьким деревянным столиком и при свете фонаря перебирал семена. Его друг пономарь стоял рядом с ним и держал под мышкой две пачки брошюр, красных, зеленых, голубых, трехцветных. Своими большими, круглыми и выпуклыми глазами, плоским черепом и изношенной желтоватой морщинистой кожей он был похож на жабу. Так же неповоротлив и так же подпрыгивал, как жаба. Под столом лежали две собаки, свернувшись в клубок и спрятав голову в своей шерсти.

– Это вы, Селестина! – сказал Жозеф.

Пономарь хотел спрятать брошюры. Жозеф его успокоил:

– При ней можно говорить. Это надежная женщина.

И он продолжал:

– Так-то, старина, понял?.. В Базош... в Куртен... в Флер-сюр-Тиль... И чтобы это завтра же, за день было все роздано... И старайся приобрести абонентов... И еще раз скажу тебе... побывай везде... заходи во все дома... даже к республиканцам... Тебе, может быть, достанется от них? Ничего, крепись. Хоть одну грязную свинью приобретешь, и то хорошо. И помни: за каждого республиканца ты получаешь пять франков...

Пономарь покачивал головой в знак согласия. Наконец, он ушел с брошюрами под мышкой. Жозеф проводил его до калитки.

Заметив мое любопытство, Жозеф стал мне объяснять:

– Да, – говорил он небрежно. – Песни, портреты, брошюры против евреев... Это раздают для пропаганды. Я устроился с попами, на них работаю. Что же! Я и сам за это стою... нужно сказать, что и платят хорошо.

Он опять сел за маленький столик, за которым перебирал семена. Разбуженные собаки отошли от стола и легли подальше.

– Да... да... – повторял он. – Недурно платят... То-то денег поди много у попов...

И как бы боясь, не сказал ли он лишнего, прибавил:

– Я вам это сказал, Селестина, потому что вы хорошая женщина, надежная женщина... и я вам доверяю... Это останется между нами?

После некоторого молчания он добавил:

– Вот хорошо придумали, что пришли сюда сегодня. Это очень мило, очень мило с вашей стороны.

Я его никогда не видела таким любезным, таким разговорчивым. Я наклонилась над столиком совсем близко около него и, откладывая в тарелку отобранные семена, ответила с кокетством:

– Еще бы, вы сегодня уехали сейчас же после обеда. И словом некогда было перемолвиться. Хотите, я вам помогу семена перебирать?

– Благодарю, Селестина. Уже готово.

Он почесал себе голову:

– Черт поberi! – сказал он с досадой. – Нужно бы пойти посмотреть парники. Эти проклятые мыши у меня весь салат пожрут. А, нет, право, нужно с вами поговорить, Селестина.

Жозеф встал, закрыл дверь и увел меня в глубину сарая. В первый момент мне стало жутко. Маленькая Клара, про которую я забыла, вдруг предстала пред моими глазами, страшно бледная и окровавленная. Но взгляд Жозефа не был злой, он скорее казался робким. При этом неприятном, мрачном освещении фонаря мы едва видели друг друга. До сих пор голос у Жозефа был какой-то дрожащий. Но теперь он стал более уверенным, почти твердым.

– Я уже вот несколько дней хочу с вами откровенно поговорить, Селестина, – начал он. – Вот, видите ли. У меня к вам дружеское чувство. Вы хорошая женщина, надежная женщина. Теперь-то я вас хорошо знаю!

Я сочла нужным лукаво и мило вместе с тем улыбнуться:

– У вас на это немало времени ушло, согласитесь, – прервала я его. – И почему вы были такой неприветливый со мной? Никогда вы со мной не разговаривали, всегда неприятности делали. Вспомните, какую вы мне сцену устроили, когда я проходила по аллее, которую вы только что вычистили? О, бука!

Жозеф рассмеялся и пожал плечами.

– Да, конечно. С первого раза человека не узнаешь. Да еще женщину, черт ее узнает. А вы еще из Парижа приехали! Теперь-то я вас хорошо знаю.

– Если вы меня хорошо знаете, Жозеф, то скажите, что я такое.

Процеживая слова сквозь зубы, он серьезно произнес:

– Что вы такое, Селестина? Вы такая же, как я.

– Я такая же, как вы, я?

– О! Не лицом, конечно. Но душа, даже тонкие изгибы души у нас одинаковые. Да, да, я знаю, что я говорю.

После короткого молчания он опять начал менее твердым голосом:

– У меня к вам дружеское чувство, Селестина. И затем...

– И затем?

– У меня есть деньги, немного денег.

– А?

– Да, немного денег. Недаром служишь сорок лет в богатых домах, что-нибудь и накопишь. Не так ли?

– Конечно, – ответила я, все более и более удивляясь словам и манерам Жозефа. – И много у вас денег?

– О! Немного, только...

– Сколько? Покажите-ка!

Жозеф слегка усмехнулся:

– Вы, конечно, понимаете, что их здесь нет. Они лежат в таком месте, где они детей выводят.

– Да, но сколько?

Понизив голос, почти шепотом он ответил:

– Может быть, пятнадцать тысяч, может быть, больше.

– Ваши дела в порядке!

– Может быть, и меньше, как знать.

Вдруг собаки одновременно подняли головы, бросились к двери и залаяли. Я испугалась.

– Это ничего, – успокоил меня Жозеф, дав каждой собаке по пинку ногой. – Это народ проходит по дороге. Вот, слышите, Роза домой возвращается. Я ее по шагам узнаю.

Действительно, через несколько секунд я услышала шум шагов на дороге и затем вдали стук захлопнувшейся калитки. Собаки замолкли.

Я сидела на скамье в углу сарая, Жозеф, спрятав руки в карманы, прохаживался по узкой комнате, задевая локтями сосновые доски и сбрюю. Мы молчали. Я была страшно смущена и сожалела, что пришла. Жозефа, очевидно, мучило то, что он еще хотел мне сказать. Через несколько минут он, наконец, решился:

– Мне нужно еще одну вещь вам сказать, Селестина. Я родом из Шербурга. Это шумный город, много моряков, солдат, все не дураки покутить, Торговый город. И вот теперь как раз в Шербурге очень подходящее дело подвернулось. Это небольшое кафе, на великолепном месте, недалеко от порта. Солдаты теперь много пьют, патриоты все на улице, кричат, горло дерут, пьют. Время как раз подходящее. Тысячи можно зарабатывать, ручаюсь вам. Только вот! Туда нужно женщину, женщину, которая порядок знает, хорошенькую, хорошо одетую, и которая шуток не боялась бы. Моряки, солдаты – это все насмешники, забавники, добрые малые, любят выпить, любят женщин и много денег на них тратят. Что вы на это скажете, Селестина?

– Я? – воскликнула я, как бы не понимая.

– Да, к примеру только? Нравится это вам?

– Мне?

Я не знала, чего он собственно хочет. Я терялась в догадках. От волнения ничего не могла ответить. Он настаивал:

– Конечно, вы. Кому же еще, по-вашему, быть в этом кафе? Вы хорошая женщина, знаете порядок, вы не из тех жеманниц, которые и шуточки вынести не могут, вы патриотка, наконец! И потом, вы хорошенькая, миленькая, ваши глаза могут вскружить голову всему шербургскому гарнизону. Хорошее дело было бы, что и говорить! С тех пор, как я вас узнал, с тех пор, как я узнал, на что вы способны, эта мысль у меня из головы не выходит.

– Ну а вы?

– Я также, конечно! При большой дружбе можно и пожениться.

– Значит, вы хотите, – воскликнула я оскорбленным тоном, – вы хотите, чтобы я сделалась проституткой и зарабатывала вам деньги?

Жозеф пожал плечами и спокойно сказал:

– По-хорошему, честь-честью, Селестина! Это само собой разумеется.

Затем он подошел ко мне, взял меня за руки, стиснув их так сильно, что я чуть не взвыла от боли, и прошептал:

– Вы стали моей мечтой, Селестина, я мечтаю, как вы будете жить в этом кафе. Вы мне голову вскружили.

Я стояла без движения, без слов, смущенная этим неожиданным признанием. Он продолжал:

– Затем, там должно быть теперь больше пятнадцати тысяч франков, может быть, даже больше восемнадцати тысяч. Как знать, сколько тамросло этих денег. И много вещей, драгоценностей. Вы счастливо зажили бы в этом кафе.

Он держал мою талию своими могучими руками, и я чувствовала, как его тело трепетало от страсти ко мне. Если бы он захотел, он овладел бы мною без малейшей попытки к сопротивлению с моей стороны. Но он продолжал описывать свою мечту:

– Небольшое кафе, очень красивое, очень чистое, светлое, а за кассой, у большого зеркала, красивая женщина, одетая по-эльзасски, в красивый бархатный корсаж с большими шелковыми лентами. Ну, Селестина? Подумайте об этом. Мы еще поговорим на этих днях, мы еще поговорим об этом.

Я ничего не могла сказать ему, ни одного слова! Я была поражена, потому что никогда об этом не думала, но у меня не было ни страха, ни ненависти к этому циничному человеку. Теми самыми устами, которыми он целовал кровавые раны маленькой Клары, обнимая меня теми же руками, которыми он обнимал, душил и убивал маленькую Клару в лесу, Жозеф повторял:

– Мы поговорим, я стар, некрасив, это возможно. Но запомните, Селестина, не найдется такого человека, который мог бы устроить женщину так, как я. Мы поговорим об этом.

Сегодня Жозеф по обыкновению молчалив. Можно было бы сказать, что между нами вчера ничего не произошло. Он приходит, уходит, работает, ест, читает свою газету, как и всегда. Я смотрю на него, и мне хотелось бы, чтобы его безобразие вызвало во мне сильнейшее отвращение и оттолкнуло меня от него навсегда. Но нет. Ах, как это странно! У меня дрожь пробегает по коже при виде этого человека, но я не питаю к нему отвращения. И как это ужасно, что он не вызывает у меня отвращения. Ведь это тот самый человек, который убил и изнасиловал маленькую Клару в лесу!

Глава десятая

Ничто не доставляет мне такого удовольствия, как натолкнуться в газетах на имя человека, у которого я служила. Это удовольствие я ощутила живее, чем когда бы то ни было, сегодня утром, прочитавши в «Petit Journal», что Виктор Шариго только что выпустил в свет новую книгу, имеющую большой успех и вызывающую всеобщий восторг. Она озаглавлена «От пяти до семи». Эта книга, говорится в статье, есть целый ряд блестящих сатирических очерков из светской жизни, которые под своей внешней легкостью скрывают глубокую философию. В этой же статье говорится не только о таланте Виктора Шариго, но также о его изяществе, изысканных знакомствах и о салоне. Кстати, о его салоне! В продолжении восьми месяцев я служила у Шариго и, мне кажется, никогда не встречала подобных типов. А насмотрелась я их достаточно! Все знают по имени Виктора Шариго. Он уже написал целый ряд книг, имевших шумный успех. «Их подвязки», «Как они спят», «Колибри и Попугай» – наиболее известны. Это человек бесконечно умный, писатель с громадным талантом, все несчастье которого заключалось в том, что к нему слишком скоро пришел успех вместе с богатством. В начале своей деятельности он подавал самые блестящие надежды. Все были поражены его огромной наблюдательностью, его могущественным сатирическим даром, его неумолимой и справедливой иронией, которая видела так глубоко смешное в человеке. Свободный и образованный ум, для которого все светские условности были ложью и рабством, великодушная и чуткая душа, которая вместо того, чтобы подчиняться унижительным предубеждениям, стремилась смело к возвышенному и чистому социальному идеалу. Так по крайней мере отзывался о Викторе Шариго один из его друзей – художник, который увлекался мной и у которого я иногда бывала. От него я и слышала вышеупомянутые суждения и подробности о жизни и писательской деятельности этого знаменитого человека.

Среди всех смешных сторон светской жизни, которые Виктор Шариго бичевал так жестоко, он чаще и сильнее всего осмеивал снобизм. В своих интересных и богатых фактами и наблюдениями разговорах еще больше, чем в своих произведениях, он обрисовывал нравственную низость, убожество снобизма в образных и метких выражениях, свойственных его широкой и суровой философии; глубокие и сильные, как бы отточенные, слова, подхваченные одними, распространяемые другими, повторялись во всех концах Парижа и очень скоро становились в некотором роде классическими. Можно было бы составить целую удивительную психологию снобизма из тех впечатлений, черточек, резких профилей, причудливо нарисованных живых силуэтов, которые его оригинальный талант постоянно воспроизводил вновь, никогда не уставая. Казалось бы, что если кто-нибудь должен был избежать этого рода моральной инфлуэнцы, так жестоко свирепствующей в салонах, – так это именно Виктор Шариго, лучше чем кто-либо предохраненный от заразы этим прекрасным антисептическим средством – иронией. Но душа человека вся состоит из неожиданностей, противоречий, нелогичностей и безумия.

Как только он испытал первые ласки успеха, сноб, который всегда жил в нем, – вот почему он его описывал с такой силой и выразительностью, – проснулся и дал яркую вспышку, как снаряд, получивший электрический толчок. Он начал покидать старых друзей, которые стали для него лишними и стесняющими, и поддерживал связи с теми, которые повсюду были приняты благодаря своему таланту, или с такими, которые благодаря своему положению в прессе могли быть ему полезны и поддерживать своими постоянными похвалами его молодую репутацию. В то же самое время он стал усиленно заниматься туалетами. Его сюртуки были необыкновенно смелого покроя, воротники и галстуки – стиля 1830 года, сильно преувеличенного, бархатные жилетки – с чересчур причудливыми, неотразимыми изгибами, брильянты – слишком блестящи, и из металлических портсигаров, украшенных

слишком драгоценными камнями, он вынимал папироски, завернутые в золотые бумажки. Но со своей неуклюжей фигурой, неловкими жестами, грубыми и вульгарными движениями, он сохранил, несмотря на все, тяжеловесный вид овернских крестьян – своих земляков. Новичок в так скоро свалившейся на него роскоши, он чувствовал себя в ней не на месте; напрасно он изучал и себя, и наиболее совершенные образцы парижского шика! Ему не удалось достигнуть той непринужденности, того мягкого, гибкого, тонкого изящества в движениях, которые он видел – и с каким сильным чувством зависти – у светской молодежи клубов, скачек, театров и ресторанов. Он удивлялся, потому что ведь одевался он у самых лучших портных, рубашки у него были из самых известных магазинов, а ботинки, ботинки какие он носил!.. Оглядывая себя в зеркале, он приходил в отчаяние от своей наружности. «Напрасно я одеваюсь в шелка и бархат! – говорил он. Все это имеет на мне какой-то неестественный вид». Что касается мадам Шариго, то она, одевавшаяся раньше очень просто и со вкусом, тоже в свою очередь совершенно изменилась в этом отношении. Она начала носить блестящие, кричащие туалеты. Волосы свои выкрасила в слишком рыжий цвет; ее брильянты были чересчур велики – и вся она имела величественный вид королевы, которую прачки выбирают из своей среды каждый год во вторник на масленице, над ними много смеялись, и подчас жестоко. Товарищи, завидовавшие его роскоши и радовавшиеся поэтому его дурному вкусу, мстили ему, насмехаясь над этим бедным Виктором Шариго. Как сатирику ему положительно не везет, говорили они.

Благодаря удачным хлопотам, непрерывным дипломатическим и пошлым уловкам они были приняты в настоящем свете, как они это называли: у еврейских банкиров, у венесуэльских князей, у странствующих герцогов и у очень старых дам, которые бредили литературой, романами и академией. Они думали только о том, чтобы поддерживать и развивать эти новые отношения, завязывать другие знакомства, менее доступные и еще более желанные, и все искали еще и еще новых знакомств.

Однажды, желая отказаться от неудачно принятого им приглашения побывать у одного из своих прежних скромных друзей, которого он хотел еще сохранить, Шариго написал ему следующее письмо:

«Мой дорогой старый друг! Мы в отчаянии. Прости, что не можем сдержать слова быть у тебя в понедельник. Но мы только что получили приглашение на обед от Ротшильдов, и именно на понедельник. Это приглашение – первое. Ты понимаешь, что мы не можем отказаться, это было бы для нас разорением. К счастью, я знаю твое сердце и знаю, что ты на нас не обидишься, а, напротив, поделишь с нами наше счастье и гордость». В другой раз он рассказывал о покупке виллы, которую он только что приобрел в Довилле: «Я не знаю в самом деле, за кого эти люди нас приняли там! Они нас приняли сначала, должно быть, за журналистов, за богему! Но я им дал понять, что у меня есть свой нотариус!..»

Постепенно он прекратил сношения со всеми оставшимися у него еще друзьями молодости, друзьями, одно присутствие которых у него в доме было постоянным и неприятным напоминанием о прошлом, признанием его недавно еще невысокого общественного положения, которое было связано с литературой и трудом. И он старался также потушить пламя, которое иногда загоралось в его мозгу, и задушить окончательно эти проклятые мысли, присутствие которых он в некоторые дни с ужасом чувствовал, а ведь он думал, что они в нем умерли навсегда! Потом ему стало мало того, что он бывал у других; ему захотелось этих других в свою очередь принимать у себя. Освящение маленького отеля, который он только что купил в Отейле, могло быть подходящим предлогом для званого обеда.

Я поступила в дом в то время, когда Шариго решили, что они дадут его наконец этот обед. Не один из интимных, веселых и непринужденных обедов, которые они имели обыкновенно раньше и которые делали их дом в продолжении нескольких лет таким очаровательным, но настоящий светский, торжественный обед, холодный и натянутый, обед

«избранных», где наряду с несколькими корректными знаменитостями искусства и литературы были бы торжественно приглашены и несколько светских гостей, не очень строгих и чопорных, но достаточно представительных для того, чтобы немного их блеска падало и на хозяев. «Потому что самое трудное, – говорил Виктор Шариго, – это не обедать у других, а давать обед у себя».

Долго раздумывая над этим проектом, Виктор Шариго предложил:

– Итак, вот что! Я думаю, что вначале мы можем рассчитывать иметь у себя на обеде только разведенных жен... с их любовниками. Надо же начинать с чего-нибудь! Есть между ними некоторые очень приличные и о которых самые католические газеты говорят с восторгом. Позже, когда наши знакомства станут более обширными и более избранными, мы их выбросим, этих разводок!

– Это справедливо, – одобрила m-me Шариго. – В настоящий момент нам важно иметь все, что есть лучшего между разведенными. Что ни говори, а развод – это тоже положение.

– Он имеет по крайней мере ту заслугу, что уничтожает адюльтер, – насмешливо сказал Шариго. – Адюльтер – это такая старая игра... Только приятель Бурже верит еще в адюльтер – христианский адюльтер – и английскую мебель...

На что мадемуазель Шариго возразила тоном нервного раздражения: «Как ты несносен со своими злыми остротами. Ты увидишь... ты увидишь, что у нас никогда не будет настоящего салона только из-за тебя». И она прибавила: «Если ты действительно хочешь сделаться светским человеком, то должен или поглупеть, или научиться молчать».

Написали, переделали и переписали список приглашенных, который после различных комбинаций определился следующим образом.

Графиня Ферпоз, разведенная, и ее друг, экономист и депутат Жозеф Бригарь.

Баронесса Анри Гохштейн, разведенная, и ее друг, поэт Тео Крампт.

Баронесса Отто Буцинген и ее друг виконт Лаирэ, посетитель клубов, спортсмен, игрок и шулер.

Мадемуазель де Рамбур, разведенная, и ее подруга мадемуазель Тирселэ, намеревающаяся развестись.

Сэр Гарри Кимберлей, музыкант-символист, страстный педераст, и его молодой друг Люсьен Сартори, прекрасный, как женщина, гибкий и эластичный, как шведская перчатка, тоненький и белокурый.

Два академика – Жозеф Дюлон, отчаянный нумизмат, и Исидор Дюран, любезный составитель мемуаров у себя дома и строгий знаток китайского языка в Институте.

Портретист Жак Риго.

Романист-психолог Морис Фернанкур.

Светский хроникер Пуль д'Эсуа.

Приглашения были посланы и благодаря деятельным хлопотам приняты все. Только графиня Фергюз колебалась.

– Шариго? – сказала она. – Действительно ли это приличный дом? Не тот ли это Шариго, который в былые времена испробовал все роды занятий на Монмартре? Не про него ли рассказывают, что он продавал неприличные фотографии, для которых он сам позировал? А про его жену разве не рассказывают неприличные истории? Ведь у нее были довольно вульгарные приключения до замужества! Разве не про нее говорят, что она была натурщицей и что позировала она во весь рост. Какой ужас! Женщина, стоящая совсем голая перед мужчинами, которые даже не были ее любовниками!

Наконец, она приняла приглашение, когда ее уверили, что мадемуазель Шариго позировала только для головы, и что Шариго был бы способен в отместку за ее отказ выставить ее в неприличном свете в одном из своих произведений, и что, наконец, Кимберлей будет на этом обеде.

О, если Кимберлей обещал быть... Кимберлей, такой «настоящий джентльмен» и такой изящный, деликатный, очаровательный!

Шариго узнали об этих переговорах и сомнениях. Далекие от того, чтобы обидеться, они были довольны, что переговоры велись искусно, а сомнения были побеждены.

– Теперь нужно только быть настороже и вести себя, как настоящие светские люди, – так говорила мадемуазель Шариго. – Этот обед, столь прекрасно подготовленный и ловко устроенный, являлся в действительности их первым выступлением на новом поприще светской жизни, венцом их светского честолюбия. И было необходимо, чтобы он удался!

За неделю до обеда все в доме было перевернуто вверх дном. Следовало многое обновить в нем, но чтобы это вместе с тем не бросалось в глаза.

Проводили репетицию освещения и убранства стола для того, чтобы не быть занятыми этим в последнюю минуту. Господин и мадемуазель Шариго ругались, как извозчики, потому что они коренным образом расходились в своих эстетических вкусах: она склонялась к сентиментальному, он же хотел, чтобы все было устроено со строгим артистическим вкусом. «Это по-идиотски, – кричал Шариго, – они будут себя чувствовать, как в квартире какой-нибудь гризетки... Ах, как они будут хохотать над нами». – «Я тебе советую помолчать, – возражала Шариго, нервное раздражение которой достигло наивысшей степени, – ты остался прежним прощельгой, грязным посетителем пивных. И, наконец, с меня довольно, я не желаю больше терпеть». – «И прекрасно! Разведемся, моя милая кошечка, разведемся! Таким образом мы по крайней мере завершим серию и не будем выделяться между нашими гостями».

Увидели, что не хватает серебра, мало также посуды и хрустала. Они должны были «зять все это напрокат, равно как и стулья, которых у них было только пятнадцать, да и то разрозненных. Наконец, меню было заказано одному из лучших рестораторов.

– Чтобы все было ультра-шик, – поясняла Шариго, – и главное, чтобы ничего нельзя было узнать из того, что будет подаваться. Раки, нарезанные ломтиками, котлеты из гусиной печенки; трюфели взбиты, а пюре расположены в виде веток... вишни четырехугольные, а персики зигзагами, одним словом, все самое шикарное!

– Будьте спокойны, – уверял ресторатор. – Я так умею изменять вид блюд, что многие не отдадут себе отчета в том, что они едят. Это специальность нашей фирмы.

Наконец великий день настал.

Шариго встал рано, беспокойный, нервный, взволнованный. Мадам Шариго, которая не спала всю ночь, утомленная беготней накануне и различными приготовлениями, не могла усидеть на месте. Пять или шесть раз, взволнованная, запыхавшаяся, с нахмуренным лбом, страшно усталая, она производила последний осмотр дома, расставляла и переставляла без всякого смысла мебель и безделушки, шла из одной комнаты в другую, сама не зная зачем, как сумасшедшая. Она боялась, что повара не придут, что поставщик цветов не сдержит слова и что гости за столом не разместятся согласно строгому этикету. Ее муж следовал за ней повсюду в одном нижнем белье из розового шелка, одобряя одно, критикуя другое.

– Я все думаю, – говорил он, – что это была у тебя за странная идея заказать васильки для украшения стола. Я тебя уверяю, что при свете их синий цвет кажется черным. И потом ведь это же простые васильки! Будет похоже на то, что мы собирали эти васильки во ржи.

– Ах, как ты возмутителен!

– Ну да! И о васильках Кимберлей сказал на днях на вечере у Ротшильдов, что это не светский цветок. И почему же ты уже кстати не украсила стол и маком?

– Оставь меня в покое, – отвечала мадемуазель, – я теряю голову из-за твоих глупых замечаний. И это как раз подходящий момент, действительно!

Но Шариго упорствовал.

– Хорошо, хорошо... ты увидишь, увидишь... Лишь бы только, боже мой, все обошлось без особых помех и неприятностей. Я не знал, что быть светскими людьми – такая трудная, утомительная и сложная вещь. Может быть, мы бы лучше сделали, если бы остались простыми смертными, как прежде.

На это m-me прошипела:

– Я вижу, что ничто тебя не меняет... Ты совсем не считаешься со мной.

Так как они находили меня красивой и очень приличной на вид, то возложили на меня тоже очень важную роль в этой комедии. Я должна была сначала распорядиться в гардеробной, а потом помогать или, вернее, руководить действиями четырех метрдотелей, четырех громадных верзил с огромными бакенбардами, набранных в нескольких специальных конторах, чтобы прислуживать за этим необыкновенным обедом.

Сначала все шло хорошо. Была только одна тревога: в три четверти девятого графини Фергюз еще не было. Что если она раздумала и решила в последнюю минуту не приезжать? Какое унижение, какое несчастье! У Шариго были очень печальные физиономии. Жозеф Бригар их успокаивал. Это был день, в который графиня председательствовала на заседании благотворительного общества «Обрезков сигар для сухопутных и морских армий». Заседание кончалось иногда очень поздно.

– Какая очаровательная женщина! – восторгалась мадемуазель Шариго, как будто бы эта похвала имела магическую силу ускорить приход этой «мерзкой графини», которую она в глубине своей души проклинала.

– И какая голова, – подхватил Шариго, движимый тем же чувством. – На днях у Ротшильдов я подумал, что только в истекшем столетии можно было найти такую редкую грацию, такой возвышенный ум.

– И еще вот что, – продолжал Жозеф Бригар, – мой дорогой господин Шариго, в демократических обществах, где существует равенство... – И он начал было одну из тех полусветских, полунаучных социологических речей, которые он любил произносить в салонах. В эту минуту вошла графиня Фергюз, импозантная и величественная в черном туалете, вышитом стальным стеклярусом, очень выгодно выделявшем белизну и мягкую красоту ее полных плеч. И под шепот восхищения, вызванный ее появлением, все церемонно вошли в столовую. Начало обеда было довольно холодное. Несмотря на свой успех или, может быть, именно благодаря ему графиня Фергюз держала себя немного высокомерно или, во всяком случае, очень сдержанно. Казалось, она хотела показать, что снизошла до того, чтобы почтить своим присутствием скромный дом этих «маленьких людей». Шариго показалось, что она рассматривала со скрытой, но явно презрительной миной серебро, взятое напрокат, убранство стола, зеленый туалет мадемуазель Шариго, четырех метрдотелей, слишком длинные бакенбарды которых попадали в блюда. Его охватили смутный страх и мучительное сомнение насчет убранства стола и туалета его жены. Это была ужасная минута.

После нескольких банальных и тягостных реплик по поводу незначительных текущих интересов разговор мало-помалу стал общим и остановился, наконец, на том, что должно считать корректным в светской жизни.

Все эти ничтожные мужчины и женщины, забывая о фальши своего собственного общественного положения, являлись неумолимо строгими по отношению к тем людям, у которых не то чтобы можно было заподозрить какой-либо порок, а которые просто не хотели подчиняться светским законам, единственным, которым должно повиноваться. Живя в некотором роде вне своего общественного идеала, отброшенные, так сказать, за границу этой жизни, в которой они почитали, как религию, потерянное ими общественное положение, они думали, без сомнения, войти в нее опять, изгоняя оттуда других. Это было в самом деле достойно смеха. Весь мир они разделяли на две большие части: на одной стороне все, что корректно и допустимо, на другой – все противоположное этому; здесь – люди, которых

можно принимать, там – такие, которых нельзя принимать. И эти две большие части становились скоро кусочками, маленькими ломтиками, которые в свою очередь разделялись до бесконечности. Были такие, у которых можно было бывать только на обедах, и опять другие, у которых дозволялось бывать только на вечерах; некоторых можно было принимать у себя за столом, другим же только дозволялось посещение своего салона, и то при строго определенных условиях. Были также такие, у которых нельзя было ни обедать, ни принимать их у себя; некоторых допускалось приглашать только к завтраку, но никогда к обеду; у иных можно было обедать на даче, но не в Париже, и т. д., и т. д. Все это подтверждалось известными именами.

– Оттенок, – говорил виконт Лаирэ, посетитель клубов, спортсмен, игрок и шулер, – это все. Только строго соблюдая все тончайшие оттенки в отношениях, можно стать настоящим светским человеком.

Никогда, кажется, мне не приходилось слышать таких скучных речей; слушая их, я проникалась искренним сожалением к этим людям.

Шариго не ел, не пил, не разговаривал. Хотя он не принимал никакого участия в разговоре, но все-таки чувствовал, как эта бесконечная пошлость и глупость давят ему мозг.

С лихорадочным нетерпением, очень бледный, он наблюдал за порядком за столом, стараясь уловить на лицах своих гостей впечатления, благоприятные для него или иронические, и все более ускоряющимся движением он вертел меж пальцами большие хлебные шарики, несмотря на укоризненные знаки своей жены. На обращенные к нему вопросы он отвечал испуганным и рассеянным тоном: «Конечно, ну да, конечно»...

Против него, туго стянутая и неподвижная в своем зеленом платье, на котором сверкал фосфорическим блеском зеленовато-стальной стеклярус, с эгреткой из красных перьев в волосах, госпожа Шариго наклонялась направо и налево и улыбалась, не произнося ни одного слова, неподвижной улыбкой, которая казалась застывшей на ее губах.

– Какая гусыня! – говорил себе Шариго, – какая глупая и смешная женщина! И какой туалет она надела на себя! Из-за нее мы завтра же сделаемся посмешищем всего Парижа.

Госпожа Шариго, со своей стороны, тая мысли под неподвижной улыбкой, думала:

– Какой он идиот, этот Виктор! И как он себя скверно держит! Достанется нам завтра из-за его хлебных шариков.

Истоцивши спор о светских приличиях, начали после краткого отступления на любовные темы говорить о древностях и редкостях. В таких разговорах всегда одерживал верх молодой Люсьен Сартори, владевший сам прелестными вещами. У него была репутация очень знающего и удачного собирателя редкостей; его коллекции славились.

– Но где вы находите все эти чудеса? – спросила m-me де Реамбюр.

– В Версале, – отвечал Сартори, – у вдов поэтов и сентиментальных канонис. Трудно себе представить, сколько сокровищ скрыто у этих старых дам.

Мадемуазель де Рамбюр продолжала настаивать:

– А что вы делаете для того, чтобы заставить их продавать вам эти вещи?

Циничный и красивый, выгибая свой стройный стан, он отвечал, видимо, желая удивить общество: «Я за ними ухаживаю, а потом я отдаю их противоестественным наклонностям».

Сначала ужаснулись смелости темы, но так как Сартори все прощалось, то предпочли все превратить в шутку.

– Что вы называете противоестественными наклонностями? – спросила насмешливым тоном и, видимо, желая пошалить, баронесса Гохштейн, очень любившая скабрзные разговоры.

Но тут, поймав взгляд Кимберлея, Люсьен Сартори вдруг замолчал.

Тогда Морис Фернанкур, наклонившись к баронессе, сказал серьезным тоном: «Это зависит от того, на какой стороне Сартори помещает естественное».

Все лица снова озарились весельем...

Ободренная этим успехом, госпожа Шариго, обращаясь непосредственно к Сартори, протестовавшему с очаровательной миной, спросила очень громко: «Значит, это правда? Вы действительно этим занимаетесь?»

Ее слова произвели на всех впечатление холодного душа. Графиня Фергюз стала усиленно обмахиваться веером. Все переглядывались, смущенные и шокированные, но вместе с тем всем неудержимо хотелось смеяться. Опершись обеими руками на стол, с сжатыми губами, еще более побледневший и с крупными каплями пота на лбу, Шариго катал хлебные шарики и комично вращал глазами. Не знаю, что произошло бы дальше, если бы Кимберлей не прервал этой тяжелой минуты опасного молчания, начавши рассказывать о своем последнем путешествии в Лондон.

– Да, – говорил он, – я провел упоительную неделю в Лондоне и присутствовал при событии, единственном в своем роде, – на обеде, который давал нескольким друзьям великий поэт Джон-Джиотто Фарфадетти, чтобы отпраздновать свою помолвку с женой своего любимого друга – Фридриха Оссиана Пинглетона.

– О, как это должно было быть восхитительно! – умилилась графиня Фергюз.

– Вы даже представить себе не можете, отвечал Кимберлей, у которого глаза, жесты и даже орхидея, украшавшая бутоньерку его фрака, выражали сильнейший экстаз. И он продолжал!

– Вообразите себя, мой дорогой друг, в большой зале. Голубые, чуть-чуть голубые стены которой украшены белыми и золотыми павлинами. Представьте себе дальше стол из нефрита странной и очаровательной овальной формы... На столе несколько чаш, в которые положены были в гармоническом сочетании желтые и лиловые конфеты, а посередине стояла ваза из розового хрусталя, наполненная каким-то необыкновенным вареньем, – и больше ничего... Поочередно, задрапированные в длинные белые одежды, мы медленно проходили мимо стола, и каждый из нас брал на кончик своего золотого ножа немного этого мистического варенья, подносил его затем, к своим губам... и больше ничего...

– О, я нахожу это трогательным, – томно вздыхала графиня, – очень трогательным.

– Вы не можете себе вообразить... Но самое трогательное, от чего действительно наши сердца разрывались от боли, это было, когда Фридрих Оссиан Пинглетон пропел поэму об обручении своей жены с его другом. Я ничего не знаю более трагического, более сверхчеловечески прекрасного.

– О, я вас прошу, – умоляла графиня Фергюз, – прочтите нам эту дивную поэму.

– Прочесть поэму? Увы, я этого не могу; я сумею вам только передать квинтэссенцию ее содержания.

– Ну хорошо, прекрасно! Хоть квинтэссенцию.

Метрдотели оканчивали разносить какое-то блюдо, похожее на ветчину. Между взбитыми желтыми сливками другого блюда виднелись вишни, которые были похожи на красных червяков. Что касается графини Ферпоз, то она, наполовину потеряв ощущение окружающего, уже умчалась в заоблачные сферы. Кимберлей начал:

«Фридрих Оссиан Пинглетон и его друг Джон-Джиотто Фарфадетти оканчивали в общей мастерской свою повседневную работу. Один был великим художником, другой – великим поэтом; первый – маленький и полный, второй – высокий и худой; оба одинаково одетые в шерстяные костюмы с одинаковыми флорентийскими шапочками на головах. Оба были неврастениками, потому что в разных телах у них были совершенно одинаковые души и родственные умы. Джон-Джиотто Фарфадетти воспевал в стихах чудесные символы, которые его друг Фридрих Оссиан Пинглетон изображал на своих картинах, и слава поэта была

нераздельна со славой художника, и наконец стали смешивать и их произведения и их бессмертные гениальные таланты»...

Кимберлей остановился... Кругом царило торжественное, религиозное молчание, что-то священное носилось в воздухе. Кимберлей продолжал:

– День уходил. Мягкие прозрачно-бледные сумерки окутали мастерскую. Едва еще можно было различить на лиловых стенах длинные, тонкие и извилистые золотые водоросли, которые, казалось, двигались, колеблемые какой-то таинственной волшебной волной. Джон-Джиотто Фарфадетти закрыл похожую на старинное Евангелие книгу, на пергаменте которой он палочкой из персидского тростника писал или, скорее, чертил свои вечные поэмы. Фридрих Оссиан Пинглетон задернул драпировкой свой мольберт, имевший форму лиры, положил свою палитру, сделанную в виде арфы, на хрупкую мебель, и оба они растянулись в утомленных и вместе с тем величественных позах друг против друга на тройном ряду подушек цвета морских водорослей...

Госпожа Тирселэ предостерегающе кашлянула.

– Нет, нет, это не то, что вы думаете, – успокоил ее Кимберлей.

И он продолжал:

– Посредине мастерской из мраморного бассейна, в котором купались розовые лепестки, подымался сильный аромат; а на маленьком столике в узкой вазе странно-зеленого цвета и похожей на причудливую лилию, прощались с жизнью нарциссы на своих длинных стеблях...

– Неподражаемо! – прошептала еле слышным голосом графиня.

И Кимберлей продолжал, не останавливаясь:

– Снаружи улица захла и почти опустела. С Темзы доносились заглушаемые расстоянием отчаянные звуки сирен и как бы задыхающиеся свистки паровых котлов. Это был тот час, когда друзья, предавшись мечтам, всегда неизменно молчали...

– О! Как я хорошо представляю их себе! – восхищалась госпожа Тирселэ.

– И это молчание, как оно многозначительно и вместе с тем как чисто! – прибавила графиня Фергюз.

Кимберлей воспользовался этим лестным для него перерывом, чтобы выпить глоток шампанского; потом, чувствуя вокруг себя еще более страстное внимание, он повторил:

– Итак, они молчали... Но в этот вечер Джон-Джиотто Фарфадетти прошептал: «В моем сердце я ношу отравленный цветок...» На что Фридрих Оссиан Пинглетон отвечал: «В этот вечер птичка пропела в моей душе грустную песню...» Казалось, мастерская была тронута и взволнована этим необыкновенным разговором. На лиловой стене, которая бледнела все больше и больше, золотые водоросли вытягивались и опять как будто сжимались от непривычного волнения – потому что, несомненно, душа человека сообщает душам окружающих его предметов свои сомнения, свои страсти, свой жар, свои грехи, свою жизнь...

– О, как это верно!

Этот крик, сорвавшийся со многих уст, не помешал Кимберлею продолжать свой рассказ, который с этой минуты продолжался при молчаливом волнении слушателей. Только голос его стал еще таинственнее.

– Эта минута молчания была мучительно трагична.

– О, мой друг! – взмолился Джон-Джиотто Фарфадетти, – ты, который мне отдал все! О ты, чья душа так чудесно родственна моей душе, ты должен мне дать еще нечто от себя, чего я еще не имел, и я умру, если не буду иметь этого!

– Может быть, тебе нужна моя жизнь? – спросил художник. – Она твоя, ты можешь ее взять...

– Нет, это не твоя жизнь... это больше, чем твоя жизнь... это твоя жена!..

– Боттичедлина!.. – воскликнул поэт.

– Да, Боттичеллина, Боттичеллинетта, плоть от твоей плоти, душа твоей души, мечта твоей мечты, волшебное успокоение твоих страданий.

– Боттичеллина! Увы, увы – это должно было случиться... Ты потонул в ней, она потонула в тебе, как тонут в бездонном озере при лунном свете. Увы!.. Это должно было случиться!..

Две слезы, заблестевшие в темноте, выкатились из глаз художника.

Поэт отвечал:

– О, слушай, мой друг! Я люблю Боттичеллину, а Боттичеллина меня любит, и мы умираем оба от любви и от того, что не смеем себе в этом признаться, не смеем соединиться друг с другом. Мы, я и она – это две половины одного живого существа, разлученные когда-то, еще в древности, и которые, может быть, в течение уже двух тысячелетий ищут, призывают и наконец только сегодня нашли друг друга. О, мой дорогой Пинглетон, в этой неведомой для нас жизни есть странные, ужасные и вместе с тем счастливые случайности. Была ли когда-нибудь более пленительная поэма, чем та, которую мы переживаем сегодня вечером?

Но художник продолжал восклицать все более и более горестным голосом: Боттичеллина, Боттичеллина. Он поднялся с тройного ряда подушек, на которых возлежал, и начал лихорадочно шагать по мастерской. После нескольких минут мучительного волнения он сказал: Боттичеллина была моей, неужели она отныне должна стать твоею?

– Она будет наша, – величаво ответил поэт. – Бог предназначтал тебе быть соединительным звеном между нашими разъединенными душами. Если же нет, то Боттичеллина владеет волшебной жемчужиной, пресекающей мечты, я – кинжалом, освобождающим дух от его ужасных цепей. Если ты нам откажешь, то мы мертвые будем любить друг друга.

И он прибавил проникновенным голосом, звучащим как бы из глубины: Это было бы, может быть, еще прекраснее!

– Нет, – воскликнул художник, – вы будете жить! Боттичеллина будет твоею, как она была моею. Я буду рвать свое тело на части, я вырву свое сердце из груди, я разобью об стены свой череп. Но мой друг будет счастлив! Я умею страдать! Страдание есть тоже блаженство.

– И самое могущественное, самое горькое, самое жестокое из всех блаженств! – сказал Джон-Джиотто Фарфадетти в экстазе. – Я завидую твоей судьбе! Что касается меня, то мне кажется, что я умру или от счастья своей любви, или от горя моего друга... Час пришел, прощай!

Он поднялся... В эту минуту драпировка зашевелилась, раздвинулась, и за ней показалось ослепительное создание. Это была Боттичеллина, задрапированная в развевающееся платье цвета лунного сияния. Ее распущенные волосы блестели, как огненные колосья. Она держала в руке золотой ключ. На ее губах блуждала восторженная улыбка, в ее глазах отражалось ночное небо. Джон-Джиотто бросился к ней и исчез за драпировкой. Тогда Фридрих Оссиан Пинглетон опять лег на тройной ряд подушек цвета морских водорослей. И в то время, как он вонзал ногти в свое тело, так что из него лилась кровь, золотые водоросли чуть-чуть шевелились, едва заметные на стене, которая мало-помалу погружалась в мрак. И палитра в форме арфы, и мольберт в форме лиры долго пели свадебные песни.

Кимберлей смолк на несколько минут. Волнение давило горло и сжимало сердце у всех сидевших за столом.

– Вот почему, – закончил он, – я обмакнул кончик моего золотого ножа в варенье, приготовленное таинственными девами в честь помолвки, какой наш век, вообще не понимающий красоты, еще не видел.

Обед кончился. Все встали из-за стола в благоговейном молчании, но сильно потрясенные. В гостиной Кимберлея окружили, поздравляли. Восторженные взгляды всех женщин были обращены на его накрашенное лицо.

– О, как бы я хотела, чтобы Фридрих Оссиан Пинглетон написал мой портрет! – воскликнула с жаром госпожа де Рамбюр. – Я бы отдала все за такое счастье!

– Увы, – ответил Кимберлей... – Со времени этого великого и горестного события, о котором я только что рассказал, Фридрих Оссиан Пинглетон больше не хочет писать человеческих лиц, как бы прекрасны они ни были; он рисует только души.

– О, он совершенно прав! Я бы так хотела быть нарисованной в виде бесплотного духа!

– Какого пола? – спросил слегка саркастическим тоном Морис Фернанкур, видимо, завидовавший успеху Кимберлея.

Последний сказал просто:

– Души не имеют пола, у них есть...

– Шерсть... на лапах, – прошептал Виктор Шариго так тихо, чтобы быть услышанным только романистом-психологом, которому он в это время предлагал сигару. И, увлекая его в курительную комнату, он продолжал: – О, старый дружище! О, как бы мне хотелось выругаться как следует, полной грудью, перед всеми этими людьми. Надоели мне их души, их извращенная любовь, их чудодейственное варенье!.. Да, да... говорить грубости, окунуться хоть на четверть часа в эту милую, черную, зловонную грязь, ах, как бы это было хорошо, с каким удовольствием я бы отдохнул в ней немножко! И как бы это облегчило мое сердце от всех тошнотворных лилий! Ну а ты как себя чувствуешь?

Потрясение, вызванное рассказом Кимберлея, было очень сильно, и все находились еще под впечатлением слышанного. Их не интересовали больше земные, обыкновенные вещи... ни светские, ни эстетические споры. Даже виконт Лаирэ, посетитель клубов, спортсмен, игрок и шулер, почувствовал, что у него выросли крылья. У каждого было желание сосредоточиться, уединиться, чтобы продлить мечту или осуществить ее. К большой досаде Кимберлея, который употреблял большие усилия, чтобы оживить общество, и ходил от одной дамы к другой, спрашивая: «Пили ли вы соболье молоко? Ах, пейте соболье молоко, это такая прелесть», – разговор все-таки не клеился, и гости один вслед за другим, извиняясь, прощались и уходили. В 11 часов никого уж не было.

Оставшись наедине лицом к лицу, господа обменялись сначала долгим, пристальным и враждебным взглядом, прежде чем стали обмениваться впечатлениями.

– Да, это вышло все достаточно неудачно, знаешь... – сказал Шариго.

– По твоей вине, – отвечала язвительно мадемуазель.

– Она еще смеет говорить...

– Да, да, по твоей вине... Ты ни о чем не заботился... ты только катал грязные хлебные шарики своими грубыми пальцами. От тебя нельзя было добиться ни одного слова. О, как ты был смешон, просто позорно...

– Да, я советую тебе еще поговорить, – быстро возразил на это Шариго. – А твой зеленый туалет, твоя идиотская улыбка, твоя выходка с Сартори? Это, может быть, все я? И это тоже, без сомнения, я рассказывал о страданиях Пинглетона, я ел чудодейственное варенье, я рисую души, я поклонник всевозможных лилий, я педераст?

– Ты даже на это не способен! – воскликнула мадемуазель, страшно взбешенная.

Они еще долго бранились и поносили друг друга. Наконец барыня, убравши серебро и начатые бутылки в буфет, решила удалиться в свою комнату, где она заперлась. Шариго продолжал бродить по всему дому, страшно взволнованный. Вдруг, заметивши меня в столовой, где я приводила понемножку все в порядок, он подошел ко мне и, обнявши меня за талию, сказал: Селестина, хочешь ли ты быть доброй и милой по отношению ко мне? Хочешь ли ты доставить мне большое, большое удовольствие?

– О да, барин.

– Хорошо, дитя мое, так крикни же мне прямо в лицо, десять раз, двадцать раз, сто раз: «Дрянь!»

– Ах, барин, что за странная мысль вам пришла в голову! Да я никогда не посмею...

– Посмей, Селестина, посмей, я умоляю тебя!

И когда я сделала при нашем общем хохоте то, о чем он меня просил, он сказал мне:

– Ах, Селестина, ты не понимаешь того удовольствия, той огромной радости, которую ты мне сейчас доставила. И затем, видеть женщину, а не душу, трогать женщину, а не лилию... Обними, поцелуй меня.

Ожидала ли я чего-нибудь подобного... Но наутро, когда они прочли в «Figaro» статью, где в высокопарных выражениях хвалили их обед, изящество, вкус, ум, их знакомства, – они забыли все и только и говорили, что о своем успехе. Их души стали вместе стремиться к еще более блестящим завоеваниям на поприще светской жизни и снобизма.

– Какая очаровательная женщина графиня Фергюз! – говорила барыня за завтраком, состоявшим из вчерашних остатков.

– И какая душа! – поддержал ее Шариго. – А Кимберлей? Неправда ли, какой очаровательный собеседник... и какие изысканные манеры!

– Напрасно его вышучивают! Ведь его порок никого не касается, что нам за дело до него?

– Конечно, – и она снисходительно прибавила: – у всех можно найти недостатки!

И целый день, сидя за бельем, я вспоминала разные истории из жизни этого дома и страсть к известности, охватившую с этого дня госпожу Шариго до такой степени, что она стала отдаваться всякому грязному журналисту, который обещал ей написать статью о произведениях ее мужа или словечко о ее туалетах и салоне, и снисходительность ее мужа, которому были известны все эти мерзости и который им не препятствовал. Он говорил с восхиительным цинизмом: Это все-таки дешевле, чем в бюро журналистов.

Со своей стороны Шариго становился все гаже и бессовестнее. Он называл это салонной политикой и светской дипломатией. Я напишу в Париж, чтобы мне прислали новое произведение моего старого хозяина... Представляю себе пикантность его содержания!

Глава одиннадцатая

10 ноября.

Теперь уже больше не говорят о маленькой Кларе. Как и можно было предвидеть, дело заглохло. Районский лес и Жозеф сохраняют, таким образом, навеки свою тайну. О той, которая была бедным невинным человеческим созданием, будут говорить отныне только как о трупке дрозда, умершего в лесу под кустами. Как будто бы ничего не произошло; отец ее по-прежнему разбивает булыжники на дороге, а город, на мгновение взбудораженный и взволнованный этим преступлением, принял свой прежний вид, но еще более мрачный благодаря зиме. Очень сильный холод держит людей в их домах. Сквозь замерзшие стекла едва можно различить их бледные и сонные лица, а на улицах можно встретить только оборванных бродяг и мерзнувших собак.

Моя барыня послала меня с поручением к мяснику, и я взяла с собой собак.

В то время, когда я была там, робко вошла в лавку какая-то старуха и спросила мяса, «кусочек мяса, чтобы сварить немножко бульону больному сыну». Мясник выбрал между обрезками мяса, наваленными в широкой медной лохани, грязный кусок, наполовину костлявый, наполовину жирный и, быстро взвесив его, сказал: – пятнадцать су.

– Пятнадцать су, – воскликнула старуха. – Это невозможно, Боже мой! И каким образом я могу из этого сварить бульон?

– Как вам угодно... – сказал мясник, бросая обратно мясо в лохань. – Только, знаете, сегодня я вам пришлю ваш счет. Если он завтра не будет оплачен, то судебный пристав...

– Давайте мясо, – покорно сказала тогда старуха.

Когда она вышла, мясник мне стал объяснять:

– Да, правда... если бы не было бедняков, которые покупают худшие куски, то никогда нельзя было бы заработать прилично на скотине. Но они стали требовательны, эти каналы! – И, отрезавши два куска хорошего, розового мяса, он бросил их собакам: Да, собаки богачей, черт возьми, это не бедняки...

В Приерэ события следуют одно за другим. От трагического они переходят к комическому, потому что ведь нельзя же всегда грустить. Измученный каверзами капитана и по совету жены барин подал на него жалобу мировому судье. Он требует с него вознаграждения за убытки с процентами, и именно за то, что он сорвал колокольчик, разбил оконные рамы, за опустошение сада. Говорят, что встреча обоих врагов в камере у судьи представляла собой нечто невообразимое. Они вцепились друг в друга, как два старьевщика. Капитан, конечно, отрицает со страшными клятвами, что он бросал когда-нибудь камни или что бы то ни было в сад Ланлера, а вот Ланлер действительно бросает камни в его сад.

– Имеете ли вы свидетелей? Где ваши свидетели? Подавайте сюда ваших свидетелей, – ревет капитан.

– Свидетели? – парирует мой хозяин, – это камни... это все грязные вещи, которыми вы не перестаете забрасывать мой сад... это старые шляпы... старые туфли, которые я там подбираю каждый день и которые, все признают, принадлежат вам.

– Вы лжете...

– Это вы – каналья, пьяница.

Но так как мой хозяин не мог представить достаточно убедительных и верных свидетельских показаний, то мировой судья – друг капитана – предлагает Ланлеру взять обратно свою жалобу.

– И, наконец, позвольте мне вам это заметить, – говорит в заключение судья, – я этого не допускаю, это невозможно, чтобы храбрый солдат, отважный офицер, который все свои

чины получил на поле сражения, забавлялся бросанием камней и старых шляп в ваш сад, как какой-нибудь уличный мальчишка...

– А, черт возьми! – вопит капитан, – этот человек – бесчестный дрейфусар... Он оскорбляет армию...

– Я?

– Да, вы! Вы стараетесь, грязный жид, обесчестить армию... Да здравствует армия!..

Они чуть было не вцепились друг другу в волосы, и судье стоило большого труда разнять их.

С этого времени мой хозяин поставил в саду двух постоянных и невидимых свидетелей позади прикрытия из досок, в которых на высоте человеческого роста пробуровлены были четыре круглых отверстия для глаз. Но капитан, предупрежденный об этом, стал вести себя очень тихо, и хозяин только напрасно потратил деньги.

Я видела капитана два или три раза через забор. Несмотря на мороз, он целый день в саду, где он с увлечением выполняет всевозможные работы. В настоящую минуту он занят тем, что покрывает свои розовые кусты промасленной бумагой. Он мне рассказывает о своих несчастьях... Роза больна инфлуэнцей, и это при ее астме... Бурбаки умер от воспаления легких, потому что пил слишком много коньяку. Да, ему действительно не везет... И это, несомненно, сглазил его этот разбойник Ланлер! Но он победит его, он избавит страну от Ланлера – и он предлагает мне великолепный план сражения...

– Вот что вы должны были бы сделать, мадемуазель Селестина. Вы должны подать жалобу на Ланлера за оскорбление общественной нравственности и покушение на изнасилование. Это прелестная идея!

– Но, капитан, никогда мой хозяин не оскорблял моих нравов и не покушался на мою чистоту...

– Ну, что ж такое?..

– Но я не могу...

– Как это вы не можете? А между тем нет ничего проще... Подайте вашу жалобу, а свидетелями выставите меня и Розу. Мы придем и подтвердим перед правосудием, что видели все, все, все... Слово солдата, особенно в настоящее время, значит же что-нибудь, черт возьми! И заметьте себе, что после этого нам легко будет возбудить вновь дело об изнасиловании и вкрутить в него Ланлера... Это – прекрасная идея... Подумайте о ней, мадемуазель Селестина, подумайте...

– Ах, у меня есть многое, слишком многое, о чем я должна подумать в настоящую минуту... Жозеф торопит меня с решением вопроса, так как больше ждать нельзя... Он получил письмо из Шербурга, в котором его извещают, что на будущей неделе должна состояться продажа маленького кафе... Но я смущена и очень беспокойна. Я хочу и не хочу... Один день это мне нравится, а на другой перестает нравиться... Главным образом, мне кажется, я боюсь, чтобы Жозеф не втянул меня в какое-нибудь ужасное дело... Я не могу на что-нибудь решиться. Он меня не насилует, но убеждает меня, искушает обещаниями свободы, прелестных туалетов, обеспеченной, счастливой и веселой жизни...

– Мне необходимо купить это маленькое кафе, – говорит он мне... – Я не могу упустить подобного случая... А если наступит революция?.. Подумайте, Селестина, ведь это – богатство, сейчас же... и кто знает? Заметьте себе, что нет ничего лучше для кафе, как революция...

– Купите его на всякий случай. Если там не будет меня, то будет другая.

– Нет, нет, это должны быть вы, никто другой, кроме вас... Я без ума от вас... Но вы мне не доверяете...

– Нет, Жозеф, уверяю вас...

– Да, да, вы скверно думаете обо мне...

В эту минуту, я не знаю, каким образом, я действительно не понимаю, как во мне нашлось мужество спросить у него:

– Ну хорошо, Жозеф, так скажите мне, ведь это вы изнасиловали маленькую Клару в лесу?

Жозеф принял удар с необыкновенным спокойствием. Он только пожал плечами, покачался несколько секунд на каблуках и, поправляя свои брюки, которые немножко соскользнули, он ответил просто:

– Вы видите, ведь я вам говорил... Я знаю ваши мысли... Я знаю все, что у вас на уме...

Он понизил голос, но его взгляд стал так страшен, что я не могла произнести ни слова.

– Дело не в маленькой Кларе, речь идет о вас...

На днях также, вечером, он обнял меня:

– Поедете ли вы со мной в маленькое кафе?

Вся дрожа, я едва нашла силы в себе, чтобы пролепетать:

– Я боюсь, я вас боюсь, Жозеф... Почему я вас боюсь?

Он меня укачивал в своих объятиях и, не желая себя оправдывать, а желая, может быть, даже увеличить мои страхи, он мне сказал отеческим тоном:

– Ну хорошо, хорошо... Если это так, то поговорим об этом завтра.

В городе ходит по рукам одна руанская газета, в которой есть статья, производящая сенсацию между местными святошами.

Это – истинное происшествие, и очень забавное, которое произошло совсем недавно в Порт-Лансоне, красивом месте, расположенном в трех лье отсюда; самое пикантное в нем это то, что всем знакомы действующие лица. Вот что опять будет занимать людей в течение нескольких дней... Марианне вчера принесли эту газету, и вечером после обеда я стала читать знаменитую статью вслух. С первых же фраз Жозеф поднялся и с большим достоинством, строго, даже немножко сердито, заявил, что не любит сальностей вообще и, кроме того, не может допустить, чтобы при нем смеялись над религией...

– Вы нехорошо делаете, Селестина, нехорошо, очень нехорошо... И он ушел спать. Я передаю здесь эту историю. Она мне показалась достойной быть занесенной на эти страницы... и потом мне хотелось хоть одним чистосердечным раскатом смеха развеселить эти печальные страницы.

Вот она.

Настоятель Порт-Лансонского прихода, очень сангвинический, энергичный человек и большой фанатик, славился своим красноречием во всей округе. Маловерующие и даже атеисты ходили в церковь только для того, чтобы послушать его проповеди. Они оправдывались желанием послушать хорошего оратора:

– Никто не разделяет его взглядов, конечно, – говорили они, но ведь все-таки интересно послушать такого человека. – И они завидовали «священному таланту» господина настоятеля, так как их депутат не произносил никогда ни одного слова. Его шумное и сварливое вмешательство в общинные дела стесняло иногда мэра и раздражало зачастую другие власти, но господину настоятелю принадлежало всегда последнее слово, и благодаря своему красноречию он побеждал всех. Одной из его маний было, что детей мало учат в школах.

– Чему их учат в школах? Ничему их не учат... Когда им предлагаешь какие-нибудь серьезные вопросы, они, бедняжки, никогда не знают, что ответить. От факта школьного невежества он переходил к Вольтеру, к французской революции, к правительству, к дрейфусарам – но все это говорилось им не в публичных проповедях, а только перед верными друзьями, так как, несмотря на всю свою непримиримость и фанатизм, он очень дорожил своим жалованьем. Он имел также обыкновение собирать по вторникам и четвергам как можно больше детей и там в продолжении двух часов внушал им необыкновенные позна-

ния и вообще старался поразительными педагогическими приемами заполнить пробелы их светского воспитания.

– Ну вот, дети мои, знает ли кто-нибудь из вас, где находился некогда земной рай? Пусть тот, кто знает, подымет руку! Ну, смелей! – Ни одна рука не поднялась... Все глаза смотрели на него с горячим вопрошающим любопытством, а господин настоятель, пожимая плечами, воскликнул:

– Это скандал... Чему же учит вас ваш учитель?.. Да, она хороша – светская, бесплатная и обязательная школа... она прелестна... Хорошо, я вам скажу, я, где находился земной рай... слушайте!

И, сильно гримасничая, он начал категорическим тоном:

– Земной рай, дети мои, находился не в Порт-Лансоне, хотя это и говорят, не в департаменте Нижней Сены, не в Нормандии, не в Париже, не во Франции... Он не был также ни в Европе... ни даже в Африке или Америке, он также не находился никогда в Австралии... Ясно ли это вам? Есть люди, которые утверждают, что земной рай находился в Италии, другие говорят, что в Испании, потому что в этих странах растут апельсины, маленькие лакомки! Это ложь, ерунда! Во-первых, в земном рае не было апельсинов, были только яблоки, к нашему несчастью... Ну, пусть теперь кто-нибудь из вас ответит... Отвечайте!..

И так как никто не отвечал, то настоятель продолжал громовым голосом:

– Он был в Азии, в Азии, где никогда не выпадал ни дождь, ни град, ни снег... не сверкала никогда молния... в Азии, где все зеленело и благоухало, где цветы были вышиной с деревья, а деревья походили на горы... Теперь в Азии всего этого нет больше. Вследствие совершенных нами грехов там остались теперь только китайцы, турки – черные еретики, желтые язычники, убивающие святых миссионеров и попадающие за это прямо в ад на том свете... Это я вам говорю. Теперь другое: знаете ли вы, что такое Вера?.. Вера?..

Один из детей пролепетал очень серьезно, тоном заученного урока:

– Вера, надежда... и милосердие – это три богословские добродетели.

– Я вас не об этом спрашиваю, – нетерпеливо возразил священник. – Я вас спрашиваю, в чем состоит вера... А вы этого тоже не знаете? Так вот что: вера состоит в том, чтобы верить всему тому, что говорит вам ваш добрый священник, и не верить ничему из того, что говорит вам ваш учитель... Потому что он ничего не знает, ваш наставник... И того, о чем он вам рассказывает, никогда и не было.

Порт-Лансонская церковь известна всем археологам и туристам. Это одна из самых интересных церквей этой части Нормандии, где вообще так много прелестных церковных построек. На западной стене над средней дверью в виде стрельчатого свода тонко нанесена на треугольной арке ажурная резьба необыкновенной красоты и изящества. Край северной стены, выходящей в темный переулочек, украшен менее строгими и более пышными орнаментами. Там можно видеть много странных фигур с лицами демонов или символических животных и святых, похожих на бродяг, которые в ажурных кружевах фресок странно гримасничают... К несчастью, большинство фигур обезглавлено и изуродовано. Время и вандалский пуризм священников испортили эту сатирическую скульптуру, веселую и сладострастную, как страничка из Раблэ. Угрюмый мох скромно прикрывает эти каменные тела, где глаз скоро не сможет больше отличить ничего, кроме непоправимых развалин. Здание разделялось на две части тонкими и смелыми аркадами, и его окна, лучистые на южной стене, на северной боковой стене прямо пылали. Самое главное центральное окно в виде громадной красной розетки тоже сверкало и горело, как заходящее осеннее солнце.

Двор священника, обсаженный старыми каштанами, сообщался прямо с церковью через маленькую незаметную дверь, выходящую к одной из боковых стен, и ключ от которой был только у священника да у настоятельницы монастыря, сестры Анжелы. Язвительная, худая, еще молодая, но уже увядшая, суровая и строгая, но сплетница, предприимчивая и

пронырливая сестра Анжела была большим другом священника и его интимной советницей. Они виделись ежедневно, очень таинственно, подготавливая беспрестанно какие-нибудь избирательные или муниципальные комбинации, доверяя друг другу тайны, украденные ими в портлансонских домах, ухитряясь обойти искусными маневрами постановление префекта или распоряжения администрации в пользу интересов церкви. Все грязные истории, циркулировавшие в той местности, исходили от них. Всякий это прекрасно знал, но не смел ничего сказать, боясь неистощимого остроумия г-на настоятеля, а также известной всем злости сестры Анжелы, управлявшей монастырем по своей прихоти, нетерпимой и злопамятной женщины.

В прошлый четверг священник, собрав на церковном дворе детей, сообщал им удивительные метеорологические сведения. Он объяснял им явления грома, града, ветра, молнии.

– А дождь?.. Знаете ли вы, что такое дождь, откуда он берется и кто его устраивает?.. Современные ученые скажут вам, что дождь – это есть сгущенный пар... Они вам еще многое скажут... Они лгут – эти ужасные еретики, эти пособники дьявола... Дождь, дети мои, это – проявление гнева Божия. Бог недоволен вашими родителями, которые в течение многих лет уже не посещают публичных молебствий о ниспослании урожая, и он думает себе: а, вы заставляете вашего доброго священника с его сторожем и певчими дожидаться вас понапрасну на всех дорогах и полевых тропинках. Ну хорошо же! Не будет у вас тогда урожая. И Бог приказывает дождю падать... Вот что такое дождь. Если бы ваши родители были верными христианами, если бы они исполняли свои религиозные, обязанности, то никогда не было бы дождя...

В эту минуту на пороге маленькой церковной двери появилась сестра Анжела. Она была еще бледнее обыкновенного и страшно огорчена. С ее белой головной повязки слегка соскользнул чепец, а его два распущенных больших крыла испуганно развевались. Когда она увидела учеников, окруживших г-на настоятеля, ее первым движением было уйти и затворить за собой дверь. Но священник, пораженный ее внезапным появлением, ее расстроенным головным убором и бледностью, бросился к ней навстречу с вопрошающим и беспокойным взглядом.

– Отпустите сейчас детей, сейчас же, – сказала она умоляющим голосом, – мне нужно с вами поговорить...

– О Боже мой, что такое случилось, скажите... Что?.. Вы страшно взволнованы...

– Отпустите этих детей... – повторила сестра Анжела. – Случилась серьезная, очень, слишком серьезная вещь.

Когда ученики ушли, сестра Анжела упала на скамью и в продолжении нескольких минут нервно перебирала медный крест и святые образки, которые звенели на накрахмаленном нагруднике, украшавшем ее плоскую девственную грудь.

Священник со страхом ждал ее рассказа. Наконец он спросил прерывающимся голосом:

– Скорее, сестра, говорите... Вы меня пугаете... Что такое случилось?

Тогда сестра Анжела проговорила кратко:

– Проходя только что по переулку... я видела... на нашей церкви... голого человека...

Священник, открывши с судорожной гримасой свой рот, пролепетал:

– Совсем голого человека?.. Вы видели, сестра, на моей церкви... голого человека?.. На моей церкви?.. Вы в этом уверены?..

– Я его видела...

– Нашелся в моем приходе настолько бесстыдный, настолько развратный человек, который мог себе позволить прогуливаться совершенно голым на моей церкви?.. Но это невероятно!

Его лицо побагровело от гнева, из его сжатого горла едва выходили слова.

– Голый на моей церкви?.. О!.. Но в каком веке мы живем?.. Но что он делал, голый, на моей церкви?..

– Вы меня не понимаете, – прервала его сестра Анжела... – я вам не сказала, что этот человек был ваш прихожанин... Он каменный, этот человек...

– Как? Он каменный?.. Но ведь это не одно и то же, сестра...

И, успокоенный этой поправкой, настоятель шумно вздохнул:

– Ах, как я было испугался...

Сестра Анжела возмутилась и прошипела сквозь свои тонкие и еще более побледневшие губы:

– Значит, все хорошо... И вы находите, без сомнения, что он менее гол потому, что он из камня?

– Я этого не говорю, но это все-таки не одно и то же.

– А если я вам скажу, что этот каменный человек более оголен, чем вы думаете, что он стоит в нечистой, ужасной, чудовищной позе?.. Ах, оставьте, господин священник, не заставляйте меня говорить сальности!..

Она встала в страшном волнении.

Священник был сражен... Это открытие его ошеломило... Его мысли смешались, его воображение нарисовало ему картину ужасного, отвратительного разврата. Он пробормотал:

– О, на самом деле?.. В ужасной позе? О, это непостижимо... Но ведь это – гадость, сестра? И вы уверены, вполне уверены, что видели это? Вы не ошибаетесь? – Это не шутка? Это прямо непостижимо!

Сестра Анжела топнула ногой.

– Уже много веков эта фигура оскверняет вашу церковь, и вы тоже ничего не заметили?.. И я – женщина, я – монахиня, давшая обет целомудрия, я должна была вам указать на эту мерзость, и я говорю вам: «Господин настоятель, дьявол поселился в вашей церкви!»

Но при этом пылком монологе сестры Анжелы к священнику быстро вернулась способность соображать, и он сказал решительным тоном:

– Мы не можем терпеть подобного позора... Необходимо низвергнуть дьявола, и я это беру на себя... Приходите в полночь, когда все будут спать в Порт-Лансоне... Вы мне укажете путь... Я велю пономарю достать лестницу... Это очень высоко?

– О да, очень высоко.

– И вы сумеете найти это место, сестра?

– Я его найду с закрытыми глазами... Итак, до ночи, господин настоятель?!

– И да будет с вами Бог, сестра!

Сестра Анжела перекрестилась и исчезла за маленькой дверью.

Ночь была темная, безлунная... В окнах переулка давно уже погасли последние огни; фонари, выше которых все было погружено в мрак, качались на своих скрипящих невидимых проволоках. Все спало в Порт-Лансоне.

– Это здесь, – сказала сестра Анжела.

Пономарь приставил свою лестницу к стене у широкого просвета. Через окна слабо мерцала лампада, горевшая в алтаре. И вся церковь отражалась в фиолетовом небе, где кое-где дрожали звездочки. Священник, вооруженный молотком, резцом и потайным фонарем, карабкался по лестнице; вслед за ним взбиралась сестра Анжела, чепец которой был спрятан под широкой черной мантильей. Он бормотал:

– *Ab omni peccato.*

Сестра отвечала:

– *Libera nos, domine.*

A spirita fornicationis.

Libera nos, domine.

Поднявшись в уровень с фреской, они остановились.

– Это здесь, – сказала сестра Анжела. – Налево от вас, господин настоятель.

И, испуганная окружающей темнотой и тишиной, она быстро прошептала:

– *Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.*

– *Excudi nos, domine,* – отвечал священник, направляя свой фонарь на каменные ниши, где резвились и скакали апокалиптические фигуры демонов и святых.

Вдруг он вскрикнул, увидевши прямо над собой страшное, ужасное, греховное изображение:

– *Mater purissima, mater carissima... mater inviolata,* – бормотала монахиня, согнувшись стоя на лестнице.

– О, какая мерзость! Мерзость! – взывал священник молитвенным тоном.

Он размахнулся своим молотом и в то время, как сестра Анжела позади него продолжала шептать молитвы Святой Деве, а пономарь внизу у лестницы тоже жалобно и невнятно молился, нанес нечистому изображению сильный и сухой удар. Несколько осколков камня попали статуе в лицо, и слышно было, как твердое тело упало на крышу, оттуда скатилось в водосточный желоб и, выскочивши из него, упало в переулок.

На другой день, выходя из церкви, где она слушала обедню, m-lle Робино, благочестивая женщина, увидела на земле в переулке предмет, который показался ей необыкновенным по форме и очень странным по виду и был чрезвычайно похож на мощи.

Она подняла его и, рассматривая со все сторон, сказала себе: это, вероятно, какая-нибудь святая чудная драгоценная реликвия, окаменевшая в каком-нибудь чудодейственном источнике...

Пути Господни неисповедимы!

Она сначала хотела преподнести эту реликвию господину настоятелю. Потом она рассудила, что эта святыня будет благословением для ее дома, что она удалит из него несчастье и грех. И она унесла ее с собой.

Пришедши домой, мадемуазель Робино заперлась в своей комнате. Там на столе, покрытом белой скатертью, она положила красную бархатную подушку с золотыми кистями, а на подушку бережно уложила принесенную святыню. Потом она покрыла все это стекляннм колпаком, а по обеим сторонам поставила две вазы с искусственными цветами. И, упавши на колени перед этим импровизированным алтарем, она с жаром молилась неизвестному и прекрасному святому, которому принадлежала в очень, вероятно, отдаленном прошлом эта святыня... Но очень скоро она почувствовала себя смущенной. Слишком человеческие, земные мысли стали примешиваться к жару ее молитв, к чистой радости ее религиозных восторгов. Ужасные, мучительные сомнения вкрались в ее душу.

Святыня ли это на самом деле? – спросила она себя. И в то время как губы ее повторяли молитвы, она не могла отвлечь своих мыслей от соблазна... она не могла заглушить в себе тайного, незнакомого ей до сих пор голоса, более сильного, чем ее молитвы, который говорил ей:

– Во всяком случае это был, вероятно, очень красивый мужчина!

Бедная девица Робино! Ей объяснили, что представлял собой этот каменный обломок. Она чуть не умерла со стыда... И она не переставала повторять:

– А я-то целовала его столько раз!

Сегодня, 10-го ноября, мы провели весь день за чисткой серебра. Это – целое событие, традиционная эпоха, как эпоха приготовления варенья, например. У Ланлеров есть великолепное серебро, много старинных, редких и необыкновенно красивых вещей.

Оно досталось барыне от ее отца, который получил его, одни говорят, на хранение, а другие – как залог за крупную сумму, owedенную им одному соседнему дворянину. Этот

господин занимался не больше не меньше, как покупкой и продажей молодых людей для рекрутчины...

Он ничем не пренебрегал и принимал участие не в одном мошенничестве. Если верить лавочнице, то история этого серебра или самая темная, или, наоборот, очень понятная, как смотреть на дело. Отец барыни вернул будто бы все одолженные им деньги и, благодаря какому-то неизвестному мне обстоятельству оставил у себя, кроме всего, все серебро. Великолепная мошенническая проделка!.. Ланлеры, конечно, никогда его не употребляют. Оно спрятано под замком в буфетной в трех больших сундуках, обитых красным бархатом и прибитых к стене крепкими железными крюками. Каждый год 10 ноября его вынимают из сундуков и чистят под наблюдением хозяйки. И до следующего года его больше никто не видит... Ну и глаза у барыни, когда она смотрит на это серебро, которое мы оскверняем нашим прикосновением!

Никогда я не видела в глазах женщины такой противной жадности! Разве не смешны эти люди, которые прячут все, которые прячут свои деньги, свои бриллианты, свои богатства и которые, будучи в состоянии жить в роскоши и в веселии, стараются жить почти в нужде и в скуке?

Когда работа была окончена, серебро заперто под замок опять на целый год в свои сундуки и хозяйка наконец ушла с уверенностью, что нам к пальцам ничего не прилипло из него, Жозеф мне сказал со странным видом:

– Это великолепное серебро, вы знаете, Селестина... в особенности этот судок в стиле Людовика XVI... А, черт возьми, какой он тяжелый! Все это стоит, может быть, 25 тысяч франков, Селестина, а может быть, и больше... Неизвестно, сколько оно стоит...

И, смотря на меня тяжелым, пристальным, проникающим до глубины души взглядом, он мне сказал:

– Поедете ли вы со мной в маленькое кафе?

– Какое отношение существует между серебром моей хозяйки и маленьким кафе в Шербурге?

Я в самом деле не знаю почему, но самые незначительные слова Жозефа приводят меня в содрогание!..

Глава двенадцатая

12 ноября.

Я обещала рассказать о господине Ксавье. Воспоминание об этом юноше часто пробегают в моей голове, меня преследует. Между столькими виденными мною фигурами его фигура – одна из тех, которые чаще всего мне приходят на ум. Я думаю о нем иногда с сожалением, иногда с гневом. Он был во всяком случае очень забавен и достаточно испорчен, этот господин Ксавье со своим нахальным, измятым лицом и совершенно белокурой головой... Ах, маленький негодяй! про него можно сказать, что он был вполне сын своего века.

Однажды я нанялась к госпоже де Тарв, на Вареннской улице. Прекрасный дом, светский образ жизни и прекрасное жалование: 100 франков в месяц с вином, со стиркой моего белья и т. д.

Утром, когда я пришла, очень довольная, на свое новое место, барыня позвала меня в свою туалетную комнату. Комната прелестная, вся обитая кремовым шелком, а сама хозяйка – крупная женщина, немножко измятая, со слишком белой кожей, с чересчур красными губами и слишком белокурыми волосами, но еще очень красивая, роскошно одетая, представительная и шикарная... Против этого ничего нельзя было возразить, и с этой стороны она удовлетворяла всем требованиям!

У меня уже был тогда очень верный взгляд... Быстро оглядев какую-нибудь парижскую обстановку, я умела по ней угадывать привычки и нравы ее хозяев, и хотя мебель так же лгала, как и лица, я редко ошибалась. Смотря на вполне приличную и даже роскошную обстановку этого дома, я сейчас же почувствовала неблагоустройство жизни в доме, спешность, лихорадочность ее, интимную и скрытую грязь, недостаточно скрытую, во всяком случае для того, чтобы я не почувствовала ее запаха, так сказать, всегда и везде одинакового!.. Кроме того, старые слуги в доме при первой же встрече с новыми глазами говорят им – часто неожиданно и невольно, – какой дух и направление царит в доме. Это нечто вроде масонского знака, которым обмениваются при первом же знакомстве старые и новые слуги. Как и во всех профессиях, слуги сильно завидуют друг другу и яро защищаются против всякого вторжения. И я также, хотя вообще очень уживчива, много перенесла от этой зависти. Особенно я страдала от женщин, которых приводила в ярость моя миловидность. Зато мужчины – надо им отдать справедливость – меня всегда прекрасно принимали...

Во взгляде лакея, открывшего мне дверь, я ясно прочла следующее: «Здесь забавно в доме, и верхи, и низы... обеспеченности ты здесь не найдешь, но повеселиться все-таки можно. Ты можешь поступить в дом, моя милая!» Войдя в туалетную комнату, я была, таким образом, приготовлена – в силу этих смутных впечатлений – к чему-то особенному. Но, я должна в этом признаться, ничто не указывало мне на то, что ожидало меня здесь на самом деле.

Барыня писала письмо за прелестным маленьким письменным столом.

Весь пол был покрыт белым мехом вместо ковра. На шелковых стенах меня поразили гравюры XVIII столетия неприличного, почти непристойного содержания рядом с картинами на религиозные темы. Под стеклом масса старинных безделушек из слоновой кости, миниатюрных табакерок, статуэток из саксонского фарфора, хрупких и восхитительных. На столе туалетные принадлежности, очень богатые, все золото и серебро... Маленькая собачка, комок шелковой блестящей шерсти светло-коричневого цвета, спала на кушетке между двумя лиловыми шелковыми подушками.

Барыня обратилась ко мне:

– Селестина, ведь так? Ах, как я не люблю этого имени... Я вас буду звать Мери, на английский манер... Мери, вы будете помнить? Мери... да, это приличнее...

Это тоже в обычае.

Мы даже не имеем права иметь своего собственного, принадлежащего нам имени, потому что во всех домах есть девушки, кузины, собачки, попугаи, носящие то же имя, что и мы.

– Хорошо, барыня, – ответила я.

– Вы говорите по-английски, Мери?

– Нет, барыня... Я вам это уже говорила.

– Ах, правда... это очень жаль... Повернитесь немного, чтобы я вас лучше видела...

Она осмотрела меня со всех сторон, спереди, сзади, в профиль, бормоча время от времени:

– Нет, она недурна... она довольна мила...

И внезапно:

– Скажите мне, Мери, сложены вы хорошо... вы очень хорошо сложены?

Этот вопрос меня поразил и смутил. Я никак не могла уловить связи между моей службой в доме и моим сложением. Но, не ожидая моего ответа, хозяйка сказала сама себе, осматривая с головы до ног всю мою особу в лорнетку:

– Кажется, вы довольно хорошо сложены.

Потом, обращаясь прямо ко мне, она объяснила мне с довольной улыбкой:

– Видите ли, Мери, я люблю видеть возле себя только хорошо сложенных женщин... это приличнее...

Но моему удивлению не суждено было скоро кончиться. Продолжая меня тщательно осматривать, она вдруг вскричала:

– Ах, какие у вас волосы!.. Я хочу, чтобы вы иначе причесывались... Ваша прическа не изящна... а между тем у вас прелестные волосы, и нужно причесываться так, чтобы это видно было. Это очень важно – прическа!.. Подождите, вот так, в этом роде...

Она взбила мне немножко волосы на лбу, повторяя:

– Вот так, в этом вкусе... Она очаровательна... Посмотрите, Мери, вы очаровательны... И это приличнее...

И в то время как она поправляла мою прическу, я спрашивала себя, не спятила ли немножко моя хозяйка и нет ли у нее каких-нибудь противоестественных наклонностей. Поистине, мне только этого не доставало. Когда она окончила, удовлетворенная моей прической, она меня спросила:

– А это самое нарядное ваше платье?

– Да, барыня.

– Оно некрасиво, ваше самое нарядное платье. Я вам дам из своих, которые вы приложите для себя... А ваши нижние юбки?

Она подняла мою нижнюю юбку и слегка встряхнула ее.

– Да, я вижу, – сказала она. – Это совсем не то. А ваше белье... Приличное оно?

Раздраженная этим насильственным осмотром, я ответила очень сухо:

– Я не знаю. Что вы подразумеваете под словом «приличное»?

– Покажите мне ваше белье. Подите, принесите его... И походите немножко. Еще... идите сюда... обернитесь... У нее красивая походка... в ней есть шик...

Как только она увидела мое белье, она скорчила гримасу...

– О, это понятно... эти чулки... эти рубашки... Какой ужас!.. И этот корсет!.., я этого не хочу видеть у себя... Я не хочу, чтобы вы все это носили, служа у меня... Подождите, Мери, помогите мне...

Она отворила розовый лакированный шкаф, выдвинула из него большой ящик, наполненный пахучими нарядами, и выбросила все его содержимое в кучу на ковер.

– Возьмите это, Мери... возьмите все это... Вы посмотрите... тут надо кое-что переделать, приладить, нужны маленькие починки. Вы это сделаете. Возьмите все это. Тут есть всего понемножку. Тут есть из чего устроить для вас красивые туалеты, приличное приданое. Возьмите все это...

Тут в самом деле было полно всего, шелковые корсеты и шелковые чулки, рубашки из шелка и тончайшего батиста, прелестные панталоны, очаровательные косыночки... изящные юбки... Сильный аромат, запах Peau d'Espagne, аромат женщины, которая лелеет свое тело, аромат любви, наконец, подымался от этой кучи нарядов, нежные или яркие цвета которых выделялись на ковре, как корзина цветов в саду... Я не могла прийти в себя... Я стояла довольная и вместе с тем сконфуженная перед этой кучей розовых, лиловых, желтых и красных тканей, на которых оставались еще кое-где куски лент более ярких цветов, остатки тонких кружев... А хозяйка перебирала эти все еще красивые наряды, это белье, чуть-чуть поношенное, показывала их мне, выбирала, давала мне советы, объясняла мне свои вкусы.

– Я люблю, чтобы женщины, которые служат у меня, были кокетливы, изящны, чтобы от них хорошо пахло... Вы брюнетка, вот красная юбка, которая вам дивно пойдет... Впрочем, вам все прекрасно пойдет... Возьмите все...

Я стояла в совершенном оцепенении... Я не знала, что делать... что сказать... Машинально я повторила:

– Спасибо, барыня!.. О, как вы добры!.. Благодарю!..

Но хозяйка не давала мне времени на размышления... Она говорила, говорила и становилась то фамильярно-бесстыдной, то матерински-благожелательной, но все, что она говорила, было так странно, необычно!..

– Потом относительно чистоты, Мери... ухода за своим телом... маленьких секретов туалета... О, на это я обращаю больше внимания... в этом отношении я требовательна... это у меня какая-то мания!..

И она сначала мне объясняет самые интимные подробности, настаивая все время на том, что это «прилично», слово, которое беспрестанно было на ее устах и по поводу вещей, совсем неприличных, на мой взгляд, по крайней мере.

Когда мы покончили с нарядами, хозяйка мне сказала:

– Женщина, все равно, кто бы она ни была, должна всегда за собой ухаживать... Впрочем, Мери, вы будете делать так, как я это делаю: это важный пункт... Завтра вы примете ванну... я вам укажу, как...

После этого хозяйка показала мне свою комнату, шкафы, вешалки, место каждой вещи, объяснила мне обязанности моей службы и все это с рассуждениями, которые показались мне сарайными и необычными.

– Теперь, сказала она, – пойдём к господину Ксавье... Вы будете также обслуживать г-ну Ксавье... Это мой сын, Мери...

– Хорошо, барыня!

Комната господина Ксавье находилась в другом конце этой большой квартиры; кокетливая комната, обитая голубым сукном с желтыми кистями и позументами. На стенах – раскрашенные английские гравюры, изображающие сцены из охотничьей жизни, скачки, лошадей, замки. На стене висела целая коллекция тростей с охотничьим рогом посреди, по обеим сторонам которого перекрещивались две трубы. На камине между массой безделушек, коробок с сигарами и трубок стояла карточка красивого юноши, совсем молодого, еще без бороды, с нахальным лицом рано развившегося мальчика почти девичьей миловидности. Эта карточка мне ужасно понравилась.

– Это – господин Ксавье, – сказала хозяйка.

Я не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть со слишком большим восторгом, без сомнения: какой он красивый!

– Ничего, ничего, Мэри! – сказала хозяйка. Я видела, что мое восклицание не рассердило ее, потому что она улыбнулась.

– Господин Ксавье такой же, как все молодые люди, – сказала она. – У него в комнате нет большого порядка, нужно, чтобы он был у вас и чтобы комната содержалась в образцовой чистоте... Вы будете входить к нему каждое утро в 9 часов... Вы будете относить ему чай в 9 часов, вы слышите, Мэри?.. Иногда господин Ксавье возвращается очень поздно домой... Он вас, может быть, плохо примет, но это ничего не значит... Молодой человек должен вставать в 9 часов.

Она мне указала, где лежит белье господина Ксавье, его галстуки, обувь; каждый раз она прибавляла:

– Мой сын немножко вспылчив, но это прелестный мальчик!..

Или:

– Умеете ли вы складывать брюки? О, господин Ксавье дорожит своими брюками больше всего.

Что касается шляп, то было условлено, что это относится не ко мне и что честь разглаживать их ежедневно принадлежит лакею.

Я находила чрезвычайно странным то обстоятельство, что в доме, где есть лакей, хозяйка возлагала на меня обязанность услуживать господину Ксавье.

– Это весело, но это, может быть, не совсем прилично, – говорила я себе, пародируя слово, которое моя хозяйка повторяла беспрестанно и по всякому поводу.

И действительно, мне все казалось странным в этом странном доме.

Вечером на кухне я узнала многое.

– Необыкновенный дом, – рассказывали мне там. – Сначала удивляешься, а потом привыкаешь. Иногда нет ни одного гроша в целом доме. Тогда барыня уходит, приходит, бегаёт, уезжает и приезжает, нервная, измученная и все время грубо бранится. Барин не отходит от телефона. Он кричит, угрожает, умоляет, бесится у аппарата... А судебные взыскания... часто случалось, что метрдотель должен был из своего кармана уплачивать по счетам разъяренных поставщиков, которые ничего больше не хотели давать в дом...

Однажды в их приемный день их лишили газа и электричества... А вслед за этим вдруг – золотой дождь... Дом утопает в деньгах... Откуда они являются? Этого, например, никто не знает. Что касается слуг, то они ждут целыми месяцами своего жалования... но в конце концов им всегда его уплачивают, но ценой каких сцен, ссор!.. Это прямо невероятно...

Хорошо я попала... Нечего сказать, повезло мне в тот единственный раз, когда я поступила на большое жалование...

– Господин Ксавье опять не ночевал дома эту ночь, – сказал лакей.

– О, – сказала кухарка, пристально глядя на меня, – сегодня он, может быть, придет домой...

А лакей рассказал, что в это самое утро приходил какой-то кредитор господина Ксавье и устроил скандал. Там, вероятно, было что-нибудь очень скверное, потому что хозяин при-смирел и должен был уплатить крупную сумму, четыре тысячи франков, по крайней мере.

– Барин страшно рассердился, – прибавил он. – Я слышал, как он говорил барыне:

– Это так не может продолжаться... Он нас опозорит... Он нас опозорит...

Кухарка, которая, казалось, была вообще очень философски настроена, повела плечами.

– Их опозорить? – сказала она насмешливо. – Плюют они на это... Они возмущаются тем, что нужно платить...

Этот разговор меня очень расстроил. Я смутно стала понимать, что могла быть связь между нарядами барыни, ее речами и господином Ксавье. Но какая именно?

Я спала очень плохо эту ночь... Меня преследовали странные сны... Я горела нетерпением видеть скорее господина Ксавье...

Лакей не лгал... Действительно, странный, необыкновенный дом...

Барин организовывал паломничества к различным святым местам. Я не знаю определенно, но, кажется, он был там чем-то вроде директора или председателя. Он вербовал богомольцев где только мог: между евреями, протестантами, бродягами, даже между католиками, и один раз в году он возил всех этих людей в Рим, в Лурд, в Парэ-ле-Моньяль, не без славы и не без выгоды для себя, надо полагать. Папа видит в этом только религиозный пыл, значит, религия торжествовала победу.

Барин занимался также благотворительными и политическими делами: он участвовал в «лиге против светского воспитания»... в «лиге против непристойных объявлений», в «обществе устройства христианских занимательных и веселых библиотек»... в «конгрегационистской ассоциации для вскармливания молоком детей рабочих»... и еще Бог знает в каких лигах и обществах он не принимал участия!.. Он председательствовал в сиротских, в рабочих домах, в клубах, в бюро для приискания занятий... Он везде председательствовал... О, у него было много занятий! Это был маленький кругленький человечек, очень живой, очень тщательно одетый, всегда чисто выбритый, манеры которого, слащавые и вместе с тем циничные, напоминали собою манеры жизнерадостного и хитрого католического священника. О нем и его благотворительных делах писали иногда в газетах. Одни, конечно, восхваляли его высокие добродетели, его апостольскую святость, другие ругали его старым мошенником и грязным негодяем. На кухне мы много смеялись над этими газетными спорами, хотя это ведь очень лестно и считается даже некоторым, шиком служить у господ, о которых пишут в газетах.

Раз в неделю барин давал большой обед, на котором бывали знаменитости всякого рода: академики, реакционные сенаторы, католические депутаты, будирующие священники, интригующие монахи, архиепископы... Выделялся один гость, за которым всегда особенно ухаживали – очень старый ассомизионист, лицемерный и язвительный господин, который всегда говорил очень злые и неприятные вещи с печальным и благочестивым видом... И везде, в каждой комнате висел портрет папы... Да, должно быть, недурных вещей насмотрелся Святой Отец в этом доме!

Мне барин не нравился. Что-то слишком многими делами он занимался и слишком многим людям он оказывал благодеяние! И то ведь знали только половину всего того, чем он занимался на самом деле. Во всяком случае, он был старым лицемером.

На второй день после моего поступления, когда я помогала ему в передней одевать пальто, он меня спросил:

– Состоите ли вы членом моего общества «общества служанок Иисуса?»

– Нет, барин!

– Нужно непременно вам быть там... Это необходимо... Я вас запишу.

– Благодарю вас, барин! Могу ли я у вас узнать, барин, что за общество?

– Прекрасное общество, которое принимает и дает у себя приют девушкам-матерям...

– Но, барин, ведь я не девушка-мать.

– Ничего не значит... Там принимают также женщин, выпущенных из тюрьмы... раскаявшихся проституток... там принимают разных женщин... Я вас запишу...

Он вынул из кармана несколько тщательно сложенных газет и, протянув их мне, сказал:

– Спрячьте это и прочтите, когда вы будете одни... Это очень любопытно...

Он взял меня за подбородок и, прищелкивая слегка языком, сказал:

– Она забавна, эта крошка, ей Богу, очень забавна...

Когда барин ушел, я развернула газеты, которые он мне оставил. Это были «Fin de Siecle»... «Rigolo»... «Les petites femmes de Paris». Какая грязь!..

Ах, эти буржуа! Какая вечная комедия! Я видела их много и различных, но, в общем, они все одинаковы... Так, например, я служила у одного депутата-республиканца. Он вечно нападал на духовенство, попов... И надо было видеть, с какой резкостью! Он не мог слышать слов «религия», «папа», «монахини». Если его послушать, то надо было бы разрушить все церкви, взорвать все монастыри... И что же? По воскресеньям он ходил украдкой к обедне в самые отдаленные приходы... При малейшем недомогании он звал священника, а дети его воспитывались все у иезуитов. Он ни за что не хотел помириться со своим братом, который венчался со своей женой только гражданским браком, а не в церкви... Все лицемеры, все подлы, все отвратительны, каждый в своем роде...

У госпожи де Тарв были свои благотворительные дела; она также председательствовала в религиозных комитетах, в филантропических обществах, устраивала продажи с благотворительной целью. Таким образом, она почти никогда не бывала дома, и все в доме шло само по себе.

Часто барыня возвращалась домой очень поздно черт знает откуда... Ее белье было в беспорядке, все тело пропитано совсем ей не свойственным посторонним запахом... О, они были мне знакомы, эти поздние возвращения; они сейчас же объяснили мне, какого рода благотворительными делами занималась моя хозяйка, и что делалось в ее комитетах... Но со мной она была очень мила... Никогда ни одного грубого слова. Ни одного выговора. Напротив... Она обращалась со мной дружески, почти по-товарищески, до такой степени, что иногда она забывала свое хозяйское достоинство, я – свое почтение перед ней и мы вместе болтали разные глупости... Она мне давала советы, как мне лучше устраивать мои маленькие дела, она поощряла мою кокетливость, натирала меня глицерином. Душила своими духами, мазала мои руки кольд-кремом, осыпала меня рисовой пудрой. И во время всей этой операции она повторяла:

– Видите ли, Мери, женщина должна за собой ухаживать, у нее должна быть белая и мягкая кожа... У вас красивое лицо, надо уметь его украсить... У вас прелестный бюст, надо, чтобы это было видно... У вас великолепные ноги, надо уметь их показать... Это приличнее...

Я была довольна... Все-таки в глубине души я не была спокойна, и во мне шевелились смутные подозрения. Я не могла забыть поразительных историй, которые мне рассказывали на кухне... Когда я там хвалила хозяйку и перечисляла все любезности, которые она мне оказывала, кухарка говорила:

– Да, да, подождите немножко... дождитесь конца... Она хочет, чтобы вы жили с ее сыном. Чтобы он ради этого больше сидел дома и чтобы это им стоило меньше денег этим скаредам... Она уже пробовала это с другими, не думайте... Она пробовала это даже со своими подругами... замужними женщинами, молодыми девушками, эта развратница!.. Только господину Ксавье это не нравится... Он предпочитает кокоток, этот мальчишка. Вы увидите, вы увидите...

И она прибавила с презрительным сожалением:

– Я на вашем месте заставила бы их раскошелиться немножко. Я бы стеснялась только, может быть.

Мне стало немножко стыдно перед моими товарищами по кухне. Но чтобы утешиться, я убедила себя, что кухарка просто завидует тому явному предпочтению, которое оказывала мне барыня.

Каждое утро в девять часов я входила в комнату господина Ксавье, чтобы поднять в ней шторы и подать ему чай. Странное дело... я всегда входила к нему в комнату с сильным

сердцебиением и боязнью. Долгое время он не обращал на меня никакого внимания. Я вертелась около него со всех сторон, приготовляла ему его вещи, туалет, стараясь быть любезной и показаться ему с самой лучшей стороны. Он же только жаловался мне недовольным и еще сонным голосом, что его слишком рано разбудили. Меня злило его равнодушие ко мне, и я удвоила свое молчаливое и изошренное кокетство. Каждый день я ожидала чего-то – и бесплодно... И это равнодушие господина Ксавье, это пренебрежение к моей особе раздражали меня в высшей степени. Что бы я сделала, если бы случилось то, чего я ожидала? Этого вопроса я себе не задавала. Но факт тот, что я хотела, чтобы это случилось... Господин Ксавье был действительно очень красивый юноша, еще красивее, чем на карточке. Тонкие белокурые усы обрисовывали лучше, чем на карточке, полные красные губы, которые как бы манили к поцелуям. Его светло-голубые глаза с золотистым блеском имели какое-то скрытое обаяние, во всех его движениях была лень, вялая и жестокая грация девушки или зверя. Он был высокого роста, строен, очень гибок, необыкновенно изящен, а испорченность и цинизм, которые чувствовались в нем, делали его еще привлекательнее. Независимо от того, что он мне понравился с первого дня и что я желала его ради него самого, его сопротивление или, вернее, его равнодушие сделали то, что это желание очень скоро превратилось в любовь.

Однажды утром я застала господина Ксавье уже вставшим с постели, с голыми ногами. На нем была, я помню, белая шелковая рубашка с голубыми горошинками. Одну ногу он держал на краю кровати, другую на ковре, от чего получилась поза вполне откровенная, но далеко не скромная. Я хотела уйти, но он меня позвал обратно:

– Что такое? Войди же! Разве ты меня боишься?.. Ты, значит, никогда не видела мужчины?

Он прикрыл свои ноги рубахой и, скрестивши обе руки на коленях, раскачиваясь всем телом, стал рассматривать меня долго, настойчиво, в то время как я гармоническими и медленными движениями, краснея немножко, ставила поднос с чаем на маленький столик возле камина. И как будто он действительно видел меня в первый раз, он мне сказал:

– Да ведь ты прелестная женщина! Сколько времени ты здесь служишь?

– Три недели, барин.

– Это великолепно!

– Что такое великолепно, барин?

– Великолепно то, что я до сих пор не заметил, что ты такая прелестная девушка!

Он спустил свои ноги на ковер, хлопнул себя по бедрам, которые были у него так же крупны и белы, как у женщины, и сказал мне:

– Поди сюда!

Я подошла, немножко взволнованная. Не говоря ни слова, он взял меня за талию и заставил сесть возле себя на краю постели.

– О, господин Ксавье! – прошептала я, слабо отбиваясь. – Оставьте, я вас прошу... Если бы ваши родители видели вас?

Тогда он начал смеяться.

– Мои родители... Ну, знаешь, я ими сыт по горло...

Это у него было любимое слово. Когда у него о чем-нибудь спрашивали, он отвечал: я этим сыт по горло. И всем он был сыт по горло.

Для того, чтобы отдалить немножко решительный момент, так как его руки скользили по моей кофточке все нетерпеливее и смелее, я спросила:

– Есть одна вещь, которая меня интригует, господин Ксавье... Почему вы никогда не присутствуете на обедах вашей матери?

– Знаешь, они мне скучны, обеды мамы.

– И как это случилось, что ваша комната единственная, в которой нет портрета папы?

Это замечание ему польстило. Он ответил:

– Ведь я анархист, дитя мое. Религия, иезуиты, священники... Ах, нет, я достаточно на них насмотрелся... Они мне надоели... Общество, составленное из таких людей, как мой отец и моя мать?.. Таких мне больше не надо!

Теперь я чувствовала себя хорошо с господином Ксавье... в котором я находила те же пороки, тот же жаргон, что у всех парижских шалопаев. Мне казалось, что я его знаю уже многие годы. В свою очередь он меня спросил:

– Скажи мне, ты в связи с моим отцом?

– С вашим отцом! – воскликнула я, притворяясь возмущенной. – Ах, господин Ксавье... с таким святым человеком?!

Его смех усилился:

– Папа!.. Ах! Папа! Но ведь он живет со всеми горничными в доме, мой отец. Это – его слабость, горничные. Только горничные и способны еще возбудить в нем желание! Значит, ты еще не сошла с моим отцом? Ты меня восхищаешь...

– Ах, нет, – возразила я, тоже смеясь... Пока он мне только приносит «Fin de siècle», «Gigolo», «Les petites femmes de Paris»...

Это его еще больше развеселило и, задыхаясь от смеха, он повторил:

– Нет, он великолепен, папа!

И, увлекшись, он начал рассказывать, все время смеясь:

– Это все равно как мать... Вчера она мне опять устроила сцену... Я их позорю, видишь ли, ее и отца... И, конечно, здесь говорилось и о религии, об обществе, обо всем! Это прелестно!.. Тогда я ей заявил: «Хорошо, моя дорогая мамочка, согласен, я исправлюсь... с того самого дня, когда ты откажешься иметь любовников». Что, хорошо сказано? Это заставило ее замолчать... Ах, нет, знаешь... я ими сыт по горло, моими дорогими родителями. Мне надоели все их штуки... А, кстати... Ты, конечно, знаешь Фюмо?

– Нет, господин Ксавье...

– Нет, ты, наверное, знаешь... Антим Фюмо?

– Но я вас уверяю...

– Такой, знаешь, толстый... совсем молодой... всегда красный... и очень-очень шикарный, у него самый красивый выезд в Париже... Ну, Фюмо, у которого три миллиона годового дохода... Тот, который с Тартелетт Кабри?.. Но ты его, наверно, знаешь...

– Но я вам говорю, что я его не знаю.

– Ты меня восхищаешь!.. Ведь все решительно его знают... Тот, у которого два месяца тому назад был еще известный процесс?.. И этого ты не знаешь?

– Совершенно не знаю, клянусь вам, господин Ксавье!

– Ну все равно, моя прелесть!.. Итак, я устроил хорошую штуку с Фюмо в прошлом году, очень хорошую. Угадай, какую? Ты не догадываешься?

– Каким образом я могу угадать, когда я его не знаю?

– Ну так слушай, дитя мое... Я свел Фюмо с моей матерью... честное слово... Недурно, что? И самое интересное то, что в течение двух месяцев он потратил на нее 300000! А сколько у него взял отец для своих благотворительных целей!.. Да, у них есть размах! Они это умеют!.. Не будь этих денег, был бы конец всему!.. Долги были ужасные, никто, даже священники не хотели больше давать денег... Что ты на все это скажешь?

– Я могу на это только одно сказать, что у вас странная манера говорить о своих родителях!

– Ну чего же ты хочешь, моя птичка... Я ведь анархист... Семья... я ею сыт по горло...

В это время он расстегнул мой корсаж – старый корсаж барыни, который мне был необыкновенно к лицу.

– О, господин Ксавье... господин Ксавье... вы маленький шалун... Это очень дурно.

Я попробовала для вида защищаться. Вдруг он тихонько закрыл мне рот своей рукой:

– Тише, молчи! – сказал он.

И опрокинув меня на кровать, он прошептал:

– О как от тебя хорошо пахнет, моя милая девочка, совсем как от мамы...

В это утро барыня была особенно мила со мной...

– Я очень довольна вашей службой, – сказала она мне. – Мери, я вам прибавляю десять франков жалованья...

Если каждый раз она мне будет прибавлять по десяти франков, подумала я, тогда это будет хорошо... Это прилично... Ах! когда я думаю обо всем этом!.. Я тоже всем этим сыта по горло.

Страсть или, вернее, прихоть господина Ксавье продолжалась недолго. Я ему скоро надоела. У меня, впрочем, никогда, и в самом начале его увлечения, не было власти удержать его дома. Много раз, входя по утрам в его комнату, я находила одеяло нетронутым и постель пустой.

Господин Ксавье не пришел ночью домой. Кухарка его знала хорошо и говорила правду, что «он предпочитает кокоток, этот ребенок». Он вернулся к своим старым привычкам, к своим обычным удовольствиям, к прежнему разврату... В эти утра у меня болезненно сжималось сердце и целый день мне было томительно-грустно!

Все несчастье заключалось в том, что у господина Ксавье отсутствовала душа...

Он не был так поэтичен, как господин Жорж. Вне самого «главного» я не существовала для него, и когда самое «главное» было совершено... я могла убираться... Он мне не оказывал ни малейшего внимания. Никогда он мне не сказал ни одного теплого, ласкового, милого слова, какие обыкновенно говорят влюбленные в романах и в драмах... Он, впрочем, не любил ничего из того, что любила я... Он не любил, например, цветов, кроме крупных гвоздик, которыми он украшал петлицу своего фрака.

А между тем это так приятно – не думать всегда об одной стороне любви, только чувственной! Шептать друг другу слова, которые ласкают сердце, обмениваться нежными, почти братскими поцелуями, смотреть друг другу подолгу в глаза... Но мужчины слишком грубые создания... они не понимают этих радостей, чистых, ясных радостей... И это очень жаль... Господин Ксавье знал только порок, удовольствие находил только в разврате... и в любви все, что не было пороком и развратом, было ему скучно...

– Ах нет, знаешь... это скучно... Мне надоела поэзия... голубые цветочки... оставим это отцу...

После того как он удовлетворял свою страсть, я сейчас же становилась для него безличным существом, прислугой, которой он отдавал приказания или с суровостью настоящего хозяина, или с циничной мальчишеской наглостью... Я становилась непосредственно из рабыни любви рабыней службы...

И он мне часто говорил с усмешкой в углах рта, с ужасной, язвительной усмешкой, которая меня оскорбляла, унижала:

– А отец? В самом деле ты еще не сошлась с отцом?.. Ты меня удивляешь...

Один раз я не могла больше скрыть своих слез... они меня душили. Господин Ксавье рассердился.

– Ах, нет... знаешь... Это уж слишком скучно... Слезы, сцены?.. Чтобы этого не было, моя дорогая, иначе до свиданья... Мне надоели эти глупости...

Я же наоборот... Когда я еще все трепещу от счастья и блаженства, я люблю удерживать в своих объятиях долго, долго того милого мне человека, который дал мне это блаженство... После лихорадки страсти у меня является непреодолимое желание чистого объятия, нежного поцелуя, который является уже не диким криком плоти, а нежной лаской души... Я стремлюсь уйти от ада любви, от бешенства страсти в рай искренних, очаровательных и молчаливых восторгов любви... Господину Ксавье надоели эти любовные восторги... Он

сейчас же вырывался из моих объятий, уклонялся от моих поцелуев, которые становились для него физически невыносимыми. Казалось, на самом деле, что мы соединяли только наши тела вместе, что никогда наши губы, наши души не сливались в одном крике, в одном чувстве блаженства и чудного забвения... И когда я хотела удержать его на своей груди – он вырывался из моих объятий, грубо меня отталкивал, вскакивал с кровати, говоря:

– Ах нет, знаешь, это скучно...

И закуривал папироску...

Я страшно страдала от того, что в его сердце не оставалось ни малейшего следа любви, нежности ко мне, несмотря на то, что я подчинялась всем капризам его пресыщенной развратности, что я заранее соглашалась, даже предупреждала все его желания и фантазии!.. И как он был испорчен, этот юнец!.. Хуже старика... изобретательнее и ужаснее в разврате, чем страдающий половым бессилием старик или самый развратный католический священник.

Все-таки мне кажется, я способна была любить этого маленького негодяя, я была бы ему предана, несмотря на все, как животное... Еще и сегодня я вспоминаю с сожалением его нахальную, жестокую и вместе с тем хорошенькую мордочку... его надушенную кожу... все то, что было ужасного и вместе с тем привлекательного и возбуждающего в его развращенности... И очень часто еще до сих пор я ощущаю на своих губах огонь его поцелуев, хотя они уже давно должны бы были быть стерты многими другими поцелуями... Ах, господин Ксавье... господин Ксавье!..

Однажды вечером перед обедом, когда он вернулся домой, чтобы переодеться – как он был очарователен во фраке! – когда я ему заботливо приготавливала все его вещи в его уборной, он мне сказал без всякого замешательства и без колебания, почти повелительным тоном, все равно, как если бы он попросил у меня горячей воды:

– Есть у тебя 5 луидоров? Мне необходимо иметь сегодня вечером 5 луидоров. Я тебе завтра их отдам...

Как раз утром барыня заплатила мне жалованье... Знает ли он об этом?

У меня есть только 90 франков, – ответила я, немножко сконфуженная как его просьбой, так и, кажется, главным образом тем, что у меня не было всей суммы, которую он просил.

– Это ничего не значит, – сказал он. Иди, принеси мне эти 90 франков... Я тебе их завтра отдам.

Он взял деньги и поблагодарил меня таким коротким и сухим «хорошо», что у меня сжалось сердце. Потом, протянувши грубым движением мне свою ногу, он сказал:

– Завяжи мне ботинки, только поскорее, я тороплюсь...

Я посмотрела на него печальными, умоляющими глазами:

– Значит, вы не обедаете дома сегодня вечером, господин Ксавье?

– Нет, я обедаю в гостях. Ну скорее...

Завязывая ему ботинки, я прошептала:

– Значит, вы опять будете развратничать с этими грязными мерзкими женщинами? И вы опять не придете домой?.. А я, я буду плакать всю ночь, опять... Это нехорошо с вашей стороны, господин Ксавье!

Его голос стал жестким, злым:

– Если ты одолжила мне эти 90 франков только затем, чтобы иметь право мне это сказать, то можешь взять их обратно... Возьми их...

– Нет, нет... – вздохнула я, – вы отлично знаете, что не поэтому...

– Ну хорошо, оставь же меня в покое!

Он скоро оделся и уехал, не поцеловав меня и не сказавши мне ни одного слова на прощанье.

На другой день и разговора не было об отдаче взятых у меня денег, а я не хотела их просить. Наоборот, сознание, что у него есть что-нибудь от меня, доставляло мне удовольствие... И я понимаю, что есть женщины, которые убиваются за работой, женщины, которые продают себя ночью на улице всякому прохожему, женщины, которые крадут, убивают... и все это для того, чтобы добыть деньги и доставить удовольствие любимому человеку. И так чувствовала и я тогда, например... Было ли это на самом деле, так, как я теперь описываю? Увы, я ничего не знаю... Но есть моменты, когда я чувствую себя перед мужчиной такой мягкой, слабой, безвольной и такой глупой... ах, да... такой глупой!..

Барыня не замедлила изменить свое обращение со мною... Из милой и любезной, какой она была со мной до сих пор, она стала жесткой, требовательной, раздражительной... И я стала уже и глупой... Я никогда ничего, хорошо не делала... Я стала неловкой, грязной, плохо воспитанной, забывчивой, даже воровкой... И ее тон, такой мягкий, дружеский в начале, стал теперь резким и язвительным. Приказания она мне отдавала зло, унижительно... Кончились подарки, кольд-крем, рисовая пудра, доверительные беседы, интимные советы, такие странные, что в первые дни я спрашивала себя, да и теперь еще, нет ли у моей хозяйки противоестественных наклонностей... Кончена эта двусмысленная нечистая дружба, в которой, я хорошо это чувствовала, не было ни капли доброты и благодаря которой я потеряла уважение к моей хозяйке, приблизившей меня к себе настолько, что я ясно видела всю ее порочность и испорченность... И я стала груба с ней под влиянием всех явных и скрытых мерзостей этого дома. Дошло до того, что мы стали ссориться, как торговки, ругаясь самым грубым и грязным образом...

– За что вы принимаете мой дом? – кричала она... – Разве вы находитесь у публичной женщины?

Нет, как вам нравится эта дерзость?! Я отвечала:

– Он хорош, ваш дом... Вы можете им похвастать... А вы сами?.. Вы тоже хороши... А барин? О-о, ведь вас знают во всем квартале, во всем Париже! Везде говорят одно и то же о вашем доме... что это – публичный дом... И то... еще есть публичные дома, которые не так грязны и мерзки, как ваш дом...

Эти ссоры доходили до самых ужасных оскорблений, до самых пугающих угроз; это был словарь публичных домов и его обитательниц!.. И вдруг все эти сцены кончились, все успокоилось... Господин Ксавье опять вернулся ко мне, увы, ненадолго... Тогда возобновилась старая двусмысленная дружба; возобновилось постыдное сообщничество, подарки, обещания удвоить жалованье, всякие косметические советы, посвящение в тайны самых утонченных духов... Барыня, точно по термометру, меняла свое поведение со мной соответственно с отношением ко мне господина Ксавье. Ее доброта следовала непосредственно за его ласками: холодность сына сопровождалась грубостью матери... Я была жертвой мучающих меня колебаний перемежающейся любви этого капризного и бессердечного мальчика... Можно было подумать, что барыня шпионит за нами, подслушивает у двери, так хорошо она знала все фазы, через которые проходили наши отношения... Но нет... В ней просто был силен порочный инстинкт, вот и все... Она чуяла порок сквозь стены, она угадывала его в людских душах... Так охотничья собака чует в воздухе отдаленный запах дичи...

Что касается барина, то он продолжал порхать посреди всех этих событий, всех этих скрытых домашних драм, всегда живой, веселый, очень занятый делами, циничный и забавный. По утрам он исчезал из дому со своим вечно розовым чисто выбритым лицом, своими бумагами и портфелями, наполненными благочестивыми, душеспасительными брошюрами и скабрёзными газетами. По вечерам он опять появлялся, полный почтения к своей собственной особе, во всеоружии христианского социализма.

С замедленной походкой, с более округленными мягкими жестами, со слегка согнутой спиной – согнутой, без сомнения, под бременем добрых дел, совершенных им за день... Аккуратно, каждую пятницу повторялась почти без вариантов одна и та же забавная сцена.

– Что здесь есть? – спрашивал он меня, указывая на свой портфель.

– Гадости... – отвечала я со смехом.

Ну нет, просто забавные штуки...

И он мне их давал, поджидая, очевидно, подходящего момента, когда я буду хорошо подготовлена для объяснения. Пока же он довольствовался тем, что улыбался мне с плутовским видом, брал меня за подбородок и говорил, облизываясь:

– Прелесть, что за девочка!

Не отнимая надежды у барина, я забавлялась его маневрами и обещала себе воспользоваться первым же подходящим случаем, чтобы указать ему его место и проучить его хорошенько.

Однажды после обеда я была очень удивлена, когда в комнату, где я сидела за починкой белья, вошел барин. Я была одна и очень грустно настроена. Утром произошла тяжелая сцена с господином Ксавье, и впечатление о ней у меня еще далеко не изгладилось. Барин тихо притворил дверь, положил свой портфель на большой стол возле кучи сложенных простынь и, подойдя ко мне, взял мои руки и стал их гладить. Под полуопущенными веками его глаза блестели, как у старой курицы, нежащейся на солнце. Можно было умереть со смеху, глядя на него.

– Селестина, – сказал он... – мне больше нравится называть вас Селестина... это вас не оскорбляет?

Мне стоило большого труда не расхохотаться.

– Конечно нет, барин, – отвечала я, держась настороже.

– Итак, Селестина, я вас назову очаровательной... вот что!

– В самом деле, барин?

– Божественной даже... божественной... божественной!..

– О, барин!

Его пальцы оставили мою руку. Они придвинулись к моему корсажу, полные желаний. Потом он стал ласкать мою шею, подбородок, затылок мягкими, тихими, щекочущими движениями.

– Божественна... божественна!.. – шептал он.

Он хотел меня поцеловать. Я немножко отодвинулась, чтобы избежать этого поцелуя.

– Оставайтесь, Селестина... я вас прошу... я тебя прошу... Это тебя не обижает, что я говорю тебе ты?

– Нет, барин, но это меня удивляет...

– Это тебя удивляет, маленькая плутовка? Так это тебя удивляет? Ах, ты меня не знаешь!..

Его голос не был уже сух. На губах у него показалась слюна...

– Послушай меня, Селестина. На будущей неделе я еду в Лурд... Да, я еду туда с помощниками... Хочешь ли ты поехать в Лурд?.. Я могу повезти тебя туда! Хочешь ли ты поехать? Никто ничего не будет знать... Ты будешь жить в гостинице, ты будешь там гулять, будешь делать все, что захочешь. А я по вечерам буду приходить в твою комнату... в твою комнату, к тебе в кровать, маленькая плутовка! А, ты меня еще не знаешь... ты не знаешь всего того, что я в состоянии делать... С опытом старика я соединяю пыл и страсть молодого человека... Ты увидишь, ты увидишь... Что за плутовские глаза!

Меня страшно поразило не предложение само по себе – я его ожидала уже давно – меня поразила непредвиденная форма, в которой оно было сделано. Между тем я сохранила полное хладнокровие. И желая унижить этого старого сластолюбца и показать, что ни ему,

ни его жене не удалось меня одурачить своими грязными планами и расчетами, я бросила ему прямо в лицо следующие слова:

– А господин Ксавье? Мне кажется, что вы забыли о господине Ксавье? Что же он будет делать в то время, когда мы с вами будем наслаждаться в Лурде на деньги добрых христиан?

Скрытый, мрачный свет... взгляд пойманного зверя загорелся в глубине его глаз. Он пробормотал:

– Господин Ксавье?

– Ну да!

– Зачем вы говорите мне о господине Ксавье?.. Тут дело совершенно не в господине Ксавье!.. Господин Ксавье здесь ни при чем...

Я удвоила свою дерзость...

– Честное слово? Ну не прикидывайтесь же дураком... Ведь наняли же меня, да или нет, чтобы я жила с господином Ксавье?.. Да, ведь так? Ну хорошо, я и живу с ним... Но вы?.. Э, нет!.. Это не было условлено... А потом, знаете что, мой милый папаша, вы не в моем вкусе...

И я расхохоталась ему прямо в лицо.

Он весь побагровел, глаза его метали молнии от гнева. Но он счел неосторожным затевать со мной ссору, для которой я была так прекрасно вооружена. Он быстро забрал свой портфель и убежал, преследуемый моим хохотом.

На другой день барин сделал мне по поводу какого-то пустяка грубое замечание. Я вспылела... Барыня вмешалась... Я обезумела от гнева... Сцена, которая произошла затем между нами тремя, была как ужасна, так гнусна, что я отказываюсь ее описать. Я им бросила в лицо в непередаваемых выражениях все их подлости, все их мерзости, я требовала от них денег, которые одолжил у меня господин Ксавье. Они задыхались от злости. Я схватила подушку и с силой швырнула ее в голову барину.

– Убирайтесь вон!.. Уходите отсюда сейчас же, сейчас же, – ревела барыня. – Иначе я вам выпарапаю глаза своими собственными руками...

– Я вас исключаю из моего общества. Вы больше не член моего общества, потерянная женщина, проститутка! – кричал барин, стуча кулаками по своему портфелю.

В конце концов барыня не заплатила мне за неделю жалованья, отказалась возратить девяносто франков, взятые господином Ксавье, заставила меня отдать ей все тряпки, которые она подарила...

– Вы все воры, вы все мерзавцы! – кричала я.

Я ушла, угрожая им полицией и мировым судьей.

– Вы этого хотите, – кричала я. – Ну хорошо, встретимся там, шайка мошенников!

Увы, полицейский комиссар сказал мне, что это его не касается. Мировой судья посоветовал мне замять дело. Он мне объяснил:

– Во-первых, барышня, вам не поверят... Потом заметьте себе хорошенько... Что стало бы с обществом, если бы слуги получили возможность отстаивать свои права против своих господ? Не было бы больше общества, барышня!.. Была бы анархия... Я посоветовалась с адвокатом: он с меня запросил 200 франков за ведение дела. Я написала господину Ксавье; он мне не ответил. Тогда я сосчитала свои наличные ресурсы... У меня осталось три с половиной франка и...

Глава тринадцатая

13 ноября.

Я вижу себя опять в Нелли, у сестер в общине Скорбящей Божьей Матери. Это нечто вроде убежища и в то же время бюро для найма женской прислуги. Это прекрасное заведение с белым фасадом расположено в глубине большого сада. В саду, в котором через каждые 50 шагов стоят статуи Святой Девы, находится маленькая, совсем новая и очень красивая часовня, построенная на собранные деньги. Она окружена большими деревьями. И каждый час звонят колокола...

А это так приятно – слышать звон колоколов: он будит в сердце забытые и такие старые воспоминания!.. Когда звонят колокола, я закрываю глаза, я слушаю и вижу картины, которых я, может быть, никогда не видела, но которые я все-таки узнаю, картины, полные воспоминаний детства и юности, и поля... и степи... и песчаные берега – и идущую праздничную толпу... Динь... динь... динь... Это не весело... Это совсем не весело... Это даже грустно... грустно, как грустна любовь.... Но я люблю это – в Париже слышишь только оглушительные гудки конок.

У сестер общины Скорбящей Божьей Матери мы жили в мансардах под самой крышей; кормили нас очень скудно, скверным мясом и испорченными овощами, а платили мы учреждению по 25 су в день. То есть сестры удерживают, когда вас помещают на место, эти 25 су из вашего жалованья... А называется это у сестер бесплатным помещением на места... А сверх этого приходится работать с 6 часов утра до 9 часов вечера, как содержащимся в работных домах... Никогда нельзя выходить из дома... Вместо отдыха – религиозные упражнения... Да! Они не остаются внакладе, добрые сестры, и их благотворительность – очень выгодное дело.

Но вот я... я буду дурой всю мою жизнь...

Суровые уроки жизни, несчастья не послужили мне ни к чему, не научили меня ничему... Это по виду только я кричу, я возмущаюсь, а в конце концов меня эксплуатируют все и повсюду... мною вертят все...

Несколько раз подруги мне говорили о сестрах общины Скорбящей Божьей Матери:

– Да, дорогая, говорят, что туда приезжает только знать... графини, маркизы... Оттуда можно попасть на великолепное место.

Я поверила этому... И кроме того, в моем бедственном положении я вспомнила с нежностью – глупая я – о счастливых годах, проведенных мною у милых сестер Пон-Круа. Впрочем, ведь нужно же было куда-нибудь деваться. А когда нет в кармане ни копейки, то очень выбирать не приходится...

Когда я пришла в общину, там было уже около сорока служанок... Многие приехали издалека, из Британии, Эльзаса, с юга, нигде еще не служили, неловкие, неуклюжие, с бледными лицами, с угрюмым, замкнутым видом и особенным выражением глаз, которые старались проникнуть через монастырские стены и увидеть открывающийся им там, далеко, Париж. Другие, более опытные, только что ушли с мест, как я.

Сестры спросили у меня, откуда я пришла, что я умею делать, есть ли у меня хорошие аттестаты, есть ли у меня деньги. Я им рассказала разные небылицы, и они приняли меня без дальнейших расспросов, говоря:

– О, дорогое дитя!.. Мы вам найдем хорошее место.

Мы все были их «дорогими детьми».

А в ожидании этого обещанного «хорошего места» всякая из нас была занята какой-нибудь работой сообразно со своими способностями. Одни работали на кухне и по хозяйству,

другие – в саду, копали землю, как землекопы... Меня сейчас же приставили к шитью, так как у меня были, по словам сестры Бонифации, гибкие пальцы и изящная наружность. Для начала мне дали починить брюки нашего священника и кальсоны одного капуцина, который в это время проповедовал в часовне... Ах, эти брюки!.. Ах, эти кальсоны!.. Я вас уверяю, что они совсем не были похожи на брюки и кальсоны господина Ксавье! После этого мне дали менее духовную работу, а, наоборот, совсем светскую – шить тонкое и изящное белье, и тогда я снова очутилась в своей сфере... Я принимала участие в приготовлении элегантных свадебных приданных, роскошных приданных для новорожденных, которые богатые дамы-благотворительницы заказывали этому учреждению.

В самом начале моей жизни там после стольких потрясений, несмотря на скверную пищу, на брюки священника, на недостаток свободы, несмотря на то, что чувствовала, как меня здесь эксплуатировали, я наслаждалась окружающей тишиной и покоем... Я старалась не думать, не рассуждать много... Во мне явилось желание молиться. Угрызения совести или, вернее, усталость от моего прежнего поведения вызвали во мне горячее раскаяние... Несколько раз подряд я исповедовалась перед священником, перед тем самым, которому я починяла грязные брюки, что невольно вызывало во мне, несмотря на всю искренность моего благочестия, непочтительные и шаловливые мысли... Этот священник был забавный кругленький розовый человечек с грубоватым голосом и языком, и от него пахло всегда старой овчиной. Он мне задавал странные вопросы и настаивал главным образом на том, какого рода книги надо читать.

– Арман Сильвестр?.. Это, вероятно, гадости... Но это не опасно... Только вот чего нельзя читать – нечестивых книг!.. Книг, которые направлены против религии... вот, например, Вольтер... Боже вас сохрани... Этого никогда не читайте... Ни Вольтера – это смертный грех... Ни Ренана, ни Анатоля Франса... Вот что опасно...

– А Поль Бурже, мой отец?..

– Поль Бурже!.. Он вступает на хорошую дорогу... Я не говорю нет, я не говорю нет... Но его католицизм еще недостаточно искренен, нет еще; во всяком случае он какой-то смешанный у него... Ваш Поль Бурже на меня производит впечатление умывальной чашки... да, умывальной чашки, где мылся бог знает кто и мыли бог знает что и где плавают среди мыльной пены волосы и рядом с ними маслины с Голгофы. Нужно еще подождать... Вот Гюйсманс... он резок... черт возьми, он очень резок... но он правверный католик...

И еще говорил он мне следующее:

– А вы грешите телесно... это нехорошо, Боже мой!.. Это, конечно, скверно... Но если уже грешить, то уже лучше со своими господами, когда это благочестивые люди... чем грешить одной или с равными себе людьми... Тогда это не такой большой грех... это меньше сердит Господа Бога...

Когда я ему назвала господина Ксавье и его отца, он воскликнул:

– Пожалуйста, без имен... я у вас не спрашиваю имен, не называйте мне никогда имен... я не полицейский... И кроме того, вы назвали мне богатых и уважаемых людей... очень религиозных людей... следовательно, вы во всем виноваты... вы восстаете против нравственности и общества.

Эти смешные разговоры и особенно эти брюки, такие противные, воспоминание о которых не изглаживалось в моей памяти, несмотря на все мои старания, значительно охладили мое религиозное усердие и пыл моего раскаяния. Работа также меня раздражала. И я тосковала по своим прежним занятиям. У меня явилось нетерпеливое желание убежать из этой тюрьмы, вернуться к милым тайнам туалетных комнат и уборных. Я скучала по комодам, полным пахучего белья, по шкафам, где пышно возвышается тафта, где шуршат шелк и бархат, которые так приятно трогать руками... и по ваннам, в которых я душистым мылом обмывала белое тело. А затем разные истории, которые рассказываются на кухне, непред-

виденные приключения по вечерам на лестнице и в комнатах!.. Вот что странно: когда я на месте, все эти вещи мне противны; когда я без места, их мне недостает. И устала я также, страшно устала... И надоело мне есть в продолжение недели все одно и то же варенье из испорченного, прокисшего крыжовника, который добрые сестры покупали на рынке в Лева-луа. Все, что эти святые женщины могли, они покупали на грязных базарных телегах – и все это было достаточно хорошо для нас...

Что меня окончательно возмутило – это было то очевидное и постепенное бесстыдство, с которым нас эксплуатировали.

Их расчет был простой, и они его почти не скрывали. Они помещали на места только тех девушек, которые не могли быть им лично полезны чем-нибудь. Тех же, от которых они могли иметь хоть какую-нибудь выгоду, они оставляли у себя узницами, эксплуатируя их таланты, силы, наивность. Стоя на высоте христианского милосердия, они нашли средство иметь служанок, работниц, которые им еще платили и у которых они отбирали без всяких угрызений совести, с невообразимым цинизмом их скромные средства, их маленькие сбережения, помимо того, что они зарабатывали на их работе... А расходы шли своим чередом.

Сначала я жаловалась тихо, а потом более резко на то, что они ни разу не позвали меня в залу, где происходили переговоры с нанимателями. Но на все мои жалобы они всегда отвечали, эти святые лицемерки:

– Немножко терпения, дорогое дитя... Мы думаем о вас, дорогое дитя... И мы ищем для вас особенного, исключительного места. Мы знаем, что вам подходит. Но до сих пор еще не представилось ни одного такого места, какого мы хотим для вас, какого вы заслуживаете.

Проходили дни, недели; все еще не находилось хорошего, исключительно хорошего места для меня... А счет мой за содержание у сестер все увеличивался...

Несмотря на то, что в дортуаре, где мы все спали, была надзирательница, там происходили каждую ночь ужасные вещи. Как только надзирательница кончала свой обход и все казалось заснувшим, начинали скользить по комнате белые тени, которые скрывались затем в кроватях за спущенными занавесками... И оттуда слышны были шум заглушённых поцелуев, тихий смех, шепот... О, они не стеснялись, мои товарки... При смутном и дрожащем свете лампы, висевшей посередине потолка в дортуаре, я видела много раз сцены дикого, ужасного разврата...

Благочестивые сестры – эти святые женщины – закрывали глаза, чтобы ничего не видеть, затыкали себе уши, чтобы ничего не слышать... Не желая скандала у себя – так как они принуждены были бы выгнать виновных, – они терпели эти ужасы, делая вид, что ничего не знают...

К счастью, в самое грустное для меня время у меня явилась большая радость: в это заведение поступила одна моя подруга, Клеманс, которую я называла Клэ-Клэ и с которой я когда-то познакомилась на одном месте, на Университетской улице... Клэ-Клэ была очаровательна: вся белокурая, вся розовая... и необыкновенно живая и веселая...

Она смеялась над всем, примирялась со всем, всюду чувствовала себя хорошо. Добрая и преданная по характеру, она любила больше всего оказывать всем услуги. Испорченная до мозга костей, она не была противна своей порочностью, потому что была наивна, весела, непосредственна. Порок к ней шел, как цветы к растению, как вишни к вишневому дереву. Ее милое птичье щебетанье заставило забыть меня на несколько дней мои неприятности, успокоило на время мое возмущение. Так как наши кровати стояли рядом, то мы стали спать вместе со второй же ночи. А затем... может быть, пример окружающих, а может быть, также желание удовлетворить, наконец, любопытство, которое уже давно бродило в моей голове... Это, впрочем, была страсть Клэ-Клэ... с тех пор, как она была развращена 4 года тому назад одной из своих хозяек, женой генерала.

Однажды ночью, когда мы спали вместе, она рассказала мне тихим голосом, забавно шепча, про место, с которого она только что ушла, у одного судьи в Версале.

– Представь себе, в доме были только животные... кошки, три попугая... одна обезьяна... две собаки... И нужно было за всеми ими ухаживать... И чего только мне не давали... Нас кормили старыми, разогретыми остатками: им же давали птицу, крем, пирожное и эвьянскую воду, моя дорогая... Да, они пили только эвьянскую воду, эти грязные животные, потому что в это время в Версале свирепствовала тифозная эпидемия... А в эту зиму хозяйка имела нахальство взять печку из моей комнаты и поставить ее в комнату, где спали собаки и обезьяна... И таким образом, ты же понимаешь, как я их всех ненавидела, этих животных, особенно одну собаку... противную старую моську, которая всегда пряталась под мои юбки, хотя я всегда отталкивала ее пинками ноги... На днях утром хозяйка увидела, как я ее колотила... Ты понимаешь, какая сцена произошла... Она меня вышвырнула в пять минут... Если бы ты знала, моя дорогая, какой там был пес один...

И, заглушая свой смех на моей груди, она закончила:

– И знаешь... у этого пса были страсти, как у мужчины...

Нет! эта Клэ-Клэ, как она мила и забавна!.. Нельзя себе и представить тех неприятностей, которые приходится переживать прислугам, той ужасной и постоянной эксплуатации, которая вечно висит над ними. Их эксплуатируют все: и хозяева, и посредники, устраивающие их на местах, и благотворительные учреждения, уже не говоря о собственных товарищах, так как и между ними попадают достаточно подлые. И никто не интересуется друг другом. Каждый живет, жиреет, наслаждается за счет несчастья другого, более бедного, чем он сам. Сцены и декорации меняются: меняется социальная среда, но страсти и аппетиты везде остаются те же. В скромной мещанской квартире так же, как и в роскошном отеле банкира, вы неизбежно натолкнетесь на грязь и мерзость. И из всего этого следует, что такая девушка, как я, заранее обречена на падение, куда бы она ни пошла и что бы она ни предприняла. Говорят, что не существует больше рабства. Какая это неправда... А слуги? Что же они такое, как не рабы? Рабы на деле, со всем тем, что приносит с собой рабство, нравственной низостью, неизбежной испорченностью, порождающими возмущение и ненависть... Слуги перенимают пороки у своих господ. Поступая на службу чистыми и наивными – есть же такие, – они очень скоро портятся, соприкасаясь с развращенными нравами своих господ. Ведь видишь, дышишь, ощущаешь кругом только порок... Так они и привыкают к нему с каждым днем, с каждой минутой, не имея против него никакой защиты, будучи обязаны, наоборот, служить ему, пестовать его, уважать. И возмущение является оттого, что они не могут удовлетворить его, не могут разорвать тех оков, которые мешают его естественному проявлению. О, это удивительно... От нас требуют добродетелей, покорности, жертв, героизма и только тех пороков, которые льстят тщеславию наших господ и выгодны им: и все это за презрительное отношение и за жалованье, которое колеблется между 35 и 90 франками в месяц... Нет, это слишком! Прибавьте к этому, что мы живем и постоянной борьбе, в постоянном страхе, между эфемерной полуроскошью нашей службы и перспективой завтра же очутиться в нужде, без места, на улице, что мы живем с постоянным сознанием оскорбительной подозрительности, которая преследует нас повсюду, которая повсюду закрывает перед нами двери, запирает ящики на тройные замки, делает пометки на бутылках, наклеивает номера, считает печенья и сливы, и что по нашим рукам, нашим карманам и сундукам скользят беспрестанно полицейские взгляды наших хозяев. Потому что ведь нет двери, нет шкафа, нет ящика, нет бутылки, нет ни одного предмета, который не кричит нам: воровка, воровка, воровка! Прибавьте еще к этому постоянную горечь, порождаемую страшным неравенством, этим ужасным неравномерным распределением житейских благ, которое, несмотря на фамильярности, на улыбки и подарки, вырывает между нами и нашими господами непроходимую пропасть, создает целый мир глухой ненависти, скрытой зависти, будущей мести... нера-

венством, которое с каждой минутой становится чувствительнее и унижительнее благодаря капризам или даже доброте этих бессердечных, не имеющих никакого чувства справедливости существ, какими всегда являются богатые... Подумали ли вы хоть одну минуту о том, какое чувство смертельной и вполне законной ненависти, доходящей до желания убить тут же на месте, да, убить, испытываем мы, когда хозяева наши, желая выразить что-нибудь низкое, бесчестное, говорят в нашем присутствии с отвращением, как будто бы мы составляем совсем отдельную породу людей: «У него лакейская душа... Это лакейское чувство»... Какими же мы должны делаться в том аду?..

Или они думают, в самом деле, что я не предпочла бы носить красивые платья, кататься в роскошных каретах, наслаждаться с любовниками и держать также слуг? Они нам говорят о преданности, о честности, о верности...

Однажды, это было на Комбонской улице... и было же у меня мест, слава тебе, Господи, – господа выдавали замуж свою дочь. Они давали большой бал, и невеста получила кучу подарков, которые заполнили бы целый воз для перевозки мебели. Я спросила у Баптиста, лакея, в шутку, конечно:

– А вы, Баптист... А ваш подарок?

– Мой подарок? – переспросил он, пожав плечами.

– Да... назовите его!

– Банка керосина, который я зажег бы у них под кроватью... Вот мой подарок!

Это был хороший ответ. Впрочем, этот Баптист был человеком, сильно интересующимся политикой.

– А ваш подарок, Селестина? – спросил он меня в свою очередь.

– Мой?

Я придала своим пальцам вид когтей и сделала жест, как будто собиралась вцепиться в чье-нибудь лицо.

– Вот – выцарапала бы ей глаза! – ответила я.

Метрдотель, которого никто ни о чем не спрашивал и который осторожно укладывал цветы и фрукты в хрустальную вазу, сказал спокойным тоном:

– А я удовольствовался бы тем, что залил бы им их рожи в церкви бутылкой хорошей серной кислоты...

И он воткнул розу между двумя грушами.

Ах, да, любить их!.. Что меня удивляет, так это только то, что подобные катастрофы не случаются чаще. Когда я думаю о том, что кухарка каждый день держит в руках жизнь своих господ... щепотку мышьяку вместо соли... немножко стрихнину вместо уксуса и – готово! А, как видите, этого нет. У нас, должно быть, все-таки рабство в крови!..

Я не образованна и пишу то, что думаю и что мне приходится видеть... Ну так я вам говорю, что все это нехорошо... Я говорю, что с того момента, когда кто-нибудь берет в свой дом прислугу, кто бы она ни была, он должен относиться к ней хорошо, бережно, покровительствовать ей. Я говорю также, что если хозяева так не поступают, мы имеем право брать все, имеем право посягать на их сундуки, даже на их жизнь...

Ну и довольно на этот раз, напрасно я думаю обо всех этих вещах, от которых у меня начинает болеть голова и становится скверно на душе... Я возвращаюсь к моему рассказу.

Мне стоило большого труда уйти из обители, от сестер Скорбящей Божьей Матери. Несмотря на любовь Клэ-Клэ и на то, что эта любовь давала мне новые и очень приятные ощущения, я чувствовала, что я старею в этом учреждении, и я очень стосковалась по свободе. Когда честные сестры поняли, что я твердо решила уехать, они стали предлагать мне массу мест... Все места стали вдруг хороши и как раз подходящи для меня. Но я не всегда тупа и понимаю плутни – и потому я от всех этих мест отказывалась; в каждом месте находила что-нибудь, что мне не подходило... Надо было видеть их физиономии, этих святых

женщин... Это было комично... Они рассчитывали, что поместивши меня у каких-нибудь старых ханжей, они с лихвой смогут вернуть себе расходы по моему содержанию из моего жалования, конечно... А я наслаждалась тем, что я теперь получила возможность в свою очередь надуть их.

Однажды я сообщила сестре Бонифации, что намерена уехать сегодня же вечером. У нее хватило дерзости сказать мне, подымая руки к небу:

– Но, мое дорогое дитя, это невозможно...

– Как невозможно?..

– Дорогое дитя, вы не можете оставить этот дом таким образом. Вы нам должны больше 70 франков... Вы должны нам сначала заплатить эти семьдесят франков.

– Чем же я вам заплачу? – возразила я. – Ведь у меня нет ни гроша... Вы можете меня обыскать...

Сестра Бонифация бросила на меня взгляд, полный ненависти, а потом сказала строго и с достоинством:

– Но знаете ли вы, сударыня, что это воровство? А обкрадывать таких бедных женщин, как мы, это больше, чем воровство... это святотатство, за которое вас накажет Бог... Подумайте об этом.

Тогда я вспыхнула от злости:

– Скажите, пожалуйста! – закричала я. – Кто здесь кого обкрадывает, это еще вопрос...

Вы положительно восхитительны, милые сестрицы!

– Я вам запрещаю говорить со мной таким образом...

– Ах, да перестаньте же пожалуйста! Как?.. Работают для вас, работают, как животные, с утра до вечера, зарабатывают для вас огромные деньги... Кормите вы нас такой пищей, от которой собаки бы отказались... И кроме всего этого вам следует еще платить!.. Да!.. Вы ничем не брезгуете...

Сестра Бонифация страшно побледнела... Я чувствовала, что с ее губ готовы были сорваться ужасные, грубые ругательства... Но она не посмела их произнести и пробормотала:

– Замолчите!.. Вы девушка без стыда, без религии... Бог вас накажет... Уезжайте, если хотите, мы задержим ваши вещи...

Я выпрямилась перед ней во весь рост и в вызывающей позе, смотря ей прямо в глаза, сказала:

– Ну мы еще это посмотрим... Попробуйте только задержать мои вещи... и вы сейчас же увидите у себя полицейского комиссара. И если религия состоит в том, чтобы починять грязные брюки вашим священникам, красть хлеб у бедных девушек, закрывать глаза на все те ужасы, которые творятся каждую ночь в нашем дортуаре...

Добрая сестра помертвела. Она попробовала заглушить своим криком мой голос:

– Вы ничего не знаете о тех мерзостях, которые творятся каждую ночь в вашем дортуаре?! Посмейте мне это сказать в лицо, прямо глядя мне в глаза, что вы этого не знаете? Вы их поощряете, потому что они вам приносят доходы!..

И, вся дрожа, задышавшись, с пересохшим горлом, я закончила свою обвинительную речь:

– Если религия состоит в том, чтобы устраивать из этой общины тюрьму и публичный дом, ну так хорошо, с меня довольно вашей религии... Мои вещи, слышите! Я хочу получить мои вещи... вы сейчас отдадите мне мои вещи.

Сестра Бонифация испугалась.

– Я не хочу спорить с потерянной женщиной, – сказала она с достоинством. – Хорошо, вы уедете...

– С моими вещами?

– С вашими вещами.

Ну и пришлось же мне потрудиться, чтобы получить свои вещи... Хуже, чем на таможне...

Я действительно уехала в тот же вечер. Клэ-Клэ, которая была очень мила со мной при прощании и имела маленькие сбережения, одолжила мне двадцать франков. Я наняла комнату на Сурдьерской улице. И я пошла в театр у Сент-Мартинских ворот. Там играли «Двух подростков». Как это похоже, ведь это почти моя история!

Я провела там восхитительный вечер, и я плакала, плакала, плакала...

Глава четырнадцатая

18 ноября.

Роза умерла. Решительно, несчастье преследует дом капитана. Бедный капитан!.. Его хорек околел, Бурбаки умер, а теперь пришел черед и Розе умереть!.. Она была больна уже несколько дней; болезнь ее неожиданно осложнилась воспалением легких, от которого она и умерла третьего дня вечером. Сегодня утром ее похоронили... Из окон я видела погребальное шествие... Тяжелый гроб, который несли на руках шесть человек, был весь покрыт венками и букетами из белых цветов, как фоб молодой девушки. Значительная толпа – весь Мениль-Руа – в трауре и болтая между собой, следовала за капитаном Може, который, туго затянутый в форменный военный сюртук, шел за гробом. И далекий звон церковных колоколов вторил звуку маленьких колокольчиков, которыми звонил церковный служака.

Барыня предупредила меня, чтобы я не смела идти на похороны. Я, впрочем, и не имела никакого желания пойти. Я не любила эту толстую злую женщину и отнеслась очень спокойно и равнодушно к ее смерти. Все-таки мне, может быть, будет недоставать Розы, и иногда я пожалею, может быть, что не буду больше встречать ее на улице... Но какое волнение происходит, должно быть, по этому поводу в лавке!..

Мне интересно было знать, какое впечатление произвела на капитана эта внезапная смерть. И так как мои хозяева уехали в гости, то я пошла пройтись после обеда в сад и подошла к забору. В саду у капитана пустынно и печально... Воткнутая в землю лопата свидетельствует о заброшенной работе. Капитан не выйдет, вероятно, в сад, говорила я себе. Он плачет, убитый горем, в своей комнате, среди воспоминаний... И вдруг я его увидела. На нем нет уже его красивого, парадного сюртука, на нем опять его рабочее платье, старая фуражка на голове, и... он с увлечением разбрасывает навоз по своим грядкам... Я слышу даже, как он тихо напевает какой-то марш. Он оставляет свою тачку и подходит ко мне с вилами на плечах.

– Я очень рад видеть вас, мадемуазель Селестина, – сказал он мне.

Я хотела бы его утешить или пожалеть... Я ищу слов, фраз... Но подите, найдите какие-нибудь подходящие для этого слова перед такой комичной физиономией. Я довольствуюсь тем, что говорю:

– Большое несчастье, господин капитан, большое несчастье для вас. Бедная Роза!

– Да, да, – отвечал он тихо.

Его лицо не выражает ничего. Его жесты неопределенны... Он прибавляет, втыкая вилы в мягкую землю возле забора:

– Тем более что я не могу же оставаться один...

Я перечисляю домашние добродетели Розы:

– Вам не легко будет найти ей замену, капитан.

Положительно, он совсем не расстроен. Можно было бы даже сказать, глядя на его вдруг оживившиеся глаза, на его движения, которые стали как будто быстрее и живее, что он освободился от большой тяжести.

– Ба! – говорит он после короткого молчания. – Все на свете можно заменить...

Эта философия покорности перед совершившимся меня удивляет и даже немножко возмущает. Я пытаюсь, чтобы немножко позабавиться, дать ему понять, что он потерял в Розе.

– Она знала так хорошо ваши привычки, ваши вкусы, ваши прихоти... Она была вам так предана!..

– Было бы недурно, если бы еще этого не было, – говорит он сквозь зубы.

И делая жест, которым заранее хочет предупредить все мои возражения, он говорит:

– И потом, была ли она мне уж так предана?.. Пойдите, я предпочитаю вам это сказать: мне надоела Роза... Ей-богу, надо ела!.. С тех пор, как мы взяли мальчика в помощь ей, она ни к чему не прикасалась в доме... и все шло очень плохо... очень плохо... Я не мог получить даже яйца всмятку, сваренного по-моему вкусу... А сцены с утра до вечера по поводу всяких пустяков!.. Если я истратил десять су, сыпались упреки... крики... И когда я разговаривал с вами когда-нибудь, вот, как теперь... вот были сцены... потому что она была ревнива, ужасно ревнива... Нет, надо было слышать, как она вас отделявала!.. Ах, нет, нет... Наконец, я перестал быть хозяином в своем доме, черт возьми!

Он шумно вздыхает всей грудью и, как путешественник, который возвратился из далекого и долгого путешествия, с новой и глубокой радостью смотрит на небо, на голые лужайки своего сада, на фиолетовые тени, которые отбрасывают ветви деревьев на снег, на свой маленький дом. Эта радость, такая оскорбительная для памяти Розы, мне кажется теперь ужасно комичной. Я старалась вызвать капитана на доверчивые признания... И я ему говорю тоном упрёка:

– Капитан, мне кажется, вы несправедливы к Розе.

– Подождите, черт возьми! – возражает он живо. – Вы не знаете... вы ничего не знаете... Ведь она вам не рассказывала про все сцены, которые она мне делала, про свою тиранию... свою ревность... про свой эгоизм... Здесь мне ничего больше не принадлежало... Все в моем доме принадлежало ей...

Например, вы этому даже не поверите, я никогда не имел своего вольтеровского кресла... никогда... Она сидела на нем постоянно... Она пользовалась всем, впрочем... это очень просто... Когда я думаю о том, что я не мог никогда есть спаржи с прованским маслом, потому что она этого не любила!.. О, она хорошо сделала, что умерла... Это самое лучшее, что с ней могло случиться... потому что так или иначе, но я бы не держал ее больше у себя... нет, нет – черт возьми, я бы не держал ее больше у себя... О... Она выводила меня из терпения! Надоела она мне страшно... И я вам скажу... если бы я умер раньше ее, то она бы ловко попала в просак... Я для нее готовил пилюлю, которую она нашла бы очень горькой, я вас уверяю...

Его губы складываются в улыбку, которая больше похожа на странную гримасу. И он продолжает, прерывая каждое свое слово смехом:

– Вы знаете, что я составил завещание, в котором завещал ей все... дом, деньги, процентные бумаги... все? Она должна была вам это сказать, потому что она говорила об этом всем. Но она сама не знала, что два месяца спустя я сделал второе завещание, которым уничтожилось первое и в котором я ей ничего не завещал... черт возьми... решительно ничего...

Он не мог больше удержаться и разразился громким хохотом... пронзительным хохотом, который рассыпался по саду, как крик летающих воробьев.

– Недурная идея, не правда ли? О, ее лицо, – вы можете представить его себе, когда бы она узнала о том, что я свое маленькое состояние завещал Французской Академии... Потому что, дорогая мадемуазель Селестина, это действительно так... я завещал свое состояние Французской Академии... Да, это была хорошая идея.

Я дала ему время успокоиться от своего хохота, а потом спросила серьезно:

– А теперь, капитан, что вы намерены предпринять?

Капитан смотрел на меня долго веселыми, влюбленными глазами... И наконец произнес:

– Вот это зависит от вас...

– От меня?

– Да, от вас, от вас одной.

– Каким это образом?

Следует короткое молчание, во время которого капитан, выпрямившись во весь рост, с вытянутой ногой и своей острой эспаньолкой старается окончательно пленить меня.

– Пойдем, – говорит он вдруг... – пойдем прямо к цели... Будем говорить напрямик... по-солдатски... хотите ли вы занять место Розы?.. Оно к вашим услугам...

Я ожидала этого. По его глазам я видела, что он это готовил... и он не застает меня врасплох... в ответ на это предложение я делаю серьезное, бесстрастное лицо.

– А завещание, капитан?

– Я его уничтожу, черт возьми!

Я замечаю:

Но ведь я не знаю кухни...

– Я буду готовить, я... я буду сам стелить мою постель... нашу... черт возьми... я буду все делать сам...

Он становится любезен, весел; его глаза загораются... Счастье для моей добродетели, что нас разделял забор: иначе она наверное пострадала бы, так как он, без сомнения, бросился бы на меня...

– Есть разные кухни... кричит он хриплым и вместе с тем оглушительным голосом...

Я уверен, что вы прекрасно знаете ту кухню, которая мне нужна... что вы особенно хорошо умеете приправлять все пряностями... А, черт возьми...

Я иронически улыбаюсь и, грозя ему пальцем, как маленькому ребенку, говорю:

– Капитан, капитан, вы – маленький негодяй!

– Нет, не маленький, а большой, очень большой! – заявляет он с гордостью! – А потом еще одна вещь... Надо вам сказать...

Он наклоняется к забору, вытягивает шею... Его глаза наливаются кровью. И пониженным тоном он говорит:

– Если бы вы перешли ко мне, Селестина, то...

– То что?

– А то, что Ланлеры околели бы от ярости, а!.. Вот это идея!

Я молчу и делаю вид, что размышляю об очень серьезных вещах... Капитан становится нетерпелив, нервен... Каблуками своих сапогов он нетерпеливо бьет по песку аллеи.

– Подумайте, Селестина... Тридцать пять франков в месяц, стол господский... комната тоже... черт возьми... завещание в вашу пользу... Подходят ли вам эти условия?.. Ответьте...

– Это мы увидим позже немножко... Но пока возьмите другую, черт возьми!..

И я убегаю, чтобы не прыснуть ему прямо в лицо, так как смех уже давно сжимает мне горло.

Как видите, у меня теперь богатый выбор. Капитан или Жозеф? Жить на положении полу-служанки, полу-хозяйки, в зависимости от всех случайностей, с которыми сопряжено подобное положение, т. е. зависеть от прихоти грубого, глупого и изменчивого человека, от тысячи неприятных условий, тысячи предрассудков?.. Или лучше выйти замуж и приобрести таким образом положение, уважаемое всеми, быть свободной от чужого контроля, не бояться разных случайностей?.. Вот, наконец, моя мечта осуществляется хоть отчасти...

Понятно, я желала бы, чтобы это осуществление было иное, более грандиозное... Но когда я подумаю о том, как мало даже таких случаев представляется вообще в жизни таких женщин, как я, то я еще должна считать особенной удачей, что мне выпала наконец возможность устроиться иначе, чем это вечное и однообразное странствование из одного дома в другой, из одной кровати в другую, от одной физиономии к другой...

Я, конечно, сейчас же отвергаю комбинацию капитана... Мне, впрочем, не нужно было этого последнего разговора с ним, чтобы знать, какой это грубый и несимпатичный человек. Кроме его полного физического уродства – потому что в нем нет решительно ничего краси-

вого или приятного – и его душа не способна подвергнуться никакому хорошему влиянию... Роза была твердо убеждена, что этот человек весь в ее власти, а между тем он обманывал ее... Нельзя господствовать над ничтожеством, нельзя действовать в пустоте... Я не могу также ни на одну минуту без смеха подумать о том, что этот смешной человек будет держать меня в своих объятиях или что я буду ласкать его... Это даже не отвращение, потому что отвращение предполагает возможность совершения... У меня же есть уверенность, что это вообще не может случиться. Если бы каким-нибудь чудом случилось так, что я очутилась бы у него в кровати, то я уверена, что никогда не могла бы поцеловать его от неудержимого смеха... Из-за любви или для удовольствия, по слабости или из жалости, из-за тщеславия или ради выгоды – но я спала со многими мужчинами. Это мне кажется, впрочем, нормальным, естественным, необходимым актом... Я в этом совсем не раскаиваюсь, и очень редко случалось, чтобы я при этом не испытывала какого-нибудь удовольствия... Но с таким необыкновенно смешным человеком, как капитан, я уверена, это не могло бы случиться, физически не могло бы случиться... Мне кажется, что это было бы нечто противное природе... нечто еще худшее, чем собака Клэ-Клэ... И все-таки, несмотря на все это, я довольна... и я немножко даже горжусь... Откуда бы она ни исходила, но это все-таки победа, и эта победа мне дает большую уверенность в себе самой и моей красоте...

К Жозефу я испытываю совсем другие чувства... Жозеф овладел моей мыслью... Он ее занимает, привлекает, властвует над ней... Жозеф меня смущает, восхищает, пугает... Конечно, он некрасив, грубо, ужасно некрасив, но если разобрать его наружность, то в нем есть что-то крупное, сильное, что граничит с красотой, что выше красоты. Я не скрываю от себя трудности, даже опасности жить, замужем или нет, с таким человеком, которого я считаю способным на все, и о котором я в действительности ничего не знаю... И это есть именно то, что влечет меня к нему со страшной головокружительной силой... Этот, по крайней мере, способен на многое, в преступлении, может быть, а может быть, и в добре... Я не знаю... Чего он хочет от меня?.. Что он сделает из меня?.. Буду ли я бессознательным орудием его неведомых мне планов... игрушкой его диких страстей?.. Любит ли он меня действительно и за что он меня любит?.. За мою красоту, за мои пороки... за мою интеллигентность... за мою ненависть к предрассудкам, он, который мне поклоняется?.. Я не знаю... Помимо того, что меня привлекает в нем неизвестное и таинственное, я поддаюсь могущественному, властному очарованию его силы. И это очарование – да, это очарование – действует все сильнее на мои нервы, покоряет все больше мою пассивную, покорную плоть. В присутствии Жозефа мои чувства кипят, воспаляются, как они никогда не возбуждались от близости других мужчин. Он возбуждает во мне желание, более сильное, темное и ужасное, чем даже то, которое довело меня до убийства в моих поцелуях с господином Жоржем... Это что-то такое, чего я не могу точно определить... Оно меня охватывает всю, мой ум и мою чувственность... Оно будит во мне инстинкты, которых я в себе не знала, которые, скрытые, спали во мне и которых никакая любовь, никакое потрясение страсти не пробуждали еще до сих пор... И я дрожу с головы до ног, когда вспоминаю слова Жозефа:

– Вы похожи на меня, Селестина... Ах, конечно, не лицом, наверное нет... Но наши души похожи друг на друга...

Наши души похожи друг на друга! Возможно ли это?

Эти чувства, которые я испытываю, так новы, так сильны и властны, что они не дают мне ни минуты покоя... и я нахожусь постоянно под их исключительным очарованием... Напрасно я стараюсь занять свой ум другими мыслями... Я стараюсь читать, гулять по саду, когда моих хозяев нет дома, или усердно шить, чинить белье, когда они дома... Невозможно... Жозеф владеет всеми моими помыслами... И не только он владеет ими в настоящем, но он владеет ими также в прошлом... Жозеф стал между мной и моим прошлым... я вижу только его. Это прошлое со всеми своими образами, несимпатичными или очаро-

вательными, отступает, обесцвечивается, стирается... Клеофас Бискуиль, Жан... господин Ксавье... Вильям, о котором я еще не говорила... Даже господин Жорж, который, казалось, навеки оставил след в моей душе, как каленое железо оставляет вечное клеймо на плече у каторжника... и все те, кому я охотно, радостно, страстно отдавала немножко или много от себя самой, от своего трепещущего тела и скорбного сердца – все тени... уже! Смутные и смешные тени, неуловимые воспоминания, неясные мечты... неосязаемая действительность, забвение... дым... ничто!.. Иногда в кухне, после обеда, глядя на Жозефа, на его преступный рот, преступные глаза, выдающиеся скулы, на его низкий и выпуклый череп, на котором свет лампы сгущает тени, я говорю себе:

– Нет... нет... это невозможно... это припадок безумия... я не хочу... я не могу любить этого человека... Нет... нет... это невозможно!..

А между тем это возможно... и это правда... Надо наконец признаться себе самой... крикнуть себе самой: Я люблю Жозефа!..

А! я понимаю теперь, почему никогда нельзя смеяться над любовью... почему есть женщины, которые бросаются со всей непобедимой силой природного влечения в объятия зверей, чудовищ и которые кричат от страсти в объятиях демонов и сатиров...

Жозеф получил от хозяйки шестидневный отпуск, и завтра, под предлогом устройства некоторых семейных дел, он уезжает в Шербург... Решено... он купит маленькое кафе... Только в продолжение нескольких месяцев он не будет им сам пользоваться. У него там есть один верный друг, который займется этим пока...

– Понимаете, – говорит он мне... – Надо сначала его перекрасить, обновить... Оно будет очень красиво со своей новой вывеской, на которой золотыми буквами будет написано: «Французской Армии!» И потом я не могу еще уйти с своего места... Не могу...

– Почему так, Жозеф?..

– Потому что теперь это невозможно...

– А когда вы совсем уйдете отсюда?

Жозеф почесывает свой затылок, бросает на меня взгляд исподлобья и говорит:

– Пока я еще не знаю ничего... Может быть, через полгода... может быть, раньше, а может быть, и позже... Еще ничего нельзя знать... Это зависит... – Я чувствую, что он не хочет говорить... Тем не менее я настаиваю:

– От чего это зависит?

Он колеблется; потом говорит таинственным и вместе с тем возбужденным тоном:

– От одного дела... от одного очень важного дела...

– Но от какого дела?

– От дела... и конец!

Это произносится уже грубо, голосом, в котором не слышится гнева, нет, но слышится ясно нервное раздражение... И больше говорить об этом он не может... Он не говорит со мной ничего обо мне, это меня удивляет, и я испытываю горькое разочарование... Может быть, он изменил свои намерения на мой счет? Может быть, ему надоели мое любопытство, мои колебания?.. Но ведь это только естественно, что я интересуюсь предприятием, в котором и я буду принимать участие, и буду делить успех или неудачу. Или, может быть, подозрения, которые я высказывала относительно изнасилования маленькой Клары, привели к разрыву между мной и Жозефом? По тому огорчению, которое я испытываю теперь, я чувствую, что мое решение насчет предложения Жозефа, решение, которое я меняла так часто из кокетства и желания его подразнить – твердо принято... Быть свободной... сидеть в конторе... приказывать другим... знать, что на тебя смотрят, за тобой ухаживают, тебя желают столько мужчин!.. И этого не будет? И эта мечта ускользнет от меня, как многие другие? Я не хочу показать Жозефу, что я готова броситься ему на шею... но я хочу знать, что у него на уме... Я делаю печальное лицо... и говорю со вздохом:

– Когда вы уйдете, Жозеф, дом потеряет для меня всякую прелесть... Я так привыкла к вам теперь... к нашим беседам...

– А, да!..

– Я тоже уеду.

Жозеф не говорит ничего... Он ходит взад и вперед по комнатке... с нахмуренным лбом... в глубокой задумчивости... Он кладет полено в потухающую печку... потом он начинает опять молчаливо шагать по маленькой комнатке... Почему он такой? Он, значит, примирится с этой разлукой?.. Он ее, значит, хочет? Он, значит, утратил свою любовь ко мне, свою веру в меня. Или он просто боится моей неосторожности, моих вечных вопросов? Я спрашиваю его с дрожью в голосе:

– Разве вам не будет жаль, Жозеф, расстаться со мною? Не видеть меня больше?.. – Не останавливаясь, не глядя на меня даже тем косым взглядом, тем взглядом исподлобья, которым он так часто смотрит на меня, он говорит:

– Конечно... чего же вы хотите? Ведь нельзя же заставлять людей делать то, чего они не хотят... Всякий волен в своих поступках...

– Что же я отказывалась делать, Жозеф?

– И затем у вас всегда такие скверные мысли на мой счет... – продолжает он, не отвечая на мой вопрос.

– У меня? Зачем вы мне это говорите?..

– Потому что...

– Нет, нет, Жозеф... Вы больше меня не любите... у вас другое и голове теперь... Я вам ни в чем не отказывала. Я только просила времени на размышление, вот и все... И мне кажется, что это вполне естественно... Ведь нельзя же предпринять такое важное решение на всю жизнь, не обдумав его... Напротив, вы мне должны быть благодарны за мои колебания... Они доказывают, что я не ветреница... что я серьезная женщина...

– Вы хорошая женщина, Селестина, вы порядочная женщина...

– Ну хорошо, а дальше?

Жозеф перестает наконец ходить и смотрит на меня глубоким, еще недоверчивым, но все-таки уже более нежным взглядом:

– Это не то, Селестина... – говорит он медленно... – дело не в этом... Я вам не мешаю размышлять... Размышляйте, если хотите... У нас есть время... и мы об этом еще поговорим по моему возвращении... Но, видите ли, чего я не люблю... это – чрезмерного любопытства... Есть вещи, которые не касаются женщин... есть вещи...

И он кончает свою фразу покачиванием головы... И после минутного молчания он продолжает:

– У меня нет ничего другого в голове, Селестина... я брежу вами... я весь полон вами... я вам клянусь истинным Богом, что то, что я сказал, я буду говорить всегда... Мы еще поговорим об этом... Но не нужно быть любопытной... Вы делайте свое, я буду делать свое... Так не будет ни заблуждений, ни сюрпризов...

Подойдя ко мне, он схватывает меня за руки и говорит:

– У меня крепкая, упрямая голова, Селестина... это правда... И то, что раз вошло туда, останется там навсегда... Нельзя этого потом вытащить оттуда... Я мечтаю только о вас, Селестина... о вас... в маленьком кафе... Рукава его рубашки засучены до локтя: громадные, гибкие мускулы его рук двигаются сильно и ловко под белой кожей. На каждой руке, возле двуглавых мышц я вижу татуировку: пылающие сердца и скрещенные кинжалы над горшком с цветами... Сильный запах мужчины, почти животный запах исходит из его широкой, выпуклой груди... Тогда, опьяненная этой силой и этим запахом, я прислоняюсь к столбу, на котором он только что, при моем приходе, чистил сбрую... Ни господин Ксавье, ни Жан, ни все другие, которые были красивы, элегантно, надушены, не действовали на меня так

сильно, как этот почти старик, с узким черепом, с животным лицом... И, обнявши его в свою очередь, стараясь согнуть своей рукой его крепкие, натянутые, стальные мышцы, я говорю ему слабеющим голосом:

– Жозеф, будь моим, отдайся мне совсем, сейчас... мой милый Жозеф... Я также брежу тобой... я также вся полна тобой, вся в твоей власти...

Но Жозеф отвечает мне серьезным, отеческим тоном:

– Теперь это невозможно, Селестина!

– О! Сейчас же, мой дорогой, мой милый Жозеф!

Он мягким, осторожным движением освобождается из моих объятий.

– Если бы это было только для забавы, Селестина... тогда, конечно... Но ведь это серьезно, это навсегда... Надо быть благоразумным... надо вести себя хорошо... Этого нельзя делать, пока нас не повенчала церковь...

И мы стоим друг перед другом, с горящими глазами, с бурно вздымающейся грудью... Я с опущенными руками... с помутившейся головой... вся в огне...

Глава пятнадцатая

20-го ноября.

Жозеф, как это было решено, уехал вчера утром в Шербург. Когда я сошла в кухню, его уже не было. Марианна, плохо выспавшаяся, носит воду и постоянно отхаркивается. На кухонном столе стоит еще тарелка, в которой Жозеф только что ел свой суп, и пустой стакан от сидра... Я не совсем спокойна, но вместе с тем довольна, потому что хорошо сознаю, что только с сегодняшнего дня начинает готовиться для меня новая жизнь. День едва настаёт, холодно. За садом вся деревня спит еще, окутанная густым туманом. И я слышу доносящийся издали, с невидимой равнины очень слабый шум свистка локомотива. Это свистит поезд, который уносит Жозефа и мою судьбу. Я отказываюсь от завтрака... Мне кажется, что мой желудок переполнен чем-то тяжелым... Я не слышу больше свистка... Туман еще больше сгущается, он добирается до самого сада. А если Жозеф никогда больше не вернется? Весь день я была рассеяна, нервна, страшно взволнована... никогда дом не казался мне таким скучным; длинные коридоры никогда не казались мне такими мрачными, полными ледяного молчания; никогда я не ненавидела так сварливого лица и визгливого голоса барыни... Невозможно работать... У меня произошла очень бурная сцена с ней; мне казалось, что после этой сцены мне придется непременно оставить место. И я спрашиваю себя, что я буду делать в продолжение этих шести дней без Жозефа... Меня пугает мысль сидеть одной за столом с Марианной. Мне страшно хотелось бы с кем-нибудь поговорить.

Вообще, как только наступает вечер, Марианна под влиянием винных паров впадает в полное оупление. Мозг ее спит, язык заплетается, губы отвисают и блестят, и она становится такой грустной, что жаль смотреть на нее. От нее нельзя добиться ни одного слова; она только тихо жалуется, вскрикивает и по-детски плачет... Все-таки вчера вечером, менее пьяная, чем обыкновенно, она повторяла мне посреди бесконечных жалоб, что она боится, не беременна ли она. Марианна беременна... Только этого не доставало... Моим первым движением было рассмеяться... но вдруг я испытываю такую боль, как будто бы кто-нибудь хлестнул меня. Не от Жозефа ли забеременела Марианна? Я вспоминаю что, как только я поступила на это место, я сейчас же заподозрила, что они живут друг с другом... Но с тех пор ничто не подтверждало этого глупого предположения; напротив... Нет, нет – это невозможно... Если бы у Жозефа была любовная связь с Марианной, я бы это знала... я бы это почувствовала... Нет, этого нет... этого не может быть... И потом Жозеф слишком артист, в своем роде, конечно... Я спрашиваю:

– Вы уверены, что вы беременны, Марианна?

Марианна ощупывает свой живот... ее толстые пальцы погружаются, исчезают в складках живота, как в плохо надутый гуттаперчевой подушке.

– Уверена?.. Нет... – отвечает она, – но я боюсь...

И от кого вы могли бы забеременеть, Марианна?

Она колеблется ответить... Потом вдруг заявляет, даже с некоторой гордостью:

– Ну, от барина!

Тут я уж не могу удержаться и начинаю страшно хохотать... Только этого ему не доставало... Он прямо великолепен. Марианна принимает мой смех как знак удивления и восхищения и тоже начинает хохотать...

– Да, да, от барина! – повторяет она.

Но как это случилось, что я ничего не заметила?.. Как?.. Такая курьезная вещь произошла, так сказать, на моих глазах, и я ничего не видела... ничего не подозревала?.. Я распра-

шиваю Марианну, я осыпаю, тороплю ее своими вопросами... И Марианна охотно рассказывает, немножко даже чванясь, с гордостью:

– Два месяца назад барин вошел в комнатку, где я перемывала посуду после завтрака... это было вскоре после вашего приезда сюда... Подождите... это было именно тогда, когда у барина был с вами разговор на лестнице. Когда он вошел в комнату, он сильно размахивал руками... тяжело дышал... глаза у него были на выкате и налиты кровью... Я думала, что с ним сейчас случится удар, что он сейчас упадет...

Не говоря ни слова, он бросился на меня, и я поняла, в чем было дело... Барин, вы понимаете... я не смела защищаться... И потом, знаете, здесь так мало представляется таких случаев!.. Это меня удивило, но это мне доставило удовольствие... После этого он опять приходил, часто... Это очень милый человек... очень ласковый...

– Очень развратный, Марианна?

– О да, – вздыхает она, и глаза ее полны восторга... – И красивый мужчина!.. И все!..

Ее толстое лицо продолжало глупо улыбаться. И под голубой, небрежно расстегнутой кофточкой, запачканной жиром и углем, вздымаются ее уродливые, громадные груди.

Я ее спрашиваю:

– Довольны ли вы по крайней мере?

– Да, я очень довольна... – отвечает она. – То есть я была бы очень довольна, если бы была уверена, что я не забеременею... В моем возрасте... это было бы слишком печально!..

Я ее успокаиваю как могу, а она сопровождает каждое из моих слов покачиванием головы... Потом она говорит:

– Все равно... чтобы быть спокойнее, я схожу завтра к мадам Гуэне...

Я испытываю большое сострадание к этому несчастному существу... Какие у нее мрачные мысли, как она грустна, как достойна сожаления!.. И что будет дальше с ней?.. Странная вещь, любовь не осветила ее лица, не придала ему никакой прелести. В нем совсем не видно того отпечатка, который страсть накладывает на самые некрасивые лица... Она осталась такой же тяжеловесной, неподвижной, забитой, как была... И все-таки я почти счастлива, что то счастье, которое должно было хоть немножко оживить это грубое существо, лишенное так долго мужских ласк, пришло к ней из-за меня... Потому что именно после того, как я возбудила в хозяине страсть к себе, он пошел к этому несчастному созданию, чтобы удовлетворить ее...

Я говорю ей ласково, с нежностью:

– Вам нужно быть очень осторожной, Марианна. Если барыня вас поймает, это будет ужасно.

– О, с этой стороны нет опасности! – восклицает она. – Барин приходит только в ее отсутствие... Он никогда не остается очень долго... и когда он удовлетворен... он уходит... И потом дверь из моей комнаты открывается в маленький двор, а со двора есть калитка, выходящая в переулок... При малейшем шуме барин может убежать, так что его никто и не увидит... Ну а потом... что же делать? Если барыня нас поймает... ну так что ж!

– Она вас тогда сейчас же прогонит отсюда, моя бедная Марианна!

– Ну так что ж! – повторяет она, продолжая бессмысленно покачивать головой...

Во время наступившего тяжелого молчания я старалась представить себе эти два существа, эти два жалких существа, соединенных любовью... Потом я спрашиваю:

– А барин нежен с вами?..

Конечно, нежен...

– Говорит он вам когда-нибудь какие-нибудь нежные, ласковые слова? Что он вам говорит?..

И Марианна отвечает:

– Барин приходит... сейчас же бросается на меня... и потом говорит: «А, черт возьми!.. А, черт возьми!..» И потом... пыхтит... пыхтит... Ах! Он очень мил!..

Я ушла от нее с тяжелым сердцем... Теперь я уже не смеюсь, я никогда больше не буду смеяться над Марианной... И жалость, которую я испытываю к ней, переходит в искреннюю, почти болезненную нежность.

Но и к себе я тоже проникаюсь состраданием. Войдя в свою комнату, я испытываю нечто вроде стыда и большой упадок духа.

Никогда не нужно размышлять о любви...

Как любовь в сущности печальна!.. И что остается от нее? Смех, горечь или ничего... ничего... Что осталось у меня теперь от любви Жана, карточка которого в красной плюшевой рамке гордо возвышается у меня на камине? Ничего, кроме тяжелого разочарования от сознания, что я любила глупого, бессердечного и тщеславного человека... Неужели я действительно могла любить этого красивого щеголя, с его белым, нездоровым лицом, с его бакенбардами в виде котлеток, с его правильным пробором на голове? Эта карточка меня раздражает... Я не хочу больше иметь всегда перед собой эти тупые глаза, которые смотрят на меня всегда одним и тем же дерзким и вместе с тем угодливым, льстивым взглядом.

Нет... Пусть она пойдет к другим карточкам, на дно моего сундука в ожидании, пока я с радостью не предам сожжению все это прошлое, которое я ненавижу все больше и больше...

И я думаю о Жозефе... Где он теперь? Что он делает?

Думает ли он обо мне? Он, без сомнения, находится теперь в кафе. Он осматривает его, спорит, измеряет, думает о том, какое впечатление я буду производить в конторе, за стеклом, между блестящими стаканами и разноцветными бутылками. Я бы хотела знать Шербург, его улицы, его площади, гавань, чтобы представить себе Жозефа, расхаживающего по городу и завоевывающего его, как он завоевал меня. Я в лихорадке ворочалась в своей постели. Моя мысль блуждает из Районского леса в Шербург... от трупа Клары в кафе.

И после долгой, мучительной бессонницы я наконец засыпаю со строгим и суровым образом Жозефа в своем воображении; затем неподвижный образ Жозефа исчезает там вдали, на волнующемся фоне темного моря, на котором виднеются белые мачты и красные реи.

Сегодня воскресенье. После обеда я пошла в комнату Жозефа. Обе собаки поспешно следуют за мною с таким видом, как будто они спрашивают меня, где Жозеф... Маленькая железная кровать, большой шкаф, нечто вроде низенького комода, стол, два стула – все это белое, деревянное; вешалка, которая закрыта зеленой люстриновой занавеской, чтобы защитить платье от пыли – вот обстановка этой комнаты. Если она и не блещет роскошью, то содержится в поразительной, необыкновенной чистоте и порядке.

В ней есть что-то строгое, отшельническое, напоминающее монашескую келью. На выбеленных известкой стенах висят между портретами Дерулэда и Мерсье разные изображения святых, без рамок: Божья Матерь... поклонение волхвов, избиение младенцев... видрая... Над кроватью висит большое распятие из черного дерева, а над ним какая-то священная ветка...

Это не очень деликатно, без сомнения, но я не могла устоять против сильного желания всюду пошарить, поискать в надежде, впрочем, очень смутной, открыть где-нибудь хоть часть тайн Жозефа... Но в этой комнате нет ничего таинственного, ничего скрытого. Это – комната человека, который не имеет тайн, жизнь которого чиста, чужда осложнений или каких бы то ни было событий... Ключи лежат на мебели и торчат в шкафах; ни один ящик не заперт. На столе лежат пакеты с различными семенами и книга «Хороший садовник». На камине молитвенник с пожелтевшими страницами и маленькая записная книжка, в которой переписаны различные рецепты приготовления красок, вареного мяса по-бордосски, дозировки никотина, железных сульфатов... Нигде ни одного письма; ни даже счетовой

книги. Нигде ни малейшего следа деловой, политической, семейной или любовной переписки... В комод, возле старой обуви и ржавых леек – куча брошюр и масса номеров «Libre Parole». Под кроватью – силки для ловли белок и крыс... Я все ощупала, все перевернула, все пересмотрела – платья, матрацы, белье и ящики. Нет ничего!.. В шкафу – никаких изменений; в нем все в том же порядке, в каком я его оставила, когда неделю назад прибирала в присутствии Жозефа.

Возможно ли, чтобы у Жозефа ничего не было? Возможно ли, чтобы у него в комнате совсем не было каких-нибудь мелочей, незначительных предметов, которые есть у каждого человека и в которых отражаются обыкновенно его вкусы, страсти, наклонности, мысли?... Немножко из того, что его больше всего занимает в жизни?.. А! все-таки нашла... Со дна ящика в столе я вытаскиваю коробочку от сигар, завернутую в бумагу, крепко перевязанную несколькими веревочками... С большим трудом я развязываю веревки, открываю коробку и вижу в ней завернутые в вату пять святых образков, маленькое серебряное распятие и красные коралловые четки... Всегда и везде религия!..

Окончив свой обыск, я выхожу из комнаты, сильно раздраженная тем, что не нашла ничего из того, что я искала, ничего не узнала из того, что я так хотела узнать. Положительно, Жозеф сообщает всем окружающим его предметам свою непроницаемость... Предметы, которые окружают его, немые как его язык, непроницаемы, как его глаза, как его лоб... Весь остаток дня я видела перед собой, действительно перед собой, то загадочное, то насмешливое, то угрюмое лицо Жозефа. И мне казалось, что я слышу, как он мне говорит:

– Ты напрасно так любопытна, моя маленькая дурочка! Ты можешь еще смотреть, еще искать в моем белье, в моих сундуках и в моей душе... Ты никогда ничего не узнаешь!..

Я не хочу больше думать обо всем этом, я не хочу больше думать о Жозефе... У меня слишком болит голова, и мне кажется, что я от этого с ума сойду... Вернемся к моим воспоминаниям...

Едва расставшись с добрыми сестрами в Нельи, я попала в ад – бюро для приискания мест. А между тем ведь я твердо обещала себе никогда больше не прибегать к ним... Но где же другой выход, когда ты находишься на мостовой и не имеешь даже на что купить себе кусок хлеба? Друзья, старые товарищи? Ах, да!.. Они вам даже не отвечают... Объявления в газетах? Но это стоит очень дорого и, кроме того, сопряжено с бесконечной перепиской и вообще с большими хлопотами... И потом это тоже очень сомнительная вещь... Во всяком случае, надо иметь чем жить и ждать, а 20 франков Клэ-Клэ быстро растаяли... Проституция?.. Прогулка по тротуарам? Приводить к себе мужчин, которые зачастую беднее тебя? О, нет!.. Ради удовольствия – сколько угодно... За деньги? Я не могу этого... я не знаю... но я не могу... Я была даже принуждена заложить несколько мелких драгоценностей, которые еще оставались у меня, чтобы заплатить за свою комнату и стол. Это фатально, что нужда вас всегда приводит в те места, где эксплуатируют и даже грабят бедных людей.

Какая мерзость – эти бюро для найма прислуги! Сначала вы должны дать 10 су за то, что вас записывают; потом начинают вам предлагать места, но какие! Там нет недостатка в скверных местах, там богатый выбор этих отвратительных мест, и вам остается выбирать только из многих зол – наименьшее... В наши дни всякие женщины, мелкие лавочницы тоже хотят держать слуг и изображать графинь...

Если после споров, унижительных расспросов и еще более унижительного торга вам удастся наконец сговориться с одной из этих скупых и жадных мешчанок, вы должны заплатить содержательнице бюро три процента с вашего годового жалованья... Тем хуже для вас, если вы остаетесь на этом месте только десять дней. Это ее не касается, ее расчет верен, и требует она всю сумму за комиссию... О, они умеют обделывать дела; они знают, куда они вас посылают и что вы скоро к ним вернетесь... И таким образом у меня в 4 с половиной месяца было 7 мест. Целый ряд невозможных домов, хуже каторги! И вот я должна

была заплатить содержательнице бюро три процента за семь лет жалованья, то есть, включая также те 10 су, которые я платила каждый раз при уходе с места за запись в бюро, больше 90 франков... И я ничего не успела сделать для себя, я должна была опять начинать с самого начала... Разве это справедливо? Разве это не отвратительное воровство?..

Воровство?.. В какую сторону вы ни обернетесь, вы повсюду увидите воровство... Конечно, обируют всегда тех, кто ничего не имеет, и обируют всегда те, которые имеют все!.. Но что делать? Приходишь в ярость, возмущаешься и в конце концов говоришь себе, что лучше все-таки быть обобраным, чем умереть с голоду, как собака, на улице!.. Скверно все устроено на свете, вот что верно... Как жаль, что генерал Буланже потерпел в свое время неудачу! Про него по крайней мере говорили, что он хорошо относился к слугам...

Бюро, где я имела глупость записаться, расположено на Колизейской улице, в глубине двора, в третьем этаже одного черного и очень старого дома, который по своему виду напоминает дома, где обыкновенно живут рабочие. У входа узкая и крутая лестница с грязными ступенями, к которым прилипают подошвы, с мокрыми перилами, которые пачкают руки. Отравленный воздух – запах испарений из отхожих мест – ударяет вам прямо в нос и приводит в уныние вашу душу... Я далеко не неженка, но, как только я вижу эту лестницу, меня начинает тошнить, у меня подкашиваются ноги и является безумное желание убежать... Надежда, которая по дороге сюда еще жила в вас, сейчас же исчезает, задушенная этой густой, липкой атмосферой, этими мерзкими ступенями и этими мокрыми стенами, на которых, кажется, должны водиться ящерицы и холодные жабы. И в самом деле, я не понимаю, как прекрасные дамы решаются приходить в эту грязную конуру. Откровенно говоря, они не брезгливы... Но чем брезгают в наше время прекрасные дамы?..

Они не пойдут в такой дом, чтобы помочь бедняку. Но чтобы найти прислугу, они пойдут Бог знает куда!..

Это бюро содержала г-жа Пола Дюран, большая, крупная женщина, около 45 лет. Со своими слегка волнистыми и очень черными волосами, сильно располневшая и затянутая в ужасный корсет, она сохранила еще следы былой красоты, величественную осанку... и глаза, какие глаза, черт возьми!..

Одетая всегда со строгим изяществом, в черном шелковом платье, с длинной золотой цепочкой на полной груди и с коричневым бархатным галстуком на шее, с очень бледными руками, она держала себя с большим достоинством и даже немного высокомерно. Она жила с одним маленьким чиновником, господином Луи, которого мы знали только по имени и фамилии которого никогда не слыхали. Это был очень странный человек, страшно близорукий, с торопливыми движениями, всегда молчаливый и очень неуклюжий в своем сером, поношенном и слишком коротком сюртуке. Грустный, боязливый, слегка сторбленный, хотя он был еще очень молод, он не имел счастливого вида. Только покорность была видна на его лице... Он никогда не смел говорить с нами, ни даже смотреть на нас, так как хозяйка была очень ревнива. Когда он входил, то довольствовался только тем, что слегка снимал шляпу в нашу сторону, но не поворачивал при этом даже головы; потом, слегка волоча ноги, он, как тень, прошмыгивал в коридор. Как он был забит, загнан, бедный мальчик!.. Господин Луи по вечерам приводил в порядок корреспонденцию, вел книги... и так далее...

Госпожа Пола Дюран не называлась ни Пола ни Дюран; эти два имени, которые так хорошо звучали вместе, она, кажется, присвоила себе от двух господ, теперь уже умерших, с которыми она была в связи и которые ей дали денег для открытия этого бюро. Ее настоящее имя было Жозефина Карп. Как многие содержательницы таких бюро, она была когда-то горничной. Это видно было, впрочем, по ее претенциозным манерам, которые она переняла на службе у светских дам и под которыми, несмотря на золотую цепь и шелковое платье, видно было ее истинное невысокое происхождение. Она была груба, кстати сказать, как бывшая служанка, но эту грубость она проявляла исключительно по отношению к нам

одним, будучи, напротив, рабски услужлива со своими клиентками... сообразно, впрочем, их общественному положению и их состоянию.

– Ах! какие теперь люди, графиня, – говорила она, жеманясь. – Ленивых горничных, то есть распущенных девиц, которые ничего не хотят делать, которые не работают и за честность и нравственность которых я не могу поручиться, сколько угодно!.. Но девушек, которые работают, которые шьют, которые вообще знают свое дело – таких нет больше... у меня их нет... нигде их больше нет... Это так...

Между тем это бюро имело большую клиентуру. Его главными клиентами были обитательницы Елисейских полей – большей частью еврейки и иностранки... Я там узнала о них недурные истории!..

Дверь открывается в коридор, который ведет к салону, где госпожа Пола Дюран восседает в своем неизменном черном шелковом платье. Налево от коридора – нечто вроде темной дыры – обширная передняя со скамейками кругом комнаты и столом посередине, покрытым красной полинялой саржей. Ничего больше. Эта передняя освещается только узким окном, которое расположено очень высоко и во всю длину перегородки, отделяющей переднюю от конторы.

Скупой, печальный свет падает из этого окна и едва освещает предметы и лица.

Мы приходили туда каждое утро и после обеда все кучей – кухарки и горничные, садовники и лакеи, кучера и метрдотели. И проводили время в том, что рассказывали друг другу о наших несчастьях, бранили господ, мечтали о необыкновенных, чудных, фантастических местах. Некоторые приносят с собой книги, газеты и читают их с увлечением; другие пишут письма. Иногда веселые, иногда грустные, наши шумные разговоры прерывались часто внезапным появлением госпожи Пола Дюран, которая врывается к нам, как вихрь, с криком:

– Да замолчите же! В салоне нельзя разговаривать из-за нас... – Или звала резким, визгливым голосом:

Мадемуазель Жанна!

Мадемуазель Жанна вставала, поправляла немножко свои полосы и шла за госпожей Пола Дюран в салон, откуда она возвращалась несколько минут спустя, с пренебрежительной гримасой на губах. Нашли недостаточно хорошими ее аттестации... Что же им нужно?... Монтионовскую премию?... Розового венка?..

Или не сходились на размере жалованья:

– Вот мерзавка-то! Грязная кабатчица... выцарапать бы ей глаза за это! Как дешево захотела... О, о! Четверо детей в доме...

Как же!

И все это сопровождается яростными или неприличными жестами.

Мы все проходили по очереди в контору, вызываемые туда визгливым голосом г-жи Пола Дюран, желтое лицо которой становилось под конец зеленым от гнева... Я сейчас же видела, с кем я имею дело и что место мне не подходит. Тогда, желая позабавиться, я, вместо того чтобы выслушивать их глупейшие расспросы, сама начинала спрашивать этих прекрасных дам...

– Барыня замужем?

– Конечно.

– А! И дети есть?

– Конечно.

– И собаки?

– Да.

– А приходится у вас не спать ночи тоже?

– Да, конечно, когда я выезжаю вечером!

– А барыня часто выезжает по вечерам?

Она закусила губы... Она хотела мне ответить... Тогда, осматривая презрительным взглядом ее шляпу, ее костюм, всю ее особу, я говорю кратко и пренебрежительно:

– Мне очень жаль... но место ваше мне не нравится... Я не беру таких мест...

И я выхожу... с торжествующим видом...

Однажды одна маленькая женщина, с покрашенными волосами, намазанными губами и щеками, надутая и наглая, как цесарка, спросила у меня после 36 вопросов:

– Приличного ли вы поведения? Принимаете ли вы у себя любовников?

– А барыня? – ответила я, не выказывая никакого удивления и очень спокойно.

Некоторые, менее разборчивые или более усталые, более робкие принимали скверные места. Тогда мы кричали им вслед: – Счастливого пути! И до скорого свиданья! Когда я оглядывала всех, сидящих на скамейках, с согнутыми спинами и расставленными ногами, в задумчивости или болтающими разные глупости... когда я слушала постоянные призывы хозяйки: «Мадемуазель Виктория!.. Мадемуазель Ирина!.. Мадемуазель Зельма!..» – мне казалось иногда, что мы находимся в публичном доме и что ждем там очереди... Это мне показалось забавным или грустным, сама не знаю, и я сделала однажды такое замечание вслух... Мое замечание вызвало общий взрыв смеха. Каждая из нас стала сейчас же рассказывать, что она знала интересного о такого рода учреждениях. Одна надутая толстушка, которая чистила апельсин, заявила:

– Конечно, это лучше... Там всегда праздник. А шампанского столько, милые барышни... и рубашки, вышитые серебряными звездочками... и без корсета!

Одна высокая, худая женщина с очень черными волосами и с усиками, казавшаяся по виду большой грязнухой, сказала:

– И потом... это должно быть менее утомительно... Потому что мне приходилось иногда в один и тот же день иметь дело с хозяином, с сыном хозяина... со швейцаром... с лакеем из первого этажа... с мясником... с мальчиком из мелочной лавки... с железнодорожным посыльным... с рабочим, который проводил газ... с тем, который проводил электричество... а потом еще и с другими... так знаете, на мою долю хватало...

– О, какая грязь! – закричали со всех сторон.

– Еще что! А вы, ангельские душеньки?! Ах! какое несчастье!.. – возразила высокая брюнетка, пожимая своими худыми плечами.

И она хлопнула себя по бедрам.

Я вспоминаю, что в этот день я думала о своей сестре Луизе, запертой, без сомнения, в одном из таких домов. Я представляла себе ее счастливую, может быть, жизнь, спокойную, по крайней мере обеспеченную, спасенную во всяком случае от нищеты и голода...

В эту минуту мне сильнее, чем когда-либо, опротивела моя грустная, мрачная молодость, мои постоянные скитания, мой вечный страх перед завтрашним днем! И я тоже подумала тогда:

«Да, может быть, там действительно лучше!..»

Наступал вечер... потом ночь... ночь, которая была немногим темнее, чем ушедший день... В коридоре зажегся газовый рожок... и аккуратно в пять часов мы замечали через стеклянную дверь немножко сгорбленный силуэт господина Луи, который проходил очень быстро и сейчас же исчезал... Это было сигналом к нашему уходу.

Часто нас ожидали у выхода, на тротуаре старые женщины – сводни из публичных домов. У них был вполне приличный вид и мягкие, слащавые манеры, как у добрых сестер. Они тихо шли за нами и в самом темном углу улицы, позади темной чащи Елисейских полей, вдали от наблюдательных взоров полиции подходили к нам:

– Идите лучше ко мне, вместо того чтобы влачить это жалкое существование, полное неприятностей и бедствий. У меня вы найдете развлечение, роскошь, деньги... У меня вы найдете свободу...

Очарованные этими чудесными обещаниями, некоторые из моих милых товарок слушались этих торговек любовью... Я с грустью смотрела, как они уходили с ними. Где они теперь?..

Однажды вечером одной из этих дам, которую я уже один раз грубо от себя оттолкнула, удалось увлечь меня в кафе, где она угостила меня рюмкой шартрезу. Я еще до сих пор вижу ее седеющие волосы, ее строгий туалет буржуазки-вдовы, ее жирные, лоснящиеся руки, покрытые кольцами... С большой убедительностью и еще большим увлечением, чем в прежние разы, она мне рассказывала про то, как у нее хорошо. Я оставалась равнодушной ко всем ее хвастливым рассказам. Тогда она воскликнула:

– О, если бы вы только захотели, моя милая! Мне не надо вас рассматривать! Я вижу, как вы красивы – во всех отношениях!.. И это настоящее преступление с вашей стороны прятать такую красоту или растрачивать ее с обитателями тех домов, где вы служите! С такой красотой и игривым умом – я уверена, что вы умны, – вы скоро составили бы себе состояние! Накопили бы денежек, и в очень короткое время! Потому что, видите ли, у меня прекрасная клиентура... Старые господа... очень влиятельные... и очень, очень щедрые... Работа иногда тяжелая, я не говорю... Но зарабатываешь такую массу денег!.. Все, что есть лучшего в Париже, бывает у меня... знаменитые генералы... влиятельные чиновники... иностранные послы...

Она придвинулась ко мне и понизила голос:

– А если я вам скажу, что сам президент республики... Да, моя милая!.. Это вам даст представление о том, что такое мой дом... В мире нет ему равного... Рабино – это ничто в сравнении с моим домом... И вот вчера, в пять часов президент был так доволен, что обещал мне академические пальмы для моего сына, который состоит заведующим одного духовного учебного заведения в Отейле. Итак...

Она долго смотрела на меня, стараясь проникнуть в мою душу, и все повторяла:

– Ах! если бы вы только хотели! Какой вы имели бы успех!

Потом она продолжала конфиденциальным тоном:

– Часто бывают также у меня, в большой тайне, конечно, дамы из самого высшего общества... иногда одни, иногда со своими мужьями или любовниками... Вы понимаете, у меня можно встретить все... и всех...

Я отговаривалась под разными предлогами: что я недостаточно знаю науку любви, что у меня нет ни богатого белья, ни туалетов, ни брильянтов... Старуха меня успокаивала:

Об этом вам не надо беспокоиться! – говорила она. – Потому что у меня самый главный туалет, вы понимаете, это – природная красота... красивая пара чулок – вот и весь туалет...

Да, да, я знаю... но все-таки...

– Я вас уверяю, что вам нечего беспокоиться... – настаивала она ласково. – Так, например, у меня есть некоторые очень знатные клиенты, главным образом посланники, у которых есть фантазии... Черт возьми! в их возрасте и при их богатстве, отчего же нет? Они больше всего любят и всегда просят у меня горничных, субреток... черное, плотно обхватывающее, гладкое платье, белый передник, маленький чепчик из белого тонкого полотна – это их вкус... Ну, конечно, при этом богатое нижнее белье... самое лучшее, что только есть в Париже и какого даже субретки из Французского театра никогда не имели... за это я вам ручаюсь...

Я попросила времени на размышление...

– Хорошо, подумайте об этом... – посоветовала мне эта торговка человеческим телом. – Я вам на всякий случай оставлю свой адрес... Когда ваше сердце вам только подскажет... Приходите ко мне... О, я спокойна... И завтра же я расскажу о вас президенту республики...

Мы окончили наш ликер. Старуха заплатила за обе рюмки и, вынув из маленького черного портмоне визитную карточку, украдкой всунула мне ее в руку. Когда она ушла, я посмотрела на карточку. На ней было написано:

«Госпожа Ревекка Ранве», а внизу: «Моды».

Я присутствовала у госпожи Пола Дюран при необыкновенных сценах. К сожалению, я не могу описывать их все; но я выбрала одну, которая может служить примером того, что происходило каждый день в этом доме.

Я уже говорила, что передняя, в которой мы всегда сидели, освещалась окном, расположенным наверху в перегородке, отделяющей переднюю от конторы. Окно было всегда завешено прозрачными занавесками. В окне была форточка, обыкновенно всегда закрытая. Однажды я заметила, что по небрежности или забывчивости, которою я решила воспользоваться, она была полуоткрыта... Я придвинула скамейку и взобралась на нее; затем мне удалось достать подбородком до форточки, которую я тихонько толкнула и открыла немножко больше... Я посмотрела в комнату и вот что я там увидела.

Какая-то дама сидела в кресле; перед ней стояла девушка; в углу госпожа Пола Дюран что-то прибирала в ящике стола... Дама приехала из Фонтенебло за прислугой... На вид ей могло быть лет 50... Наружность богатой и скупой, несимпатичной буржуйки. Одетая скромно, с провинциальной строгостью вкуса... Худенькая и болезненная на вид, с бледным, каким-то сероватым цветом лица от частого недоедания, девушка имела все-таки очень симпатичную наружность, и личико ее, освещенное счастьем, могло бы быть красивым. Она была одета очень чисто и была очень стройна в своей черной юбке и черном джерси, которое плотно обтягивало и обрисовывало ее худенькую талию. Полотняный чепчик, одетый немного назад и открывавший белокурые, слегка вьющиеся волосы на лбу, был ей очень к лицу.

После подробного, настойчивого и оскорбительного осмотра дама решила наконец заговорить.

– Значит, вы рекомендуете себя, – сказала она, – как хорошую горничную?

– Да, барыня!

– Не похоже на это... Как вас зовут?

– Жанна Ле-Годек.

– Что вы говорите?

– Жанна Ле-Годек, барыня.

Она вынула из своего кармана бумагу, в которой были завернуты пожелтевшие, смятые, грязные аттестаты, и протянула их молча даме бледной, дрожащей рукой... Дама взяла их кончиками пальцев, как будто боялась запачкаться и, развернув с гримасой отвращения одну из этих бумаг, стала читать ее вслух:

«Сим свидетельствую, что девица Жанна Ле-Годек прослужила у меня тринадцать месяцев и была все время хорошей работницей, вела себя прилично и была вполне честной девушкой...»

– Да, всегда одно и то же... Аттестаты, которые ничего не говорят, ничего не доказывают... Это – не справки... этого недостаточно... Куда можно написать этой даме?

Она умерла.

Она умерла... Черт возьми, ясно, что она умерла... Таким образом, у вас есть аттестат, и как раз особа, которая вам его выдала, умерла... Согласитесь сами, что это довольно-таки подозрительная история...

Все это было сказано с выражением самого оскорбительного недоверия и тоном грубой иронии. Она взяла в руки другой аттестат.

– А эта особа? Она тоже умерла, без сомнения?

– Нет, барыня... Госпожа Робер в Алжире... Она там живет со своим мужем – полковником.

– В Алжире!.. – воскликнула дама... – Конечно... Ну каким образом я могу списаться с этой дамой в Алжире насчет вас?.. Одни умерли... другие в Алжире... Подите, обратитесь за справками в Алжир!.. Все это очень странно, необыкновенно!..

– Но у меня есть еще аттестаты, барыня! – сказала умоляющим голосом несчастная Жанна Ле-Годек. – Барыня может их прочесть... может навести личные справки...

– Да! Я вижу, что у вас есть еще много аттестатов... я вижу, что у вас было много мест... даже слишком много мест... В вашем возрасте как это красиво! Впрочем, оставьте мне ваши аттестаты... я увижу... Теперь о другом... Что вы умеете делать?

– Я умею смотреть за хозяйством... шить... прислуживать за столом...

– Хорошо ли вы умеете чинить, штопать?

– Да, барыня.

– Умеете ли вы откармливать птицу?

– Нет, барыня... Это – не мое дело.

– Ваше дело, моя милая, – сказала строго дама, – делать все то, что вам велят ваши господа. У вас, должно быть, отвратительный характер...

– Нет, барыня, уверяю вас... Я совсем не дерзкая... не отвечаю никогда...

– Конечно... вы так говорите... Они все так говорят... а к ним и не прикасайся... слова им нельзя сказать... Наконец, увидим... Я вам это уже говорила... что место, не будучи особенно тяжелым, все-таки довольно трудное... Вставать нужно в 5 часов...

– Зимой тоже?

– Зимой тоже... Да, непременно... И почему вы спрашиваете: «Зимой тоже?..» Разве зимой меньше работы?.. Вот смешной вопрос!.. Горничная убирает лестницу, гостиную, кабинет барина... топит все печи... Кухарка убирает переднюю, коридоры, столовую... Я страшно люблю чистоту... Я не желаю видеть у себя в доме нигде ни пылинки... Замки у дверей должны быть хорошо вычищены, мебель должна сверкать чистотой, зеркала хорошо вытерты... У меня горничная смотрит также за птицей...

– Но я этого не умею, барыня.

– Вы научитесь... Затем горничная стирает и гладит все белье, за исключением рубашек барина. Она шьет все в доме, я ничего не отдаю из дому, кроме своих костюмов... Она прислуживает за столом и помогает кухарке вытирать посуду... Она натирает полы... Везде должен быть порядок... образцовый порядок... Главное у меня – это порядок и чистота, а уж особенно честность... Впрочем, у меня все под замком... Когда что-нибудь нужно, надо это спросить у меня, и я выдаю... Я противница всякой роскоши и мотовства... Что вы пьете по утрам?

– Кофе с молоком, барыня.

– Кофе с молоком?.. Вы не стесняете себя... Да, они все теперь пьют кофе с молоком... Ну а у меня это не принято... Вы будете получать суп по утрам... это лучше для желудка... Что вы говорите?..

Жанна ничего не сказала... Но видно было, что она делает усилия, чтобы что-то такое сказать. Наконец, она решилась:

– Простите, пожалуйста, барыня... А что пьет у вас прислуга?

Им выдается шесть литров сидра в неделю...

– Я не могу пить сидра, барыня... Мне это запретил доктор.

– А, вам это запретил доктор... Ну, а я вам буду выдавать шесть литров сидра. Если вы захотите вина, вы будете его для себя покупать. Это – ваше дело... Какое вы хотите получать жалование?

Жанна колебалась, смотрела на ковер, на часы, на потолок, беспомощно вертела свой зонтик в руках и наконец робко сказала:

– Сорок франков.

– Сорок франков! – воскликнула дама. – А почему не десять тысяч франков? Но это неслыханно! В прежние времена платили 15 франков и имели гораздо лучшую прислугу... Сорок франков! И вы даже не умеете откармливать птицу! Вы ничего не умеете! Я плачу 30 франков и нахожу, что и это слишком дорого... У меня вы не будете иметь никаких расходов... Я нетребовательна насчет туалета... И вас кормят... на вас стирают белье!.. И один Бог знает, как хорошо вас кормят... Я сама выдаю пищу.

Жанна настаивала.

– Я получала 40 франков на всех местах, где я была...

Дама встала и сказала сухо и со злостью:

– Прекрасно... надо вернуться на эти места... Сорок франков! Это бесстыдство!.. Вот ваши аттестаты... аттестаты, выданные вам мертвецами... Убирайтесь...

Жанна заботливо завернула опять свои аттестаты в бумагу и положила их в карман своего платья. Потом она сказала страдальческим и робким голосом:

– Если бы барыня могла прибавить еще 5 франков... до 35... можно было бы сговориться...

– Ни одного су... Ступайте... Поезжайте в Алжир к вашей г-же Робер... Идите, куда хотите... Таких бродяг, как вы, можно найти достаточно... их много... Ступайте...

Медленной походкой и с грустным лицом Жанна вышла из конторы, сделав два реверанса. По ее глазам и по тому, как она кусала себе губы, я видела, что она готова была заплакать.

Оставшись одна, дама в ярости вскричала:

– О, какая язва – эти слуги... Нельзя больше найти прислуги в наше время!

На это госпожа Пола Дюран, кончившая убирать ящик своего письменного стола, ответила с величественным, удрученным и вместе с тем строгим видом:

– Я вас предупреждала, сударыня. Они все таковы... Они ничего не хотят делать, а получать хотят сотни и тысячи... Ничего другого у меня сегодня нет... у меня есть только худшие... Завтра я постараюсь найти для вас что-нибудь подходящее. Это очень прискорбно, уверяю вас...

Я слезла со своего наблюдательного пункта в ту самую минуту, когда Жанна, взволнованная, входила в переднюю.

– Ну что? – спросили у нее товарки.

Она села на скамейку в глубине комнаты и с опущенной головой, скрещенными руками, тяжелым сердцем и пустым желудком сидела и молчала, и только видно было, как ее маленькие ноги нервно двигались под платьем...

Но я видела еще более грустные вещи.

Между девушками, которые приходили каждый день к госпоже Пола Дюран, я особенно заметила одну, сначала потому, что она но. сила бретонский головной убор, и затем главным образом потому, что вид ее наводил на меня непобедимую грусть. Я не могу себе представить ничего более жалкого, чем крестьянку, попавшую в Париж, в этот ужасный Париж, где все и все постоянно толкуются и лихорадочно несутся неизвестно куда. Невольно я вспоминаю себя в таком же положении, и это меня страшно расстраивает... Куда она идет? Откуда она пришла? Почему покинула она родной край? Какое безумие, какая драма, какой порыв бури толкнул ее, бросил ее в это бушующее человеческое море, ее – такую печальную, такую затерянную?... Эти вопросы я предлагала себе каждый день, когда смотрела на эту бедную девушку, такую страшно одинокую там, в уголке, посреди всех нас...

Она была безобразна тем окончательным безобразием, которое отнимает у людей всякую веселость и делает их жестокими, вероятно, потому, что это безобразие слишком оскорбляет их взор. Как бедно природа ни одарила бы женщину красотой, редко все-таки случается, чтобы женщина не имела в себе ничего красивого или привлекательного. Обыкновенно в ней есть хоть что-нибудь: глаза, рот, что-нибудь изящное в фигуре, в изгибе бедер, еще меньше, чем это – в движении рук, свежести кожи, что-то, на чем мог бы остановиться чужой глаз, не чувствуя себя оскорбленным. Даже у очень старых женщин почти всегда можно найти что-нибудь красивое, приятное, что пережило годы, разрушения возраста – всегда остается воспоминание хоть о том, что было в них привлекательного когда-то... В бретонке не было ничего подобного, а ведь она была совсем молоденькая. Маленькая, с плоским бюстом, с четырехугольной талией, с плоскими бедрами, с короткими ногами, такими короткими, что ее можно было принять за калеку, она напоминала собой плоских и курносых идолов, которых варвары выбивали из гранитных глыб. А ее лицо?.. О, несчастная!.. Косой нависший лоб, бледные, как бы полинявшие зрачки, ужасный нос, плоский в начале, со шрамом посередине и вдруг вздернутый на конце, открывающий две черных, круглых, глубоких, громадных дыры с жесткими волосами в них... А над всем этим серая чешуйчатая кожа, кожа мертвой змеи... Кожа, которая при свете кажется как бы осыпанной мукой... Но была все-таки у нее, – у этого несчастного создания, одна красота, которой позавидовали бы многие красивые женщины: ее волосы... великолепные, густые, роскошные волосы, ослепительного, ярко-рыжего цвета с красновато-золотистым отливом. Но, далеко не смягчая ее безобразия, эти волосы, наоборот, еще увеличивали его – они выделяли его, делали сверкающим, непоправимым...

Однажды я, преодолевая свое отвращение, подошла к ней и спросила:

– Как вас зовут?

– Луиза Рандон.

– Я бретонка – из Одиерна... А вы, кажется, тоже бретонка?

Удивленная, что с ней заговорили, и подозревая оскорбление или насмешку, она ответила не тотчас... Она засунула палец в нос и молчала. Я повторила свой вопрос:

– Из какой части Бретани вы родом?

Тогда она посмотрела на меня и, увидев, без сомнения, что в моих глазах не было ни злости, ни насмешки, решила мне ответить:

– Я родом из Сен-Мишель-Грева... возле Ланиона.

Больше я не находила, что ей сказать... Ее голос меня отталкивал. Это не был человеческий голос, это было что-то хриплое, разбитое и прерывистое, как икота... Что-то у нее в горле переливалось, когда она говорила. При звуке этого голоса куда-то ушла вся моя жалость... Все-таки я продолжала:

– А ваши родители еще живы?

– Да... у меня есть отец... мать... два брата... четыре сестры... Я самая старшая...

– А чем занимается ваш отец?

– Он – кузнец.

– Вы бедны?

– У моего отца есть три дома... много земли... три молотилки...

– Значит, он богат?

– Конечно, богат. Он возделывает свои поля, свои дома он сдает в наем, со своими молотилками он разезжает по деревням и молотит хлеб у крестьян, а в это время мой брат работает в кузнице.

– А ваши сестры?

– У них красивые головные уборы с кружевами... и богатые, вышитые платья.

– А у вас?

– У меня ничего нет.

Я отступила немножко, чтобы не чувствовать этого зловония, которое шло из ее рта при разговоре.

– Почему же вы служите? – продолжала я свои расспросы.

– Потому что...

– Почему покинули вы родной край?

– Потому что...

– Вы не были счастливы дома?..

Она отвечала очень быстро, слова перекатывались у нее в горле, как по камушкам:

– Мой отец бил меня... моя мать била меня... сестры меня били... все меня били и заставляли исполнять все работы в доме... Я вырастила моих сестер...

– За что же били вас?

– Я не знаю... просто, чтобы бить... Во всех семьях всегда есть одна, которую всегда бьют... так себе... неизвестно почему...

Мои вопросы уже не смущали ее. Она прониклась ко мне доверием...

– А вас... разве ваши родители не били?

– Конечно, били.

– Вот видите... это всегда так...

Луиза больше не ковыряла в носу; свои руки с изгрызенными ногтями она положила себе на колени. Вокруг нас шептались... Смех, спор, жалобы мешали другим слушать наш разговор...

– Но каким образом попали вы в Париж? – спросила я после некоторого молчания.

– В прошлом году, – начала рассказывать Луиза, – в Сен-Мишель-Греве жила одна дама из Парижа с детьми; они купались там в море. Я предложила ей свои услуги, потому что она рассчитала там свою служанку, которая ее обкрадывала. А потом она взяла меня с собой в Париж... для ухода за ее отцом, стариком и калекой, так как у него были парализованы ноги...

– И вы не остались на вашем месте? В Париже далеко не так легко устроиться...

– Нет, – ответила она протестующим тоном. – Я осталась бы охотно там, дело было не в моем нежелании оставаться... Но там кое-что вышло...

Ее тусклые глаза странно осветились. В них блеснул луч радости и даже гордости. И вся она выпрямилась и почти преобразилась...

– Да, там вышли неприятности, – повторила она. – Старик приставал ко мне с грязными предложениями...

Одно мгновение я была как бы оглушена этим открытием. Возможно ли это? В ком-то, хотя бы в грязном и развратном старике, это уродливое создание, эта чудовищная насмешка природы, этот безобразный кусок мяса возбудил желание!.. Кто-то хотел целовать эти гнилые зубы, чье-то дыхание хотело слиться с ее зачумленным дыханием... Боже мой! Как же ужасны люди! Какое страшное безумие – любовь... Я посмотрела на Луизу. Но блеск в ее глазах уже потух... Ее зрачки опять приняли мертвый вид серых пятен.

– А давно это было? – спросила я.

– Три месяца...

– И с тех пор вы не нашли другого места?

– Никто больше не хочет меня взять... Я не знаю, почему... Когда я вхожу в бюро, все дамы при виде меня кричат: «Нет, нет... этой я не хочу!» Какой-то рок тяготеет надо мной, без сомнения... Потому что в конце концов я ведь не уродлива... я очень сильна... я хорошо знаю свое дело... и я очень прилежна... Если я мала ростом, то ведь в этом я не виновата... Нет, несомненно, меня преследует судьба...

– Как же вы теперь живете?

– В меблированных комнатах; я убираю там весь дом и чищу все белье. За это я получаю соломенный тюфяк, на котором сплю на чердаке, и один раз в день, утром, поесть...

Значит, были еще более несчастные девушки, чем я!.. Эта эгоистическая мысль вернула в мое сердце исчезнувшую было жалость к несчастной Луизе.

В эту минуту дверь передней раскрывалась. Резкий голос госпожи Пола Дюран позвал:

– Мадемуазель Луиза Рандон!

– Это меня зовут? – спросила у меня Луиза, испуганная и дрожащая.

– Ну да... вас... Идите скорей и пошли вам Бог удачи на этот раз...

Я взобралась на скамейку и открыла форточку, чтобы видеть сцену, которая сейчас должна была произойти... Никогда салон г-жи Пола Дюран не казался мне более грустным, а между тем один Бог знает, как леденела у меня душа каждый раз, когда я входила туда!.. О! эта голубая репсовая мебель, пожелтевшая от долгого употребления, эта большая книга, разложенная на столе, покрытом тоже голубой репсовой скатертью, скрывавшей чернильные пятна и полосы на нем... И этот пюпитр, на почерневшей поверхности которого локти господина Луи оставили более светлые и блестящие места... И буфет в глубине комнаты, в котором было расставлено стекло, купленное на ярмарке, посуда, доставшаяся госпоже Пола Дюран по наследству... И на камине, между пожелтевшими фотографическими карточками – эти часы, которые своим раздражающим нервы тик-гак, казалось, делали дни и более длинными, и грустными... И эта клетка в виде купола, в которой две тоскующие канарейки раздували свои больные перья...

Но я стояла и смотрела туда не для того, чтобы составить опись вещей, находящихся в этой комнате, которую я знала – увы! – слишком хорошо... Хорошо знакомо было мне это мрачное помещение, такое трагическое, несмотря на свой внешний вид буржуазного довольства, которое много раз мое сумасшедшее воображение представляло себе зловещим местом продажи человеческого мяса... Нет... я стояла здесь для того, чтобы видеть Луизу Рандон в схватке с покупательницей рабынь...

Луиза стояла там у окна в тени, с опущенными руками. Густая тень закрывала как бы вуалью ее безобразное лицо и как бы увеличивала еще больше уродство ее короткой, толстой фигуры... Резкий свет освещал ее низко спущенные волосы, обрисовывал искривленные очертания ее плеч, груди и пропадал в черных складках ее жалкой юбки... Какая-то старая дама разглядывала ее. Так как эта дама сидела в кресле, то я видела только ее спину – неприятную, враждебную спину и злой, жесткий затылок. Я видела также ее черную шляпу со смешными перьями, ее черную ротонду, подбитую серым мехом, ее черное платье, подол которого лежал на ковре... Особенно хорошо я видела ее руку на коленях, одетую в черную вязаную перчатку, узловатую руку ревматички, которая медленно двигалась и, то сжимая, то разжимая пальцы, мяла материю платья, как когти зверя живую еще добычу... Стоя возле стола, держась прямо и с большим достоинством, госпожа Пола Дюран ожидала результата переговоров.

Ведь, кажется, ничего особенного не было во встрече этих трех обыкновенных людей при этой обыкновенной обстановке. Кажется, что в таком банальном факте ничего не было такого, на чем можно было бы остановиться, что могло бы тронуть, взволновать душу... А мне встреча этих трех человек, которые стояли там и молча смотрели друг на друга, показалась страшной драмой... У меня было такое чувство, как будто я присутствую при страшной социальной трагедии, хуже, чем при убийстве! У меня пересохло в горле, а сердце страшно билось...

– Я вас не хорошо вижу, моя милая! – сказала вдруг старая дама. – Не стойте там... Я вас плохо вижу... Пройдитесь в конец комнаты, чтобы я вас лучше видела...

И она воскликнула удивленным тоном:

– Боже мой, какая вы маленькая!

Луиза по приказанию старой дамы прошла в конец комнаты. Желание нравиться делало ее действительно чудовищной, придавало ей особенно отталкивающий вид. Как только она стала у света, старая дама воскликнула:

– О, как вы безобразны, моя милая! – и, призывая в свидетели госпожу Пола Дюран, старуха проговорила:

– Возможно ли в самом деле, чтобы в мире существовали такие уроды, как эта девушка?

Как всегда строгая и важная госпожа Пола Дюран ответила с достоинством:

– Да, она, без сомнения, не красавица, но зато девушка очень честная...

– Возможно, – возразила старая дама. – Но она слишком безобразна... Такое безобразие страшно отталкивает... Что? Что вы сказали?

Луиза не произнесла ни одного слова. Она только немножко покраснела и опустила голову. Красное пятно появилось возле ее тусклых глаз. Мне показалось, что она сейчас заплачет...

– Впрочем, мы посмотрим... – сказала дама, пальцы которой в эту минуту особенно сильно задвигались и движениями дикого животного теребили материю платья. Она стала расспрашивать Луизу о ее семье, о местах, где она до сих пор служила, умеет ли она готовить, шить, знает ли хозяйство... Луиза отвечала «да, барыня...» или «нет, барыня...» прерывистым, хриплым голосом. Этот допрос, подробный, злой, мучительный, продолжался 20 минут.

– В конце концов, – заключила старуха, – выходит из всех ваших рассказов, что вы ничего не умеете делать. Мне надо будет вас учить всему. В продолжение четырех или пяти месяцев вы мне не будете приносить никакой пользы. И потом то, что вы так безобразны, – это тоже мало привлекательно... Этот шрам на носу? Вы ушибли когда-нибудь свой нос?

– Нет, это у меня от рождения... Он у меня всегда такой был...

– Ах, это противно... Какое вы хотите получать жалованье?

– Тридцать франков... ваша стирка... и вино... – ответила Луиза решительным тоном. Старуха вскочила:

– Тридцать франков! Но вы, значит, никогда не видели себя в зеркале? Это безумие! Как? Ведь никто не хочет вас брать... никто никогда не захочет вас взять к себе... Если я беру вас, то только потому, что я добра... потому что в глубине души мне жаль вас, а вы просите 30 франков жалованья... Да, вы смелы, моя милая... Это, конечно, советы ваших товарок... Напрасно вы их слушаетесь...

– Конечно, – поддержала ее госпожа Пола Дюран... – они там все вместе Бог весть что воображают себе...

– Вот что! – предложила старуха примиряющим тоном. – Я вам буду платить пятнадцать франков. Вино вы будете сами покупать себе. И это слишком много, но я не хочу пользоваться вашим безобразием и нищетой для своей выгоды.

Она смягчилась. Ее голос стал почти ласков:

– Видите ли, моя милая... Это единственный случай, которого вы больше не найдете... Я не похожа на других... я одна... у меня нет семьи... у меня нет никого... Моя семья – это моя служанка... И чего же я от нее прошу? Чтобы она меня немножко любила – вот и все... Моя служанка живет вместе со мною, ест вместе со мною... кроме вина... О, я ее балую... А потом, когда я умру – я стара и часто болею, – когда я умру, то, конечно, не забуду той, которая мне была преданна, служила мне хорошо, ухаживала за мной... Вы безобразны... очень... слишком безобразны... Но, Боже мой, я привыкну к вашему безобразию, к вашему лицу... Есть красивые, но очень злые женщины, которые вас обкрадывают, это верно... Безобразие – это иногда гарантия хорошего, нравственного поведения в доме. Ведь вы же не будете приводить мужчин ко мне в дом, я надеюсь? Вы видите, что я справедлива к вам. И при

этих условиях, и при моей доброте то, что я вам предлагаю, моя милая... ведь это для вас богатство... это лучше богатства... это семья для вас!

Луиза была поколеблена, тронута. Несомненно, слова старухи пробудили в ней не знакомые ей до сих пор надежды... ее алчность крестьянки представляла себе сундуки, полные холста, баснословные завещания... И совместная жизнь с этой доброй хозяйкой, общий стол, частые прогулки в городские скверы и пригородные леса – все это восхищало ее. Но и вселяло в нее также страх, потому что сомнение, непобедимое и страшное какое-то недоверие, бросали тень на эти блестящие обещания... Она не знала, что сказать, что сделать, на что решиться... У меня было желание крикнуть ей: «Нет! Не принимай!..» О! Я представляла себе эту жизнь затворницы, эту изнурительную работу, эти резкие упреки, эту скудную пищу, состоящую из костей и испорченного мяса, которую она будет получать, и вечную, настойчивую, мучительную эксплуатацию этого бедного, беззащитного существа! «Нет, не слушай ее больше, уходи!» Этот крик, который был у меня на устах, я подавила...

– Подойдите ко мне поближе, моя милая... – приказала старуха... – Вы как будто боитесь меня... Ну, не бойтесь... подойдите ближе... как это странно... вы мне кажетесь уже не такой безобразной... Я уже привыкаю к вашему лицу...

Луиза медленно подходила, вся напряженная, стараясь не задеть мебели, не толкнуть ничего, делая усилия казаться изящной, грациозной – бедное создание! Но, как только она подошла близко к старухе, последняя с гримасой оттолкнула ее от себя.

– Боже мой! – воскликнула она, – но что это такое у вас? Почему от вас так скверно пахнет? Ваше тело гниет, разлагается? Это ужасно! это невероятно... Я никогда не слышала такого запаха, как от вас! У вас рак в носу... в желудке, может быть?

Госпожа Пола Дюран сделала благородный жест рукою.

– Я вас предупреждала, сударыня, – сказала она. – Вот ее главный недостаток. Именно это мешает ей найти место.

Старуха продолжала причитать:

– Боже мой! Боже мой! Возможно ли это? Ведь вы заразите этим запахом весь дом... Ведь невозможно приблизиться к вам... Это меняет наши условия... А я уже было прониклась такой симпатией к вам!.. Нет, нет... несмотря на всю мою доброту, это невозможно... это теперь невозможно!..

Она вынула свой носовой платок и, зажимая им нос, повторяла:

– Нет, это действительно невозможно!..

– Сударыня! – вмешалась госпожа Дюран. – Сделайте над собой усилие... возьмите к себе эту девушку... Я уверена, что эта несчастная девушка будет вам за это вечно благодарна...

– "Благодарна?.. Это очень хорошо... Но ведь благодарность не излечит ее от этого ужасного недостатка... Впрочем, пусть будет так!.. Но я буду платить ей только 10 франков... только 10 франков... и теперь, как ей будет угодно...

Луиза, которая до сих пор сдерживала свои слезы, теперь разразилась рыданиями. Задышавшись, она пролепетала:

– Нет... я не хочу... я не хочу... я не хочу...

– Послушайте, мадмуазель, – сказала сухо госпожа Дюран... – Вы должны принять это место, или я никогда больше не буду вам давать никаких мест... Вы можете тогда идти искать себе место через другие бюро...

– Это очевидно! – сказала старуха. – И за эти десять франков вы должны были бы быть мне благодарны... Только из жалости, из чувства милосердия я вам их предлагаю... Как вы не понимаете, что это просто доброе дело, в котором я, без сомнения, раскаюсь, как другие?

Она обратилась к госпоже Дюран:

– Что делать? Я всегда такова... я не могу видеть, как страдают люди... Я становлюсь непрактичной при виде несчастных, обделенных судьбой!.. Ведь не меняться же мне в моем возрасте? Идемте, моя милая, я вас возьму сейчас же с собой...

При этих словах судорога сжала мне горло, и я должна была покинуть свой наблюдательный пункт. С тех пор я никогда больше не видела Луизы...

Через два дня госпожа Дюран торжественно пригласила меня в контору и после тщательного и немного даже назойливого и смущающего осмотра сказала:

– Мадемуазель Селестина... у меня есть хорошее, очень хорошее место для вас... Только нужно будет поехать в провинцию... О, не очень далеко...

– В провинцию? Я туда не стремлюсь, вы знаете...

Пола Дюран произнесла:

– Вы не знаете провинции... В провинции есть прекрасные места.

– О, прекрасные места... Вот уж неправда! – ответила я. – Во-первых, нигде нет хороших мест...

Г-жа Пола ласково и жеманно улыбнулась. Никогда я не видела у нее такой улыбки.

– Простите, пожалуйста, мадемуазель Селестина... Нет дурных мест...

– Черт возьми! Я это хорошо знаю... есть только дурные хозяева...

– Нет, есть только дурные слуги... Смотрите, я вам даю самые лучшие дома, и это не моя вина, если вы не удерживаетесь на местах...

Она посмотрела на меня почти с любовью.

– Тем более что вы очень умны... Вы представительны, у вас хорошенькое личико, прелестная фигура, очаровательные руки, совсем не испорченные работой, и глаза, которые не спрячешь в кармане... Нельзя предвидеть, какие это могут быть счастливые случайности... при хорошем поведении с вашей стороны...

– При нехорошем поведении... хотели вы сказать.

– Это зависит от того, как смотреть на дело... Я называю это хорошим поведением...

Она размякла. Все ее достоинство исчезло. Передо мной была старая горничная, способная на всякие пошлости... Глаза у нее сделались масляные... движения стали ленивы и мягки, а губы стали блестеть, как я это наблюдала у всех сводниц, вроде г-жи Ревекки Ранвэ, например. Она повторила:

– Я это называю хорошим поведением.

– Это, что это? – спросила я.

– Послушайте, мадмуазель... Вы не дебютантка, и вы знаете жизнь... С вами можно говорить... Речь идет об одном одиноком... уже пожилом господине... недалеко от Парижа... очень богатом... да... впрочем, довольно богатом. Вы будете заведовать у него всем домом... чем-то вроде гувернантки... понимаете?... Такие места очень редки... очень деликатны... и очень выгодны... Такое место – это обеспеченное будущее для такой красивой и умной женщины, как вы, если только, я повторяю, она будет разумно вести себя...

Это был предел моего честолюбия. Много раз я рисовала себе великолепное будущее, основанное на любви какого-нибудь старика ко мне, и этот рай, о котором я мечтала, был здесь, передо мной... он звал меня... он улыбался мне. По какой-то необъяснимой иронии жизни, по какому-то глупому противоречию, причины которого я до сих пор не могу понять, я наотрез отказалась от этого счастья, которого я желала столько раз и которое наконец представилось мне.

– Старый развратник... о, нет!., я отказываюсь взять это место... Они мне слишком отратительны – все мужчины, молодые, старые – все...

Несколько секунд Пола Дюран молчала, пораженная, смущенная. Она не ожидала этой выходки... Потом, приняв опять свой строгий и достойный вид, которым она хотела показать

ту пропасть, которая отделяет ее, корректную буржуазку, какой она хотела быть, – от меня, распушенной дочери богемы, сказала:

– Ах так, мадемуазель. О чем же вы думаете?.. За кого же вы меня принимаете?.., что вы воображаете себе?

– Я ничего не воображаю. Только, я повторю вам это, мне страшно надоели мужчины... вот и все!

– Понимаете ли вы, о ком вы говорите? Этот господин, мадемуазель, очень уважаемый человек. Он член Общества св. Викентия и Павла. Он был роялистским депутатом, мадемуазель...

Я расхохоталась:

– Да... да... продолжайте! Я их знаю, ваших святых Викентиев и Павлов... и всех святых, черт их возьми... и всех депутатов... Нет, спасибо...

Потом вдруг, без всякого перехода я спросила:

– А что он такое на самом деле, ваш старик? Ведь в конце концов... одним больше... одним меньше... не все ли равно...

Но Пола Дюран не смягчалась. Она заявила твердым голосом:

– Бесплезно, мадемуазель. Вы не та серьезная женщина... особа, которой можно все доверить, какая нужна этому господину. Я думала, что вы более положительный человек... с вами нельзя быть ни в чем уверенной...

Я долго настаивала... Она была непоколебима... И я вошла в переднюю с тяжелым, смущенным сердцем... О, эта печальная, мрачная, всегда одинаковая передняя! Эти выставленные напоказ девушки, сидящие такие подавленные на скамейках... этот рынок человеческого мяса, нужного ненасытной буржуазии... эти бедствия и грязь, которые приводят вас сюда, несчастные, заблудшие существа, обломки кораблекрушения, вечно бросаемые из стороны в сторону...

– Какой я странный человек!.. – думала я. – Я стремлюсь, я мечтаю об идеалах, когда я думаю, что они неосуществимы, а как только они близятся к осуществлению, как только они облекаются в конкретные формы... я больше их не хочу...

Это присущее мне свойство было, несомненно, причиной моего отказа; но тут примешалось также мальчишеское желание унижить госпожу Дюран, уличить ее, так высокомерно и презрительно ко всем относящуюся, в сводничестве...

Я сожалела, что не пошла к старику, который теперь имел в моих глазах всю прелесть неизвестности, всю привлекательность недостижимого идеала... И я представляла себе его наружность... чистенький старичок, с мягкими руками, с красивой улыбкой на розовом и чисто выбритом лице; я рисовала его себе веселым, добродушным, великодушным, не слишком страстным, не таким маньяком, как господин Рабур, – и позволяющим мне водить себя, управлять им, как маленькая собачка...

– Подите сюда... Ну, подите сюда...

И он подходит, ласковый, вертлявый, с добрым и покорным взглядом.

– Ну, теперь послужите...

И он служит, такой забавный, стоя, вытянувшись на задних лапках, а передними размахивая в воздухе...

– О! милая собачка!..

Я ему давала сахар... Я ласкала его шелковистый затылок. Он мне не был противен... и я все продолжала думать:

– И глупа же я, правду сказать!.. Добрый старик... прекрасный сад... прекрасный дом... деньги, покой, обеспеченное будущее... Отказаться от всего этого! И не зная даже почему? И никогда не знать того, чего хочешь! Я отдавалась многим мужчинам и в глубине души боюсь. Больше того – мне отвратителен мужчина, когда он далек от меня. Когда он

возле меня, я отдаюсь ему так же легко, как больная курица... и я способна на всевозможные безумства. Я борюсь только с вещами, которые никогда не должны случиться, и могу противостоять только мужчинам, которых я никогда не узнаю... Я уверена, что я никогда не буду счастлива...

Приемная меня давила. Эта мрачность, этот тусклый свет, эти несчастные, выставленные на продажу, вызывали во мне все более и более мрачные мысли... Что-то тяжелое, неподдающееся висело надо мной... Не ожидая закрытия бюро, я ушла с тяжелым сердцем, со сдвинутым горлом... На лестнице я встретила с г-ном Луи. Держась за перила, он медленно и с трудом взбирался по ступеням... Секунду мы смотрели друг на друга... Он мне ничего не сказал... я тоже молчала. А я не находила ни одного слова сказать ему... но наши взгляды сказали все... Ах! он тоже не был счастлив... Одну минуту я стояла и слушала, как он взбирался по лестнице, потом я быстро сбежала вниз... Бедный малый!

На улице я стояла минуту, как оглушенная... Я искала глазами поставщиц любовного товара... круглую спину и черный туалет госпожи Ревекки Ранвэ. Ах! если бы я ее увидела, я бы пошла к ней, я бы отдалась ей... Но ни одной не было там... Проходили занятые, равнодушные люди, которые не обращали никакого внимания на мое несчастье... Тогда я остановилась у какого-то кабака и купила там бутылку водки; затем, побродив еще немного с отупевшей и тяжелой головой по улице, вернулась в свои меблированные комнаты...

Поздно вечером я услышала стук в дверь. Я лежала, вытянувшись на кровати, наполовину голая, отупевшая от выпитой водки.

– Кто там? – крикнула я.

– Это я...

– Кто ты?

– Гарсон...

Я встала, с открытой грудью, с распущенными по плечам волосами, и открыла дверь:

– Чего тебе нужно?

Гарсон улыбнулся. Это был высокий парень, с рыжими волосами, которого я несколько раз встретила на лестнице и который всегда смотрел на меня странными глазами.

– Чего тебе нужно? – повторила я.

Гарсон продолжал улыбаться, смущенный, и, вертя в грубых пальцах свой синий передник, испачканный жирными пятнами, он пробормотал:

– Мамзель, я...

Он с угрюмым видом, но жадно смотрел на мою грудь, на мой почти голый живот, на мою рубашку, которая держалась только на изгибах бедер...

– Ну, входи... животное... – вдруг крикнула я.

И, толкнув его в свою комнату, с силой захлопнула дверь за нами обоими...

О какая гадость! Как я была жалка и несчастна!.. Нас нашли утром пьяными на кровати... и в каком виде. Боже мой!.. Гарсона рассчитали... Я никогда не узнала его имени.

Я не хотела бы расстаться с рекомендательной конторой госпожи Дюран, не вспомнив об одном бедняке, которого я там встретила.

Это был садовник, овдовевший всего четыре месяца назад. Теперь он искал места. Среди стольких печальных лиц, которые прошли там передо мною, я, кажется, не видела ни одного такого жалкого и грустного, такого измученного жизнью лица, какое было у него. Его жена умерла от выкидыша – от выкидыша ли? – накануне того дня, когда после двухмесячной безработицы они оба получили наконец место в одном имении: она – в качестве птичницы, он – как садовник. Потому ли, что ему не везло, или просто жизнь его измучила и опротивела ему – но со времени этого большого несчастья он ничего не нашел; он даже не искал ничего... И то, что у него осталось от его маленьких сбережений, быстро растаяло за эти четыре месяца безработицы. Хотя он был очень недоверчив, мне все-таки удалось его

немножко приручить... Я приведу в форме безличного рассказа эту, такую простую и вместе с тем мучительную драму, которую он мне рассказал однажды, когда я, сильно растроганная его несчастьем, выказала много внимания и сочувствия к его горю. Вот она.

Когда они осмотрели сады, террасы, теплицы и у входа в парк домик садовника, который был роскошно обвит плющом, индийским жасмином и диким виноградом, – они подошли, мучимые тоскливым ожиданием и страхом, к лужайке, где графиня следила глазами, полными любви, за своими тремя детьми. С белокурыми головками, в светлых платьицах, с розовыми и счастливыми личиками, дети играли на траве под наблюдением гувернантки. В двадцати шагах от лужайки они почтительно остановились, муж с открытой головой, с шапкой в руках, жена – робкая и смущенная под своей черной соломенной шляпой и, по-видимому, сильно зятая, в черном шерстяном платье. Чтобы преодолеть смущение, он вертела в руках цепочку от маленького кожаного мешочка. Вдали парк открывал между гущей деревьев зеленые извилистые лужайки.

– Подойдите ближе, – сказала графиня с ободряющей и подкупающей добротой в голосе.

У мужа было загорелое и обветренное лицо, большие грубые и узловатые руки земляного цвета, концы пальцев которых были обезображены и блестели от постоянного прикосновения к разным инструментам. Жена была несколько бледна какой-то сероватой бледностью и в веснушках... Она была также немного неуклюжа, но имела очень чистый, опрятный вид. Она не смела поднять глаз на эту прекрасную даму, которая сейчас станет ее назойливо рассматривать, осыпать бесконечными вопросами, перевернет ей душу и тело, как и все другие... И она с интересом и восхищением смотрела на этих прелестных, играющих на траве детей, у которых уже были красивые заученные манеры... Муж и жена медленно приблизились на несколько шагов и оба механическим и одновременным жестом скрестили руки на животе.

– Ну? – спросила графиня. – Вы все осмотрели?

– Графиня очень добра... – ответил муж. – Все очень красиво... все очень хорошо... О, это великолепное имение... Но... тут немало работы...

– И я очень требовательна, предупреждаю вас. Очень справедлива, но очень требовательна. Я люблю, чтобы все содержалось идеально. И цветов... цветов... цветов... всегда и повсюду... Впрочем, вы имеете двух помощников летом, одного – зимой. Этого достаточно...

– О! – возразил муж. – Работа меня не смущает. Чем больше ее, тем я довольнее. Я люблю свое дело и я его знаю. Деревья, ранние овощи, мозаика из цветов. Я знаю все... Что же касается цветов, то когда есть трудолюбивые руки, вкус, вода, достаточно соломы... и простите за выражение, графиня, когда не жалеешь навоза, всегда можно иметь то, чего хочешь...

После небольшой паузы он продолжал:

– Моя жена тоже трудолюбива, ловка и хорошо справляется со своим делом... Она не очень сильна с виду, но она работница, она никогда не хворает и умеет обращаться с животными, как никто... Там, где мы служили, было три коровы и двести кур. Вот как!..

Графиня одобритительно кивнула головой.

– А помещение вам нравится?

– Помещение тоже прекрасное. Оно как будто бы даже слишком велико для таких маленьких людей, как мы... и у нас нет достаточного количества мебели, чтобы обставить его... Но это, конечно, обойдется... И потом, что далеко от замка... это хорошо... Господа не любят, когда их садовники живут слишком близко... а мы тоже, мы боимся стеснить... И таким образом всякий живет себе отдельно... Так лучше для всех. Только...

Муж остановился, охваченный внезапной робостью перед тем, что он хотел сказать.

– Только... что? – спросила графиня после некоторого молчания, которое еще усилило смущение садовника.

Последний еще сильнее сжал шапку, которую он держал в руках, смял ее своими грубыми пальцами и наконец осмелился:

– Вот что! – сказал он. – Я хотел сказать, графиня, что жалованье слишком мало для такого места. Это очень мало... Как ни стараться, как ни сокращать себя во всем, но на такое жалованье нельзя будет прожить... Может быть, ваше сиятельство прибавит немного...

– Вы забываете, мой друг, что вы получаете квартиру, отопление, освещение, овощи и плоды... что я даю дюжину яиц в неделю и литр молока каждый день. Это страшно много...

– А! так графиня дает молоко и яйца? И освещение тоже?

И, как бы желая посоветоваться с женой, он посмотрел на нее, бормоча:

– Да!., это тоже кое-что... этого нельзя отрицать... это неплохо...

Жена, в свою очередь, тоже прошептала:

– Конечно... это немножко улучшает дело...

Потом она прибавила смущенная, взволнованная:

– Графиня делает, конечно, подарки к новому году и к Пасхе?

– Нет, ничего...

– Но это в обычае...

– Не в моем...

– А как с хорьками... и другими зверьками?.. – спросил в свою очередь муж.

– Нет... тоже нет... Я вам даю их шкурки!

Это было сказано сухим, не допускающим возражения тоном. Потом она резко сказала:

– И я вас предупреждаю раз и навсегда, что я запрещаю садовнику продавать или дарить кому бы то ни было зелень и овощи. Я знаю, что их всегда слишком много родится и что три четверти портится. Ничего не значит. Я предпочитаю, чтобы они портились...

– Конечно... как везде...

– Ну, значит, так!.. Сколько лет вы женаты?

– Шесть лет, – ответила жена.

– У вас нет детей?

– У нас была маленькая девочка... Она умерла!

– А! это хорошо... это очень хорошо... – пренебрежительно одобрила графиня. – Но вы еще оба молоды... вы можете еще иметь детей?

– Ну, этого мы совсем не желаем, графиня. Но ручаться нельзя... Их легче иметь, чем сто экю годового дохода...

Глаза графини стали строги:

– Я должна вас еще предупредить, – сказала она, – что я не хочу, ни за что не хочу иметь у себя детей. Если у вас появится ребенок, я буду вынуждена рассчитать вас... сейчас же... О, только не дети!.. Они кричат, они везде ходят, они все опустошают... они пугают лошадей и распространяют заразу... Нет... нет... ни за что на свете я не потерплю у себя детей... Вы предупреждены. Так старайтесь как-нибудь устроиться... Примите меры...

В эту минуту один из детей, который упал, пришел искать защиты у матери и с плачем спрятался в складках ее платья. Она взяла его на руки, стала баюкать, ласкать, осыпала его самыми нежными словами, страстно целовала его, и, успокоенный ею, улыбающийся ребенок пошел играть к остальным детям... Женщина вдруг почувствовала, как у нее стало горько, тяжело на душе. Ей с трудом удалось сдержать свои слезы... Значит – радость, нежность, любовь, материнство существуют только для богатых? Дети опять стали играть на лужайке. И женщина вдруг возненавидела этих детей дикой ненавистью... Она хотела бы их оскорбить как-нибудь, поколотить, убить... Оскорбить и ударить эту бесстыдную и жестокую госпожу, которая только что произнесла отвратительные слова, слова, осуждав-

шие на смерть то будущее человеческое существо, которое жило уже в ней, этой несчастной нищей... Но она сдержалась и ответила просто на это новое предупреждение, еще более властное, чем все другие:

– Мы примем это во внимание, ваше сиятельство... мы будем стараться...

– Так... потому что я вам должна это повторить еще и еще раз, что это мой принцип... принцип, которого я никогда не изменю... – И она прибавила с почти ласковой убедительностью:

– И, кроме того, поверьте мне, когда люди бедны, им лучше не иметь детей...

Садовник, чтобы понравиться своей будущей госпоже, сказал в заключение:

– Конечно... конечно... Графиня говорит сущую правду...

Но и в нем закипела ненависть... Мрачный и злой свет, который, как молния, вспыхнул в его глазах, обнаружил всю вынужденность его угодливых последних слов... Графиня не видела этого мрачного взгляда ненависти, взгляда убийцы, потому что инстинктивно глаза ее были устремлены на живот женщины, которую она только что обрекла на бесплодие или детоубийство.

Торг был скоро заключен. Графиня объяснила им с мелочными подробностями, в чем должны заключаться их служебные обязанности, и когда она наконец отпустила их кивком головы и высокомерной улыбкой, то сказала тоном, не допускающим возражения:

– Я надеюсь, что вы религиозны. У меня все ходят в воскресенье к обедне. Я на этом непременно настаиваю...

Они ушли из парка, не говоря друг с другом ни слова, оба очень серьезные, очень мрачные. Жара стояла страшная, дорога была пыльная, и бедная женщина с трудом тащила, волоча за собой ноги. Задыхаясь от жары и пыли, она остановилась, положила свой мешок на землю и распустила корсет.

– Уф! – сказала она, широкими глотками вдыхая в себя воздух...

И ее живот, так долго стесненный корсетом, расширился как-то, поднялся, обнаружил свою характерную округлость, печать материнства, преступление... Они продолжали свой путь.

В нескольких шагах от имения, на дороге, они вошли в деревенский трактир и велели себе подать литр вина.

– Почему ты не сказал, что я беременна? – спросила женщина.

Муж отвечал:

– Для того, чтобы нас не выбросили за дверь, как трое других хозяев уже это сделали.

– Но ведь рано или поздно видно будет!..

Тогда муж пробормотал сквозь зубы:

– Если бы ты была разумной женщиной... ну... так ты бы пошла сегодня же вечером к тетке Юрло... у нее есть травы!

Но женщина начала плакать. И сквозь слезы она повторяла:

– Не говори этого... не говори этого... это приносит несчастье!

Муж ударил кулаком по столу и крикнул:

– Значит, надо околевать с голоду, черт возьми!

Несчастье случилось. Четыре дня спустя у женщины произошел выкидыш – выкидыш ли? – и она умерла в страшных мучениях от воспаления брюшины.

И, когда садовник окончил свой рассказ, он мне сказал:

– И таким образом вот я перед вами, совершенно одинокий теперь. У меня нет больше ни жены, ни ребенка – ничего. Я долго думал о том, чтобы отомстить... да, я долго думал о том, чтобы убить этих трех детей, которые играли тогда на лужайке... Я не злой человек, уверяю вас, но я их задушил бы с радостью... с радостью!.. да!.. Но я не посмел... чего же вы хотите? Боишься, трусишь и мужества хватает только на то, чтобы страдать!

Глава шестнадцатая

24 ноября.

Никакого письма от Жозефа... Зная его осторожность, я не очень удивлена его молчанием, но я страдаю. Жозеф, конечно, знает, что прежде, чем письма попадают к нам, они проходят через контроль хозяйки, и, без сомнения, не хочет подвергать ни себя, ни меня тому, чтобы эти письма читались или хотя бы даже тому, чтобы самый факт нашей переписки зло или с насмешкой комментировался хозяйкой. Но все-таки я полагала, что он, такой умный и изворотливый, мог бы найти возможность прислать мне о себе весточку. Он должен вернуться завтра утром. Придет ли он? Я не совсем спокойна, а мой мозг работает, работает... Почему он не хотел, чтобы я знала его адрес в Шербурге? Но я не хочу думать обо всем этом, от чего у меня ломит голову и бросает в жар и холод.

Здесь нет ничего нового; все меньше и меньше внешних событий, и все тише и тише в доме. Церковный сторож из любезности и дружбы к Жозефу заменяет его. Каждое утро он аккуратно приходит чистить лошадей и убирать конюшню. От него невозможно добиться ни одного слова. Он еще молчаливее, еще недоверчивее, у него еще более таинственные манеры, чем у Жозефа. Но он вульгарнее Жозефа и не так высок и силен, как Жозеф. Я его вижу очень мало и только тогда, когда передаю ему какое-нибудь приказание. Это тоже странный тип!.. Лавочница мне рассказала, что в молодости он учился в семинарии и должен был сделаться священником, но что его оттуда исключили за грубость и безнравственность...

Уж не он ли изнасиловал маленькую Клару в лесу? После этого он испробовал понемногу все ремесла. Он был булочником, церковным певчим, странствующим торговцем, писцом у нотариуса, лакеем, барабанщиком, подрядчиком, писцом у судебного пристава, а теперь уже четыре года служит церковным сторожем. Манеры у него противные – низкие, угодливые, иезуитские... Этот уж наверное не отступит перед совершением всяких мерзостей. Напрасно Жозеф сделал его своим другом. Другом ли? Не сообщником ли скорее...

У барыни мигрень... Это бывает у нее аккуратно каждые три месяца. В продолжение двух дней она лежит в своей комнате, со спущенными занавесями, в совершенной темноте, и только одна Марианна имеет право входить к ней. Меня она не допускает... Болезнь барыни – это хорошее времечко для барина... И он им пользуется... Он не выходит из кухни... Раз я с ним столкнулась; он выходил из кухни с очень красным лицом и с расстегнутыми еще брюками. Ах! мне бы очень хотелось видеть их вместе – Марианну и его... Это зрелище может, мне кажется, навсегда внушить отвращение к любви.

Капитан Може, который больше не разговаривает со мной и только бросает на меня через забор яростные взгляды, помирился со своей родней, по крайней мере с одной из своих племянниц, которая приехала и поселилась у него. Она недурна: высокая блондинка, со слишком длинным носом, но хорошо сложена и очень свеженькая. По слухам, она будет вести весь дом и вообще заменять Розу у капитана во всех других отношениях. Таким образом, вся эта грязь не выйдет за пределы семьи капитана...

Что касается госпожи Гуэн, то смерть Розы могла бы быть ударом для ее воскресных утренних собраний. Она поняла, что может таким образом перестать играть первую роль в околотеке. И теперь Розу заменяет эта отвратительная лавочница, которая дает тон воскресным собраниям и вообще старается внушить всем девушкам Мениль-Руа восхищение и преклонение перед скрытыми талантами этой мерзкой госпожи Гуэн. Вчера в воскресенье я пошла к ней. Собрание было блестящее, все были в сборе. О Розе говорили очень мало, и когда я рассказала историю с завещанием, то это вызвало общий хохот... Капитан был прав,

когда говорил мне, что «все на свете заменяется и забывается»... Но лавочница не имеет авторитета Розы, потому что это женщина, насчет которой с точки зрения нравственности, к сожалению, ничего дурного сказать нельзя...

С каким нетерпением я жду Жозефа! С каким страстным нетерпением я жду минуты, когда я смогу узнать, чего мне ждать или опасаться в своей будущей жизни! Я не могу больше так жить. Никогда мне еще не было до такой степени противно то серенькое существование, которое я веду, эти люди, которым я служу, вся эта среда мрачных призраков, где я с каждым днем тупею все больше и больше. Если бы меня не поддерживало то особенное чувство, которое придает всей моей теперешней жизни новый и могущественный интерес, то мне кажется, что я погрязла бы в этой пропасти глупостей и мерзостей, которая все больше расширяется вокруг меня... Удастся ли Жозефу его предприятие или нет, изменит ли он свои намерения на мой счет или нет – мое решение принято; здесь я больше не останусь. Еще несколько часов, еще одна ночь страха и ожидания... и будущее мое наконец выяснится...

Эту ночь я хочу посвятить еще старым воспоминаниям, в последний раз, может быть.

Это единственное средство, которое есть у меня, чтобы отвлечь мой ум от беспокойств и мучений настоящего, от несбыточных, может быть, химер будущего. В сущности, эти воспоминания меня развлекают и они укрепляют и усиливают мое презрение к прошлому. Какие странные и вместе с тем однообразные фигуры я встречала на своем служебном поприще!.. Когда я мысленно вспоминаю их всех, они не производят на меня впечатления действительно живых людей. Во всяком случае, они живут, иллюзию жизни им дают их пороки... Отнимите у них эти пороки, которые поддерживают их, как повязки поддерживают мумию, и это даже уж не призраки... это пыль... это прах... это – сама смерть...

Вот, например, тот знаменитый дом, куда направила меня несколько дней спустя после моего отказа поехать к старому господину в провинцию со всевозможными лестными отзывами госпожа Дюран. Совсем молодые хозяева, в доме ни детей, ни животных; квартира в полном беспорядке, плохо убирается, несмотря на внешний шик, блеск и роскошь обстановки... Много богатства повсюду, но еще больше беспорядку... Я заметила все это при первом же взгляде, как только я вошла. Я сейчас же увидела, с кем имею дело. Вот наконец осуществилась мечта! Я, значит, забуду здесь все мои несчастья и господина Ксавье, этого маленького негодяя, воспоминание о котором далеко еще не изгладилось во мне, и милых сестриц из Нельи, и это мучительное ожидание в передней бюро госпожи Дюран, и эти длинные тоскливые дни, и длинные ночи уединения или пьяного разгула...

Я, значит, заживу здесь приятной спокойной жизнью, буду мало работать и буду иметь хорошие доходы. Я была счастлива и довольна этой переменой в моей жизни и твердо обещала себе умерить слишком живые проявления своего характера, подавить пылкие порывы своей откровенности, чтобы долго-долго оставаться служить на этом месте. В мгновение ока исчезли куда-то мои мрачные мысли, а моя ненависть к буржуазии испарилась как бы по волшебству. Я снова необыкновенно повеселела и, охваченная опять сильнейшей любовью к жизни, начала находить, что и в хозяевах иногда бывает много хорошего... Штат прислуги был не велик, но прекрасного качества: кухарка, лакей, старик метрдотель и я. Кучера не было, так как господа недавно продали свою конюшню и пользовались наемной каретой. Я сейчас же сошлась со всей прислугой. И в первый же вечер мой приход был восприснут бутылкой шампанского.

– Как славно! – сказала я, хлопая в ладоши. – Здесь хорошо себя чувствуешь!

Лакей улыбнулся и музыкально зазвенел в воздухе связкой ключей, которую он держал в руке. У него были на руках ключи от погреба; у него были ключи от всего. Он был доверенное лицо в доме...

– Вы мне их одолжите? – спросила я у него шутливо.

Он ответил, бросая на меня нежный взгляд:

– Да, если вы будете милы с Биби... Нужно быть милой с Биби...

Ах! Это был шикарный мужчина, и он умел разговаривать с женщинами... Его звали Вильям... Какое прелестное имя!

Во время ужина, который затянулся, старый метрдотель не сказал ни одного слова, только много ел и много пил.

На него не обращали внимания, и он казался немножко избалованным. Что касается Вильяма, то он был очарователен, галантен, предупредителен; он меня нежно задевал ногой под столом, а за кофе угостил русскими папиросами, которыми у него были набиты карманы. Потом он привлек меня к себе – я была немножко одурманена папироской, немножко пьяна также от шампанского и совсем растрепана – посадил к себе на колени и стал нашептывать мне на ухо ужасные вещи... Ах! как он был бесстыден!..

Евгению, кухарку, казалось, не шокировала ни эта поза, ни эти разговоры. Беспокойная и напряженная, она беспрестанно вытягивала шею по направлению к двери и при малейшем шуме прислушивалась, как будто бы ожидала кого-нибудь, и с блуждающим взглядом пила вино стакан за стаканом... Это была женщина лет сорока пяти, с полной грудью, с широким ртом, с полными чувственными губами, с томными и страстными глазами, с добрым и грустным лицом. Наконец снаружи кто-то тихо постучал несколько раз в дверь. Лицо Евгении осветилось, она вскочила и пошла открывать...

Я хотела принять более приличную позу, не будучи знакома с нравами этой кухни, но Вильям еще сильнее притянул меня к себе и удержал в своих сильных объятиях...

– Это ничего, – сказал он спокойно. – Это мальчик...

В это время в кухню вошел юноша, почти ребенок. Худенький, белокурый, с необыкновенно белой кожей, без тени растительности на лице – ему едва исполнилось 18 лет – он был красив, как амур. На нем был совсем новенький, изящный костюм, который прелестно обрисовывал его тонкую и стройную фигуру, а на шее розовый галстук... Это был сын швейцара соседнего дома. Он приходил таким образом каждый вечер. Евгения безумно любила его, обожала...

Каждый день она ставила в большую корзинку кастрюлю с бульоном, великолепные куски мяса, бутылки с вином, фрукты и пирожные, и все это юноша относил своим родителям.

– Почему же ты пришел так поздно сегодня вечером? – спросила Евгения.

Мальчик извинялся, растягивая слова:

Я должен был оставаться в доме... мама уходила в город по делу...

– Мама, мама... Ах ты, негодяй, правда ли это, по крайней мере?

Она вздохнула и, вперив свои глаза в глаза этого ребенка, опираясь руками на его плечи, начала грустным, страдающим голосом:

– Когда ты долго не приходишь, я всегда чего-то боюсь... Я не хочу, чтобы ты опаздывал, мой дорогой... Ты скажешь твоей матери, что если это будет так продолжаться... ну, так я тебе ничего не буду больше давать... для нее...

Потом она сказала, дрожа всем телом и раздувая ноздри:

– Как ты красив, любовь моя! О! твоя маленькая мордочка... твоя милая мордочка... Я не хочу, чтобы другие владели ею. Почему ты не надел своих прелестных желтых ботинок? Я хочу, чтобы на тебе было все красиво, когда ты приходишь ко мне... Ах, эти глаза... эти большие, плутовские глаза, маленький разбойник! Держу пари, что они смотрели на другую женщину! А твой ротик... твой ротик! Что он делал, этот ротик!..

Он ее успокаивал, улыбаясь и слегка покачиваясь:

– Ей-богу, нет!.. Я тебя уверяю, Нини... мама действительно уходила из дому по делу... это правда!..

Евгения повторила несколько раз:

– Ах! негодяй... негодяй... Я не хочу, чтобы ты смотрел на других женщин... Твоя маленькая мордочка должна быть только для меня, твой милый ротик для меня... твои большие глаза для меня!.. Ты меня очень любишь, скажи?

– О! да... конечно...

Они говорили о лошадях, скачках, женщинах и рассказывали темные и грязные истории о своих господах. Если их слушать, то все их господа поголовно были педерастами. Потом, когда вино воспламеняло головы, они начинали говорить о политике... Вильям был непримиримым, ярким реакционером.

– Мой идеал, мой герой – это Кассаньяк! – кричал он. – Груб, жесток... но молодец!.. Они его боятся!.. Вот ловко пишет!.. А, негодяи!.. Пусть они почувствуют этого молодца!

В разгаре самого шумного спора Евгения вдруг бледнела и с заблестевшими глазами вскакивала и подбегала к двери. Мальчик входил, и на его красивом личике выражалось удивление при виде этих незнакомых ему людей, этих пустых бутылок и всего этого беспорядка на столе. Евгения припрятала для него и стакан шампанского, и тарелку с лакомствами. Потом они оба исчезали в соседней комнате...

– О! твоя милая мордочка... твой маленький ротик... твои большие глаза!..

В такой вечер корзинка для родителей мальчика наполнялась большими и лучшими кусками. Надо, чтобы и они попробовали вкусенького, эти добрые люди...

Однажды вечером, когда мальчик долго не приходил, один толстый кучер, вор и циник, который всегда бывал на этих обедах, видя, что Евгения беспокоится, сказал ей:

– Не мучайтесь так, не стоит вам так беспокоиться... Он сейчас придет... ваш развратник...

Евгения встала дрожащая, в угрожающей позе:

– Что вы сказали? Вы... Развратник!.. Этот херувим? Посмейте только повторить! А если бы даже... если это ему доставляет удовольствие, этому ребенку... Он достаточно красив для всего... Понимаете?

– Конечно... развратник, – возразил кучер с жирным смехом. – Подите спросите об этом у графа Гюро, это отсюда в двух шагах, на Марбской улице...

Он не успел кончить... Звонкая пощечина прервала его слова... В эту минуту в дверях показался мальчик. Евгения подбежала к нему...

– Ах! мой дорогой... моя любовь... пойдем скорее... не оставайся с этими грязными негодяями...

Мне же все-таки кажется, что толстый кучер был прав.

Вильям мне часто рассказывал об Эдгаре, знаменитом жокее и кучере у барона Берксейма. Он гордился своим знакомством с ним, восхищался им почти так же, как Кассаньяком. Эдгар и Кассаньяк – этими двумя людьми он восторгался больше всего в жизни... Мне кажется, что было бы опасно в разговорах с Вильямом пошутить на их счет или даже спорить с ним о них. Когда Вильям возвращался поздно ночью откуда-нибудь, он всегда извинялся предо мной, говоря: «Я был с Эдгаром» – таким тоном, который подразумевал, что это обстоятельство не только не требует извинения, но еще делает честь тому, кто пользовался этим изысканным обществом...

– Почему ты не пригласишь на обед твоего знаменитого Эдгара, чтобы я его тоже увидела? – спросила я однажды у Вильяма.

Вильям был возмущен этой идеей и высокомерно заявил:

– Что ты говоришь!.. Неужели ты воображаешь, что Эдгар стал бы обедать с простыми слугами?

Как раз от Эдгара Вильям перенял этот несравненный способ придавать блеск своим шляпам... Однажды на скачках в Отейле к Эдгару подошел молодой маркиз Плерэн.

Скажите, пожалуйста, мой милый, – сказал маркиз умоляющим тоном, – каким образом получается у вас такой блеск на ваших шляпах?

Вы спрашиваете о моих шляпах, господин маркиз? – ответил Эдгар, очень польщенный, потому что молодой маркиз Плерэн, вор на скачках и шулер в карточной игре, был тогда одной из самых больших знаменитостей в парижском свете. – Это очень просто... только это, как и лошадей, которые выигрывают на скачках, надо знать... Это делается следующим образом... Каждое утро я заставляю моего лакея бегать по комнате в продолжение четверти часа... Он, конечно, потеет, ведь так? А пот содержит жир. Тогда он тонким шелковым платком собирает пот, выступивший у него на лбу и этим потом он натирает шляпу... Затем утюгом... Но для этого нужен здоровый и чистоплотный человек... предпочтительно шатен, потому что пот блондинов пахнет иногда очень сильно. И потом не всякий пот подходит... В прошлом году я дал этот рецепт принцу Уэльскому...

И, когда молодой маркиз Плерэн благодарил Эдгара, украдкой пожимая ему руку, последний прибавил конфиденциально:

– Играйте на Баладера... Он выиграет, г-н маркиз.

Я кончила тем, что – это действительно смешно, когда я об этом вспомнила – также стала гордиться таким знакомством для Вильяма... Для меня Эдгар был в то время тоже чем-то недостижимым, как германский император... Виктор Гюго... Поль Бурже или кто-нибудь в этом роде...

Мои господа принадлежали к тому обществу, которое принято называть большим парижским светом; то есть барин был дворянин, но без гроша в кармане, а происхождение барыни было покрыто мраком неизвестности. Насчет ее происхождения ходило много темных слухов, один хуже другого. Вильям, который хорошо знал все сплетни высшего общества, говорил, что она была дочерью одного бывшего кучера и горничной, которые благодаря разным проделкам успели собрать маленький капитал. Они поселились затем в одном из заброшенных парижских кварталов и стали заниматься ростовщичеством. Деньги они одалживали под большие проценты, главным образом кокоткам и прислуге, и таким образом в очень короткое время нажили большое состояние... СчастливыцЫ!.. И на самом деле у барыни, несмотря на внешнее изящество и очень красивое лицо, были странные манеры и вульгарные привычки, которые меня очень шокировали. Она любила вареное суповое мясо, свиное сало с капустой и, как простые извозчики, очень любила вливать в свой суп красное вино. Мне было стыдно за нее... Часто в своих ссорах с барином она забывалась до того, что ругала его самыми непристойными словам. В такие минуты гнев пробуждал в глубине ее существа, еще плохо очищенного всей этой слишком еще недавней роскошью, низменные семейные задатки и вызывал на ее устах такие слова, в которых я, горничная, а не дама, страшно раскаивалась, когда мне случалось их произносить... Но вот... Никто и не воображает себе, сколько есть женщин с ангельскими ротиками, с глазами, как звезды, носящих трехтысячные платья, которые у себя дома грубо ругаются, позволяют себе непристойные жесты и вообще отвратительны своей вульгарностью...

– Светские дамы, – говорил Вильям, – это все равно что соус, приготовленный в лучших кухнях: нельзя никогда смотреть, как и из чего повар его готовит. Это может вам внушить отвращение к нему...

Вильям часто произносил такие скептические афоризмы. И так как он все-таки был очень галантен, то прибавлял, обнимая меня за талию:

– Такая девочка, как вы, меньше льстит тщеславию любовника... Но это все-таки приятнее...

Я должна сказать, что свой гнев и грубые слова барыня изливала только на своего мужа. С нами она была, я повторяю это еще раз, скорее робка...

Барыня обнаруживала также посреди беспорядочности ее дома, посреди всей этой расточительности, которую она терпела, совсем неожиданную скупость... Она бранила кухарку за безделицу, за лишних два су, которые та потратила на салат, сэкономила на кухонном белье, сердилась за какой-нибудь трехфранковый счет и успокаивалась только тогда, когда после жалоб, бесконечной переписки и нескончаемых хлопот она добивалась скидки в пятнадцать сантимов, которые с нее несправедливо взяла железная дорога или почта за пересылку какого-нибудь пакета. Каждый раз, когда она нанимала экипаж, начинались переговоры с кучером, которому она не только не давала на чай, но у которого она еще ухитрялась сорвать что-нибудь с условленной цены... Но эта скупость не мешала тому, что ее деньги вместе с бриллиантами и ключами, валялись везде: на столах, каминах, на мебели. Она продавала за бесценок свои самые богатые туалеты, самое тонкое белье; она давала себя нагло обирать разным поставщикам предметов роскоши, принимала, не моргнув бровью, счета старого метрдотеля, как барин, впрочем, принимал счета Вильяма. А между тем один Бог знает, сколько в них было плутовства! Я говорила иногда Вильяму:

– Оставь, пожалуйста... Я знаю, что я делаю... и до каких пор я могу идти... Когда господа так глупы, как наши, то было бы преступлением не пользоваться этим в свою пользу.

Но он, бедняга, совсем не пользовался плодами этого постоянного обкрадывания своих хозяев. Несмотря на замечательные сведения, которые у него будто бы всегда были, все его деньги уходили на скачки и обогащали только букмекеров...

Господа были женаты пять лет. Сначала они много выезжали и много принимали у себя. Потом они мало-по-малу сократили свои выезды и приемы на дому, чтобы жить немножко уединеннее, так как, по их словам, они сильно ревновали друг друга. Барыня упрекала барина в ухаживании за другими женщинами. Он обвинял ее в том, что она слишком заглядывается на чужих мужчин. Они сильно будто бы любили друг друга, то есть ссорились по целым дням, как это бывает во всех мещанских супружествах. Правда же состояла в том, что барыня не имела успеха в свете и что ее манеры стоили ей немало оскорблений там. Она сердилась на барина за то, что он не сумел ее хорошо представить в светском обществе, а барин сердился на жену за то, что она сделала его смешным в глазах его друзей. В этом взаимном недовольстве они не признавались и сочли более удобным свалить все это на свою взаимную любовь.

Каждый год, в середине июня, господа уезжали в деревню, в Турен, где у барыни был, как говорили, великолепный замок. Там штат прислуги увеличивался кучером, двумя садовниками, второй горничной и птичницей. Там были у них и коровы, и павлины, и куры, и кролики... какая прелесть, какое счастье! Вильям мне рассказывал подробности их тамошней жизни недовольным, брюзжащим тоном. Он совсем не любил деревни; посреди лугов, деревьев и цветов он скучал. Природу он любил только вместе с барьером, со скачками, с букмекерами, с жокеями. Он был парижанин до мозга костей.

– Что может быть глупее какого-нибудь каштанового дерева? – говорил он мне часто. – Ну, смотри... Эдгар, человек высокого ума, шикарный мужчина, разве он любит деревню?

Но я восторгалась:

– А все-таки цветы на больших лужайках... и птички!..

На что Вильям насмешливо говорил:

– Цветы?.. Они красивы только на шляпах у модисток... А птички?.. Они мешают вам спать по утрам... Похоже на то, как горланят дети!.. Ах, нет... ах, нет, мне страшно надоела деревня... Деревня хороша только для крестьян.

И выпрямившись, с величественным жестом и гордым голосом он говорил в заключение:

– Мне... мне нужен спорт... Я не крестьянин... я спортсмен...

Я все-таки была счастлива от перспективы попасть в деревню и ждала июня с нетерпением. Ах! маргаритки на лугах, маленькие тропинки, дрожащие листья... гнезда, спрятанные в густом плюще, на склонах старых стен... И соловьи в лунные ночи... и тихие разговоры рука об руку, на выступах колодцев, заросших жимолостью, покрытых мхом!.. И чашка парного молока, и большие соломенные шляпы, и маленькие цыплята... и обедни в деревенской церкви при звоне колокола... все это так трогает, чарует, проникает в самое сердце, как один из тех прекрасных романсов, которые поют в концертах!..

Хотя я люблю повеселиться и позабавиться, но у меня поэтическая натура. Старые пастухи, сенокос, птички, которые преследуют друг дружку, перепархивая с ветки на ветку, кукушки, ручейки, которые журчат по белым камушкам, и красивые парни с лицами, загорелыми на солнце, как виноград в очень старых виноградниках, красивые парни с мужественными движениями, с могучими фигурами – все это навеивает на меня сладкие сны... И думая обо всем этом, я опять становлюсь почти маленькой девочкой, душа моя полна чистосердечия и невинности, и эти думы освежают мое сердце, как маленький дождик освежает маленький цветок, сожженный солнцем и высушенный ветром... А вечером, ожидая Вильяма, лежа уже в кровати и возбужденная этими мечтами о будущих чистых радостях, я сочиняла стихи.

Но как только приходил Вильям, поэзия исчезала. Он приносил с собой тяжелый запах барьера, а его поцелуи, от которых несло джином, скоро обрезали крылья моим мечтам... Я ему никогда не показывала своих стихов. Зачем? Он, наверное, посмеялся бы над ними и над теми чувствами, которые их навеяли. И он, без сомнения, сказал бы мне:

– А Эдгар, такой замечательный человек, разве сочиняет стихи?

Моя поэтическая натура была не единственной причиной, почему я хотела уехать в деревню.

У меня был совсем больной желудок от недоедания и нужды, которую я только что перенесла, а также, может быть, от слишком обильной и возбуждающей пищи, которая была у меня теперь, от шампанского и испанских вин, которые заставлял меня пить Вильям. Я страдала настоящим образом. Часто по утрам, когда я вставала с постели, у меня страшно кружилась голова... Днем у меня подгибались колени, а голова у меня болела так, как будто бы кто-нибудь ударял по ней молотом. Мне действительно нужно было вести более тихий и спокойный образ жизни, чтобы немножко поправиться.

Увы! Суждено было, чтобы и эта мечта о здоровье, о счастье тоже разрушилась...

Ах! черт возьми! – как говорила барыня.

Сцены между барином и барыней происходили всегда в туалетной комнате барыни и начинались всегда из-за самых ничтожных причин, из-за пустяков... Чем ничтожнее были поводы, тем ужаснее были сцены... После этих сцен, когда они изливали друг на друга всю горечь и досаду, которые они так долго копили в своих сердцах, они дулись друг на друга по целым неделям. Барин запирался у себя в кабинете, где он или раскладывал пасьянс, или перебирал свою коллекцию трубок. Барыня не выходила из своей комнаты, где она, растянувшись на кушетке, читала любовные романы и оставляла чтение только для того, чтобы переключать свои платья, свое белье в шкафах, причем она это делала с такой яростью, как будто грабила, а не приводила в порядок... Они встречались только за столом. Первое время, не привыкшая еще к их характерам, я думала, что они будут бросать друг в друга бутылками, ножами, тарелками... Ничего подобного... В такие минуты они были очень воспитаны, и барыня выбивалась из сил, чтобы казаться светской дамой. Они говорили между собой о своих делах, как будто бы ничего не произошло, только немножко церемоннее, чем обыкновенно – и вообще были друг с другом напыщенны, холодно-вежливы, вот и все... Можно было подумать, глядя на них, что они уходили каждый в свою комнату пусть с серьезным видом и печальным взглядом, но и с большим достоинством... Барыня принималась опять

за свои романы, за свои комоды, барин за свои пасьянсы и трубки... Иногда барин уходил на час или два в клуб, но редко. И между ними начиналась оживленнейшая переписка, летели записочки, сложенные в виде сердца, которые я должна была носить от одного к другому. Целый день я играла роль почтальона, бегала из комнаты барыни в кабинет барина; через меня пересылались ультиматумы, угрозы, мольбы, извинения и слезы... Можно было умереть со смеху...

Спустя несколько дней они мирились между собой так же, как и ссорились – без всякой видимой причины... И тогда лились слезы, слышны были фразы: «О... злой!.. О, злая!.., это в последний раз... ну, я тебя уверяю, что это в последний раз»... и они шли в ресторан, где устраивали себе маленький праздник, а на следующий день вставали очень поздно, утомленные любовью... Я сейчас же поняла комедию, которую они играли друг с другом, эти два жалких существа... И когда они угрожали друг другу, что они разойдутся, я отлично знала, что это пустая болтовня. Они были прикованы друг к другу, он – из-за выгоды и расчета, она – из-за тщеславия. Барин держался барыни, потому что у нее были деньги, она же цеплялась за мужа, потому что у него было имя и титул. Но так как в глубине души они ненавидели друг друга именно за этот расчет, который их связывал, то у них являлась потребность выказывать иногда друг другу эту ненависть. А так как это были вообще низкие натуры, то и злобу свою, и разочарование, и презрение они выражали в гнусной и грубой форме...

– Ну, для кого нужна такая жизнь?.. – говорила я Вильяму.

– Для Биби! – отвечал последний, который во всех обстоятельствах жизни имел всегда верный и определенный ответ на все предлагаемые ему вопросы.

И чтобы немедленно и реально доказать справедливость своих слов, он вынул из своего кармана великолепную сигару, украденную им в то же утро, оборвал тщательно кончик, со спокойным и довольным видом закурил ее и сказал между двумя ароматными затяжками:

– Никогда не следует жаловаться на глупость своих господ, милая Селестина... Это – единственная возможность счастья для вас... Чем глупее хозяева, тем счастливее у них слуги... Иди, принеси мне коньяку...

Полулежа в качалке, очень высоко скрестив ноги, с сигарой во рту и с бутылкой старого, прекрасного коньяку в руке, он медленно, аккуратно развернул «Autorite» и продолжал с восхитительным добродушием:

– Видишь ли, моя милая Селестина... нужно всегда быть сильнее тех людей, которым ты служишь... Вся суть в этом... Один Бог знает, какой великий человек Кассаньяк... один Бог знает, как он владеет всеми моими помыслами и как я им восхищаюсь... этим великим человеком... ну и все-таки – понимаешь?.. Я не хотел бы служить у него... ни за что на свете... И то же, что я говорю о Кассаньяке, я скажу и об Эдгаре, черт возьми! Запомни хорошенько мои слова и постарайся извлечь из них пользу. Служить у умных и понимающих дело людей – это невыгодно, моя милая кошечка...

И, наслаждаясь своей сигарой, он прибавил после короткого молчания:

– Когда я подумаю, что есть слуги, которые всю жизнь надоедают, ворчат, держат себя вызывающе по отношению к своим хозяевам... какие дураки!.., когда я подумаю, что есть даже такие, которые хотели бы убить... Убить их!.. А потом что?.. Разве убивают корову, которая дает молоко, и овцу, которая доставляет шерсть?.. корову доят... овцу стригут... ловко... тихо... в тишине...

И он молчаливо погрузился в тайны консервативной политики.

В это время Евгения бродила по кухне; влюбленная, она машинально, как сомнамбула, делала свое дело, далекая от своих хозяев наверху, далекая от нас, далекая от самой себя... глаза ее ничего не видели, ни наших безумств, ни своих собственных... губы ее постоянно что-то шептали, все те же слова болезненного обожания:

– Твой милый ротик... твои маленькие ручки... твои большие глаза!..

Все это очень часто наводило на меня грусть, трогало меня до слез... Да, иногда несказанная, давящая меланхолия охватывала меня от этого странного дома, где все обитатели, старый и молчаливый метрдотель, Вильям и я сама мне казались беспокойными, пустыми и мрачными, как призраки... Последняя сцена между господами, при которой я присутствовала, была особенно забавна...

Однажды утром барин вошел в уборную барыни в ту минуту, когда она примеряла передо мной новый корсет, жуткий корсет из лилового сатина с желтыми цветочками и желтыми шелковыми шнурками. Барыня, как видите, не обладала избытком вкуса.

– Как? – сказала барыня тоном веселого упрека. – Разве таким образом входят к женщинам, не постучавшись?

– О! к женщинам? – прошептал барин. – Во-первых, ты – не женщины.

– Я не женщины?.. Что же я такое тогда?

Барин сложил свои губы сердечком – Боже, какой у него был глупый вид – и очень нежно, или, вернее, притворяясь нежным, прошептал:

– Но ты моя женщина... моя маленькая женка... моя красивая, моя милая женушка... Нет ничего дурного зайти к своей маленькой женке, я думаю...

Когда барин притворялся таким безумно влюбленным, это значило, что он хотел получить деньги у жены... Последняя, еще не доверяя его нежности, возразила:

– Нет, есть дурное...

И она сказала, жеманясь:

– Твоя милая женка... Вовсе это не так верно, что я твоя милая женушка...

– Как... это не так верно?..

– Ах! разве можно знать?.. Мужчины – такой странный народ...

– Но я тебе говорю, что ты моя милая женушка... моя дорогая... моя единственная, маленькая женушка...

– А ты... мое дитячко... мое толстое дитячко... единственное дитячко у своей маленькой женки...

Я развязывала корсету барыни, которая, смотрясь в зеркало с голыми и поднятыми руками, гладила поочередно то правой, то левой рукой свои волосы под мышками. У меня было большое желание расхохотаться. Как они были смешны со своими «милая женушка», «толстый ребеночек»! Какой у них был глупый вид у обоих!

Войдя в комнату и разбросав повсюду юбки, чулки, полотенца, щетки, флаконы, барин взял модный журнал, который валялся на туалете, и, сев на плюшевый табурет, спросил:

– Что, есть ребус на этот раз?

– Да... кажется, есть.

– А ты отгадала этот ребус?

– Нет, я его не отгадала.

– А! А! Посмотрим этот ребус...

В то время, как барин с нахмуренным лбом погрузился в изучение ребуса, барыня сказала немного сухо:

– Роберт?

– Моя дорогая...

– Значит, ты ничего не замечаешь?

– Нет... что такое? В этом ребусе?..

Она пожала плечами и закусила губы:

– Да, в ребусе!.. Значит, ты ничего не замечаешь... Вообще, ты никогда ничего не замечаешь...

Барин оглядывал всю комнату, ковер, потолок, туалетный стол и двери глупыми, совсем круглыми глазами... он был ужасно комичен...

– Ей Богу, нет! Что такое? Значит, здесь есть что-нибудь новое, чего я не заметил? Я ничего не вижу, честное слово!

Барыня сделала страшно грустное лицо и сказала:

– Роберт, ты меня больше не любишь...

– Как, я тебя больше не люблю!.. Это, это немножко сильно сказано, черт возьми!

Он поднялся, размахивая модным журналом:

– Как... я тебя больше не люблю... – повторил он. – Вот еще идея! Почему ты это говоришь?

– Нет, ты меня больше не любишь... потому что, если бы ты меня еще любил... ты бы заметил одну вещь...

– Но какую вещь?..

– Ну вот!.. ты бы заметил мой корсет...

– Какой корсет?.. Ах, да... этот корсет... Смотри! я его действительно не заметил... Ну, какой же я дурак!., но он очень красив, знаешь... он очарователен...

– Да, теперь ты это говоришь... и теперь ты смеешься надо мной... И я тоже, слишком глупа... Я стараюсь быть как можно красивее... выбираю только такие вещи, которые тебе нравятся... И ты даже не обращаешь на меня внимания... Впрочем, что я такое для тебя?.. Ничего... меньше, чем ничего! Тыходишь сюда... и на что же ты смотришь? На этот грязный журнал... Чем ты интересуешься? Каким-то ребусом... Мы никого не видим у себя... мы никуда не ходим... мы живем, как волки... как бедняки...

– Ну... ну... я прошу тебя!., не сердись... ну... уж, как бедняки...

Он хотел подойти к барыне... обнять ее за талию... поцеловать ее. Но она сморщила лицо и грубо оттолкнула его:

– Нет, оставь меня... Ты меня раздражаешь...

– Моя дорогая... ну!., моя милая женушка...

– Ты меня раздражаешь, слышишь?.. Оставь меня... не подходи ко мне... Ты грубый эгоист... ты ничего не делаешь для меня... ты грязный негодяй, вот что!..

– Зачем ты это говоришь? Это – безумие. Ну, прошу тебя, не сердись так... ну хорошо... я поступил дурно... я должен был сейчас же заметить этот корсет... этот прелестный корсет!.. Как я его не заметил, сейчас же... Я сам не понимаю... Посмотри на меня... улыбнись мне... Боже! как он красив!., и как он тебе идет!..

Барин слишком восхищался теперь корсетом. Он раздражал даже меня, которая так мало была заинтересована в этой ссоре. Барыня топала ногой по ковру и все более и более раздражалась, с бледными губами, сжимая конвульсивно свои руки, она заговорила очень быстро:

– Ты меня раздражаешь... ты меня раздражаешь... ты меня раздражаешь... Убирайся вон!..

Барин продолжал что-то такое шептать, начиная в свою очередь раздражаться:

– Дорогая моя... Это неразумно... Из-за корсета... Это не имеет никакого отношения... Ну, моя дорогая... посмотри на меня... улыбнись мне... Ведь глупо же огорчаться так из-за корсета...

– Ах, я плюю на тебя в конце концов... – крикнула барыня голосом судомойки, кухарки, но никак не знатной дамы... – Я плюю на тебя... Убирайся к черту.

Я кончила зашнуровывать корсет. При последнем слове я поднялась с колен, очень довольная тем, что они обнажили – и таким образом унизились предо мной – свои «высокие» души... Казалось, они забыли, что я здесь... Желая увидеть конец этой сцены, я старалась сделаться совсем маленькой, тихой, незаметной...

В свою очередь барин, который долго сдерживался, наконец вскипел... Он сделал из модного журнала, который был у него в руках, большой комок и, бросив его изо всех сил на туалетный стол, вскрикнул:

– Черт!.. Дьявол!.. Это тоже слишком уже! Всегда одно и то же... Ничего нельзя сказать, ничего нельзя сделать, чтобы не отнесли к тебе, как к собаке... И всегда грубости, ругань... Надоела мне эта жизнь, надоели мне до смерти эти манеры торговки... И хочешь ли, чтобы я сказал тебе правду? Твой корсет!.. Ну, так твой корсет отвратителен, мерзок... Это корсет публичной женщины...

– Негодяй!..

С глазами, налитыми кровью, с пеной на губах, со сжатыми, поднятыми кулаками барыня приблизилась к мужу... И ее ярость была так велика, что слова из ее рта вылетали какими-то хриплыми отрывистыми звуками.

– Презренный! – проревела она наконец. – Ты смеешь со мной разговаривать таким образом... ты?.. Нет, это неслыханная вещь! Когда я его подобрала из грязи, этого прекрасного господина, покрытого грязными долгами, скомпрометированного в своем клубе... когда я его спасла от нищеты и позора... а!., тогда он не был горд... Твое имя, не так ли?.. Твой титул?.. Они были хороши, это имя и этот титул, под которые ростовщики не хотели тебе поверить даже ста су! И он говорит о своем благородном происхождении... о своих предках... этот господин, которого я купила и которого содержу... Ну, так он не получит от меня больше ничего, ни вот сколько!.. А что касается до твоих предков, то ты можешь отнести их в заклад, чтобы посмотреть, одолжат ли тебе хоть десять су под их лакейские и солдатские рожи!.. Больше ни гроша, слышишь! Никогда... никогда!.. Иди обратно в свой игорный дом, шулер!.., к твоим публичным девкам, сводник!..

Она была страшна!.. Робкий, дрожащий, трусливо согнувшись, с униженным взглядом, барин отступал перед этим потоком брани...

Он подошел к двери, увидел меня... и убежал к себе, а барыня кричала ему еще вслед в коридоре еще более ужасным, еще более хриплым голосом...

– Сводник... грязный сводник!..

И она упала на свою кушетку в нервном припадке, который я еле успокоила, заставив ее вдохнуть целый флакон эфиру.

Тогда барыня принялась опять за чтение любовных романов, опять стала все переключать в своих шкафах и комодах. Барин углубился больше, чем когда бы то ни было, в сложные пасьянсы и в пересматривание своей коллекции трубок... И опять началась переписка... Робкая и редкая вначале, она скоро участилась и приняла самый отчаянный характер...

Я сбилась с ног, бегая и передавая всевозможные угрозы, сложенные в виде сердца, из комнаты барыни в кабинет барина. Боже! как мне было смешно!..

Спустя три дня после описанной сцены, читая какое-то послание барина на розовой бумаге с его гербом, барыня побледнела и вдруг спросила меня задыхающимся голосом:

– Селестина? Как вы думаете? Барин в самом деле может покончить с собой? Видели ли вы у него какое-нибудь оружие в руках? Боже мой!., если он вдруг убьет себя?

Я разразилась хохотом прямо в лицо барыне... И этот смех, который вырвался у меня помимо моей воли, становился все сильнее и сильнее... Я думала, что я умру, что меня задушит этот смех, который давил мое горло, который, как буря, поднимался из моей груди...

Барыня на минуту остолбенела перед этим взрывом смеха.

– Что такое?.. Что с вами?.. Почему вы так смеетесь?.. Замолчите же... Не угодно ли вам сейчас же замолчать, противная женщина...

Но я продолжала смеяться... Я не могла перестать... Наконец, немножко передохнув, я вскричала:

– Ах, нет!.. О, ха-ха-ха... О, ха-ха-ха! Как это все глупо!

Конечно, я в тот же самый вечер должна была оставить этот дом и очутилась еще раз на мостовой...

Собачье ремесло! Собачья жизнь!..

Удар был силен, и я сказала себе, – но слишком поздно, – что никогда больше я не найду такого места, как это... Там я имела все: хорошее жалование, всевозможные доходы, мало работы, свободу, удовольствия. Нужно было только оставаться здесь жить. Другая на моем месте, не такая сумасшедшая, как я, могла бы отложить там много денег, могла бы понемножку сшить себе красивое белье, красивые платья и устроить мало-по-малу полное и очень шикарное хозяйство... Только пять или шесть лет, и кто знает? Можно было бы и замуж выйти, заняться маленькой торговлей, жить у себя, не бояться нужды и случайностей, быть счастливой, почти дамой... Теперь же начинается опять новый ряд бедствий, новые оскорбления судьбы... Мне было ужасно досадно, что все это так случилось, и я страшно злилась: злилась на самое себя, на Вильяма, на Евгению, на хозяйку, на весь мир. И непонятно, необъяснимо! Вместо того, чтобы уцепиться и удержаться на своем месте, что было очень легко с таким человеком, как моя барыня, я упорствовала в своем безумии и отвечала нахально на все ее замечания; я сделала непоправимым то, что можно было поправить. Не странные ли вещи происходят иногда в нас? На вас нападает какое-то безумие, неизвестно откуда, неизвестно почему! Оно вас охватывает, потрясает, возбуждает, оно заставляет вас кричать, оскорблять других... Охваченная таким безумием, я осыпала барыню оскорблениями. Я попрекнула ее низким происхождением, ее отцом, матерью – ложью, фальшью всей ее жизни, я оплевала ее мужа... И мне стыдно становится, когда я думаю об этой сцене, и страшно, что мой рассудок так часто охватывают припадки ярости, которые толкают меня на ругань, вызывают во мне желание убить... Как я не убила, не задушила свою хозяйку тогда – я положительно не знаю... Между тем Бог видит, что я не зла... И теперь, когда я пишу эти строки, я опять вижу перед собой эту бедную женщину, и я вижу ее беспорядочную, грустную жизнь с этим ничтожным и трусливым мужем... И мне становится бесконечно жаль ее, и мне хотелось бы, чтобы у нее хватило сил расстаться с ним и чтобы она была счастлива теперь...

После этой сцены я сейчас же побежала в кухню. Вильям вяло чистил серебро, куря русскую папироску.

– Что с тобой? – спросил он меня с невозмутимым спокойствием.

– Со мной то, что я ухожу... что я оставляю этот притон сегодня же вечером, – ответила я, задыхаясь.

Я едва была в состоянии говорить.

– Как это ты уходишь? – спросил Вильям без всякого волнения. – А почему?

Взволнованная и расстроенная, я в коротких словах рассказала ему всю сцену с барыней. Вильям, очень спокойный и равнодушный, только пожал плечами...

– Это слишком глупо! – сказал он. – Так глупо не поступают!

– И это все, что у тебя есть мне сказать?

– Что же ты хочешь, чтобы я тебе еще сказал? Я говорю, что это глупо. Ничего другого нельзя сказать...

– А что ты намерен делать? – спросила я.

Он искоса посмотрел на меня. На его губах мелькнула усмешка. Как мне был противен в эту минуту несчастья его взгляд, как подла и отвратительна была его усмешка!..

– Я? – сказал он, притворяясь, что он не понимает той мольбы к нему, которая была в моем вопросе.

– Да, ты... Я тебя спрашиваю, что ты собираешься предпринять?

– Ничего... мне нечего предпринять... Я буду служить здесь по-прежнему... Но что ты, моя девочка... Разве ты ожидаешь чего-нибудь другого?

Тогда я разразилась:

– Как? У тебя хватит мужества остаться служить в том доме, откуда меня выгоняют?

Он встал, зажег свою потухшую папироску и сказал ледяным тоном:

– О, только пожалуйста без сцен. Ведь я тебе не муж... Тебе было угодно сделать глупость. Я за нее не ответствен... Что же ты хочешь? Тебе нужно перенести последствия этой глупости... Такова жизнь...

Я возмутилась и сказала с негодованием:

– Значит, ты меня бросаешь? Ты такой же презренный негодяй, как и другие! Знаешь ли ты это?

Вильям улыбнулся. Это был действительно необыкновенный, выше других стоящий человек...

– Не говори бесполезных вещей... Когда мы с тобой сошлись, я тебе ничего не обещал... Ты мне тоже ничего не обещала... Люди встречаются, сходятся – хорошо... Такова жизнь...

И он изрек нравоучение:

– Видишь ли, Селестина, в жизни надо уметь вести себя, надо уметь управлять, владеть собой... Ты же не умеешь вести себя, не умеешь владеть собою. Ты позволяешь своим нервам управлять тобой, увлекать тебя... А нервы в нашем ремесле – очень плохая штука... И помни хорошенько: «такова жизнь!»

Мне кажется, я бросилась бы на него и ногтями яростно расцарапала бы ему лицо – это бесстрастное и подлое лицо, – если бы внезапные слезы не облегчили и не смягчили моего нервного напряжения... Мой гнев вдруг стих, и я зарыдала:

– Ах! Вильям!.. Вильям!., мой милый Вильям!., мой дорогой Вильям!.. Как я несчастна!..

Вильям попробовал поднять немного мой упавший дух... Я должна сказать, что он употребил для этого всю силу убеждения и всю свою философию... В продолжение целого дня он великодушно внушал мне высокие мысли, угощал утешительными афоризмами... И беспрестанно он повторял раздражающую и вместе с тем беспокоящую меня фразу: «Такова жизнь!»

Нужно все-таки отдать ему справедливость... В этот последний день он был очарователен, хотя немножко слишком торжествен и оказал мне много услуг. Вечером после обеда он положил мои вещи на извозчика и сам отвез меня к одному своему знакомому, содержанию меблированных комнат. Там он заплатил за неделю вперед и просил, чтобы за мной хорошо ухаживали... Я хотела, чтобы он остался эту ночь со мной, но у него было назначено свидание с Эдгаром!..

– Эдгар, ты понимаешь, ведь я же не могу пропустить этого свидания... А потом, может быть, у него будет какое-нибудь место для тебя? Место, рекомендованное Эдгаром... О, это было бы великолепно.

Прощаясь со мной, он сказал:

– Я завтра навещу тебя. Будь умницей, не делай больше глупостей... Это ни к чему не приводит... И проникнись хорошенько этой истиной, что «такова жизнь!».

На следующий день я напрасно ждала его... он не пришел...

– Такова жизнь... – сказала я себе. – Но так как мне страшно хотелось его видеть, то я на следующий день пошла к нему. В кухне я нашла только высокую белокурую девушку с нахальным видом, но красивую, более-красивую, чем я...

– Евгении нет здесь? – спросила я.

– Нет, ее нет! – ответила сухо высокая девушка.

– А Вильяма?

– Вильяма тоже нет.

- Где же он?
- Разве я знаю?
- Я хочу его видеть. Подите, скажите ему, что я хочу его видеть...
- Высокая девушка посмотрела на меня с пренебрежительным видом:
- Скажите пожалуйста? Разве я ваша прислуга?
- Я поняла все... И, так как устала бороться, то я ушла.
- Такова жизнь...

Эта фраза меня преследовала, назойливо звучала в моих ушах, как припев какой-нибудь избитой шансонетки...

Уходя, я не могла не вспомнить – не без чувства грусти – о той радости, с которой меня встретили в этом доме. Теперь, должно быть, произошла такая же сцена... Откупорили обязательную бутылку шампанского. Вильям посадил себе на колени белокурую девушку и прошептал ей на ухо:

- С Биби нужно быть милой...

Те же самые слова... те же жесты... те же ласки... а в это время Евгения, пожирая глазами сына швейцара, увлекала его за собой в соседнюю комнату:

- Твоя милая мордочка... твои маленькие ручки... твои большие глаза!..
- Я бессмысленно бродила, повторяя про себя с каким-то глупым упорством:
- Ну... такова жизнь... такова жизнь...

В продолжение целого часа я ходила взад и вперед по тротуару перед входной дверью, надеясь, что Вильям войдет или выйдет из дому. Я видела, как вышли лавочник, девочка от модистки с двумя большими картонками, поставщик из Лувра... я видела, как выходили рабочие... я хорошо уже не понимала, кто... что... передо мной мелькали тени... тени... тени... Я не посмела войти к соседней привратнице. Она бы, наверное, плохо меня приняла... И что бы сказала она мне? Тогда я решила окончательно уйти, и все время меня преследовал все тот же навязчивый и раздражающий припев:

- Такова жизнь...

Улицы показались мне невыразимо печальными... Прохожие производили на меня впечатление каких-то привидений... Когда я видела вдали шляпу на голове у какого-нибудь мужчины, которая блестела, как маяк среди темной ночи, как золотой купол, освещенный солнцем, мое сердце вздрагивало... Но это все не был Вильям... На низком, свинцовом небе не сияло для меня никакой надежды... Я вернулась в свою комнату с отвращением ко всему и ко всем на свете...

– Ах! да! мужчины... кучера, лакеи, священники, поэты – они все одинаковы... негодяи и развратники!

Я думаю, что это последние воспоминания, которые я вызываю в памяти и описываю здесь. А между тем у меня есть еще много других, очень много... Но они все сходны между собой, и меня утомляет описывать всегда одинаковые истории, заставляя проходить однообразной чередой одинаковые лица, те же души, те же призраки... И потом, я чувствую, что ум мой не может больше заниматься этими воспоминаниями, потому что думы о моем будущем отвлекают меня все больше и больше от праха этого прошлого. Я могла бы описать еще мою службу у графини Фарден. Но к чему? Я слишком устала, да и слишком опротивело мне все... Там, в той же социальной среде я встретила еще с одним видом пустоты и тщеславия, которое мне противнее всего: с литературным тщеславием... с одним видом глупости, который ниже всего: с политической глупостью...

Там я узнала г-на Поля Бурже в зените его славы: этим все сказано... Это именно философ, поэт, моралист, который прекрасно соответствует претенциозному ничтожеству, умственному убожеству и лжи этой светской категории, где все искусственно: изящество, любовь, кухня, религиозное чувство, патриотизм, искусство, благотворительность, где

искусствен даже сам порок, который под предлогом приличия и литературности окутывается мистической мишурой и прикрывается маской святости... и где видно только одно искреннее желание – сильная жажда денег, что делает этих людей еще более позорными, еще более жестокими...

Только благодаря этому чувству бедные призраки становятся живыми человеческими существами...

Там я знала также г-на Жана, психолога и тоже моралиста, моралиста кухни, психолога передней, но не более невежественного и не более глупого в своей области, чем тот, который царит в салонах... Господин Жан копался в комнатных помоях... Г-н Поль Бурже – в душевных...

Между кухней и салоном вовсе нет такой большой разницы, как полагают, хотя салон и порабощает кухню! Но так как я положила на дно моего сундука карточку господина Жана, то пусть и воспоминание о нем останется также похороненным на дне моей души под толстым слоем забвения...

Два часа ночи... Огонь в моем камине сейчас погаснет, лампа моя коптит, а у меня нет больше ни дров, ни керосина. Я сейчас лягу спать. Но у меня слишком горит голова, и я не буду спать... Я буду думать о том, кто направляется теперь ко мне, я буду мечтать о том, кто должен завтра приехать... На дворе стоит тихая, молчаливая ночь. От очень сильного холода замерзла земля под небом, усеянным мерцающими звездами... А Жозеф где-то в дороге в эту ночь... Через это громадное пространство я его вижу... да, я его действительно вижу, серьезного, задумчивого, громадного. Он улыбается мне, он приближается ко мне, он подходит ко мне, он мне приносит наконец покой, свободу, счастье... Счастье ли?

Я это увижу завтра...

Глава семнадцатая

Вот уже 8 месяцев, как я не написала ни одной строчки в этом дневнике – у меня было за это время о чем подумать и что делать – и вот уже ровно три месяца, как мы с Жозефом покинули Приерэ и устроились в маленьком кафе, возле гавани, в Шербурге. Мы женаты: дела идут хорошо; занятие мое мне нравится; я счастлива. Рожденная у моря, я опять вернулась к нему. Я по нему мало скучала прежде, но мне все-таки доставляет удовольствие жить теперь вблизи него. Но это не те грустные одиернские пейзажи, с печальными косогами, с песчаными берегами, величественный ужас которых напоминает о смерти... Здесь нет ничего грустного; наоборот, здесь все весело, все настраивает на радостный лад... Здесь царит веселый шум военного города, пестрое движение и оживленная деятельность военного порта. Любовь принимает здесь форму дикого разврата. Толпы людей спешат насладиться жизнью перед далеким изгнанием; беспрестанно меняющиеся картины развлекают меня. Я вдыхаю в себя этот запах морских водорослей, который я всегда любила, хотя в моем детстве он мне никогда не был сладок, как не было сладко и все мое детство... На казенных кораблях я увидела некоторых знакомых своих земляков. Я почти с ними не разговаривала, и мне даже не пришло в голову спросить у них про своего брата... Ведь столько времени прошло! Он как будто умер для меня... А с земляками я обмениваюсь только коротенькими: «здравствуй... добрый вечер... будь здоров»... Когда они не пьяны, они слишком глупы. Когда они не глупы, они слишком пьяны... И таким образом между нами ни бесед, ни откровенностей... Жозеф, впрочем, и не любит, когда я слишком фамильярничаю с простыми матросами, которые не имеют ни одного су и пьянеют от одного стакана.

Но мне надо вкратце хоть рассказать о тех событиях, которые предшествовали нашему отъезду из Приерэ.

Выше я писала уже, что Жозеф спал в людской над седельным чуланом. Каждый день зимою и летом он вставал в пять часов утра. В одно такое утро, а именно двадцать четвертого декабря, он увидел, что дверь кухни была настежь открыта.

– Как... – сказал он себе, – неужели они уже там встали?

В то же время он увидел, что в стеклянной двери возле замка вырезан алмазом квадратный кусок стекла такой величины, чтобы в отверстие могла войти рука. Сам замок был взломан искусной и опытной рукой. Несколько мелких кусочков дерева, маленькие кусочки изогнутого железа, осколки стекла валялись на каменных плитках. Внутри дома все двери, так тщательно закрываемые на засов каждый вечер под наблюдением самой хозяйки, были раскрыты. Чувствовалось, что что-то страшное произошло там, дальше, за этими дверьми... Сильно взволнованный – я описываю со слов самого Жозефа, дававшего показания об этом событии судьям, – Жозеф прошел через кухню и вышел в коридор, где направо были расположены фруктовый сарай, ванная комната и передняя, а налево – кухня, столовая, маленький салон и в глубине – большой салон. Столовая представляла собой картину ужасного беспорядка, настоящего разгрома – мебель опрокинута, буфет перерыт сверху донизу; ящики буфета, так же как и ящики двух шкатулок, опрокинуты на ковер, а на столе, между пустыми коробками и посреди кучи разных ненужных мелочей, не имеющих никакой ценности – стояла и догорала свеча в медном подсвечнике. Но только буфетная завершала полноту картины. В буфетной – мне кажется, я об этом уже писала – был вделан в стене очень глубокий шкаф, который запирался маленьким замком, а его секрет был известен только самой хозяйке. Там покоилось знаменитое серебро в трех тяжелых сундуках, обитых поперек, посредине и в углах железными полосами. Сундуки снизу были привинчены к доске, а на стене они держались прибитые крепкими железными крюками. И вот все три ящика, оторванные от стены,

стояли, открытые и пустые посреди комнаты. При виде этого Жозеф поднял тревогу. Со всей силы своих легких он крикнул на лестницу:

– Барыня!.. барин!.. Идите скорее... Обокрали! обокрали!..

Это произвело такое впечатление, как будто бы громадная глыба снега внезапно скатилась и упала на наш дом. Барыня в одной рубашке, с голыми плечами, едва прикрытыми легким платком, барин, застегивая на ходу свои брюки, из которых вылезали концы рубашки... И оба, растрепанные, очень бледные, с искаженными лицами, как будто бы они только что очнулись от какого-нибудь тяжелого кошмара, кричали:

– Что такое случилось?.. Что такое случилось?..

– Обокрали!.. Обокрали!..

– Что такое обокрали?.. Что?..

В столовой барыня застонала: «Боже мой! Боже мой!..» – в то время, как барин с искривленным ртом продолжал кричать:

– Что украли, что, что?

В буфетной, сопровождаемая Жозефом, барыня при виде трех оторванных сундуков испустила ужасный крик:

– Мое серебро!.. Боже мой!.. Возможно ли?.. Мое серебро!..

И подняв и перевернув все перегородки, все отделения, в которых ничего не было, она в отчаянии опустилась на паркет. Еле слышным голосом, голосом ребенка, она прошептала:

– Они взяли все... они взяли все... все... все... и сундук стиля Людовика XVI.

В то время, как барыня смотрела на пустые сундуки, как мать смотрит на своего мертвого ребенка, барин, почесывая затылок и свирепо вращая глазами, каким-то отчужденным, безумным плачущим голосом упорно повторял одни и те же слова:

– Черт возьми!.. А, черт возьми!.. Собаки!.. А, черт, черт возьми!..

А Жозеф с искаженным лицом, тоже причитал:

– Сундук в стиле Людовика XVI... Сундук в стиле Людовика... А! разбойники!..

Потом наступила минута трагического молчания, упадок сил; то молчание смерти, та реакция, которая следует за шумом и громом больших несчастий и разрушений... И фонарь, который качался в руках у Жозефа, бросал на все это, на эти мертвые лица и опустошенные сундуки красный, дрожащий, зловещий, свет...

Я сошла вниз в ту же минуту, как и хозяева, как только закричал Жозеф. При виде этого несчастья моим первым чувством было, несмотря на комизм собравшихся лиц, сострадание. Мне показалось, что я также член семьи и должна разделить ее печали и испытания. Мне хотелось сказать несколько утешительных слов барыне, убитое лицо которой внушало мне сожаление... Но это чувство общности интересов или вернее рабства – быстро исчезло во мне.

Преступление имеет в себе что-то сильное, торжественное, карающее, религиозное, которое меня, конечно, ужасает, но вместе с тем вызывает во мне – я не знаю, как объяснить это – удивление и восхищение... Нет, не восхищение, потому что восхищение есть нравственное чувство, духовный восторг, а то, что я чувствую, действует и возбуждает только мое тело... Это – сильное потрясение всего моего физического существа, тягостное и вместе с тем пленительное.

Любопытно, странно, без сомнения, может быть, ужасно – и я не могу себе объяснить истинной причины этих странных и сильных ощущений во мне – но для меня всякое преступление, особенно убийство, имеет какую-то тайную связь с любовью... да, я положительно скажу!.. красивое преступление захватывает меня так же, как красивый мужчина...

Я должна сказать, что одна мысль, пришедшая мне в голову, превратила вдруг в мальчишескую радость, в бурное веселье это ужасное и могущественное наслаждение преступ-

лением, сменившее во мне непосредственно чувство сострадания, которое было вначале, так некстати, овладело моим сердцем... Я подумала:

– Вот два существа, которые живут, как кроты, как червяки. Они сидят, запершись, как добровольные узники, за негостеприимными стенами этой тюрьмы. Они вычеркивают, уничтожают, как что-то лишнее, ненужное все, что составляет радость жизни, улыбку и веселье в доме. Они оберегают себя, как от какой-нибудь грязи, от всего того, что могло бы хоть немножко извинить их богатство, их бесполезность для человечества. С их обильного стола не падает ни одна крошка, чтобы утолить голод бедняка, их сухие сердца не знают жалости к горю страдающего... Они скупаются даже для своего собственного счастья... И я буду их жалеть? О, нет! То, что случилось с ними, только справедливо. Отняв у них часть их богатств, освободив на волю эти похороненные сокровища, добрые вору только восстановили равновесие... Я жалею лишь о том, что они не оставили их совсем нагими, нищими, более нищими, чем бродяга, который столько раз напрасно стучался у их двери, более большими, чем тот несчастный, который умирает на дороге, в двух шагах от этих спрятанных и проклятых богатств.

Мысль, что мои хозяева могли бы тогда с котомкой на плечах, в жалких отрепьях тащиться с окровавленными ногами по дорогам, протягивать руку у неумолимого порога злых богачей, мне понравилась и развеселила меня. Но еще более непосредственную и сильную веселость, смешанную с ненавистью, я ощутила, когда смотрела на барыню, сидевшую с таким убитым видом у своих пустых сундуков. Она была мертва, более мертва, чем если бы она действительно умерла, потому что она сознавала эту смерть... И нет ничего ужаснее такой смерти для существа, которое никогда ничего не любило, которое оценивало только на деньги такие неоценимые вещи, как удовольствие человека, его капризы, его милосердие, любовь – всю эту божественную роскошь человеческого духа. Это постыдное горе, это отвратительное уныние были также отмщением ей за все унижения, за все жестокости, которые я терпела от нее, которые исходили от каждого ее слова, от каждого ее взгляда. И я наслаждалась вполне этим приятным и жестоким чувством мести. Мне хотелось крикнуть ей: «Они хорошо сделали... они хорошо сделали!..» И особенно я хотела бы знать их, этих прелестных, этих умных воров, чтобы поблагодарить от имени всех униженных, всех бедняков... и чтобы обнять их, как братьев... О, милые вору! Вы, которые осуществляли милосердие и справедливость, какие сильные ощущения испытала я благодаря вам!

Но барыня очень скоро овладела собой... Ее сильная, склонная к борьбе натура вдруг пробудилась во всей своей силе.

– А что ты здесь делаешь? – сказала она барину тоном сильнейшего гнева и презрения. – Зачем ты здесь?.. И как ты смешон с твоей толстой, надутой рожой и рубахой, которая вылезает повсюду у тебя? Неужели ты думаешь, что таким образом вернется к нам наше серебро? Ну... встряхнись... побеспокой себя немножко, постарайся понять! Поди же за жандармами... за следователем!.. Разве они уже давно не должны были быть здесь? Ах, что это за человек, Боже мой!..

Барин хотел выйти, согнув спину, но барыня его опять остановила:

– И как это ты ничего не слышал? Вот так забирают все из дому, ломают двери, замки, снимают со стен и опустошают сундуки... А ты ничего не слышишь?.. На что же ты годишься, толстый болван?

Барин осмелился ответить:

– Но ты, моя милая, ты тоже ничего не слышала?

– Я?.. Это не одно и то же... Разве это не дело мужчины? И потом ты меня раздражаешь... Убирайся.

И в то время, как барин пошел наверх, чтобы одеться, барыня, обратив всю свою ярость на нас, закричала:

– А вы?.. Что вы смотрите на меня, как дураки? Вас нисколько не трогает, что грабят ваших хозяев? Вы тоже ничего не слышали? Как будто бы нарочно... Приятно иметь таких слуг... Вы думаете только о том, чтобы есть и спать... Животные!

Она обратилась прямо к Жозефу:

– Почему собаки не лаяли? Скажите, почему? – Этот вопрос смутил Жозефа, но только на одну секунду. Он быстро оправился.

– Я не знаю, барыня, – сказал он самым естественным тоном. – Да, правда... собаки действительно не лаяли. Как это странно, скажите пожалуйста!

– Вы их спустили?

– Ну, конечно, я спустил их, как каждый вечер... как это странно!.. Да, это странно!.. Надо полагать, что воры знали дом... и собак.

– И наконец, Жозеф, вы такой преданный, такой аккуратный всегда... как это вы ничего не слышали?

– Да, правда, я ничего не слышал... И вот что также довольно подозрительно... Ведь у меня не крепкий сон... Даже когда кошка проходит через сад, я прекрасно слышу... Это прямо что-то неестественное. И особенно эти проклятые собаки... Да, странно...

Барыня прервала Жозефа:

– Ну, оставьте меня в покое... Вы все скоты, все, все! А Марианна? Где Марианна? Почему она не здесь? Она, конечно, спит, как колода.

И, выйдя из буфетной, она крикнула на лестнице:

– Марианна! Марианна!

Я смотрела на Жозефа, который смотрел на сундуки. Он был серьезен. В его глазах скрывалась как будто бы тайна...

Я даже не пыталась описать все безумие, все мелкие события этого дня. Прокурор, вызванный телеграммой, приехал после обеда и начал свой допрос. Жозеф, Марианна и я, мы были допрошены один за другим; первые два только для формы, меня же допрашивали очень подозрительно и настойчиво, что мне было крайне неприятно. Они были в моей комнате, где перешарили все в комоды и в сундуках. Моя переписка была старательно разобрана. Благодаря случайности, которую я благословляю, мой дневник ускользнул от полицейского обыска. За несколько дней до этого события я его отослала Клеклэ, от которой я получила очень теплое письмо. Если бы не это обстоятельство, то судьи могли бы найти в этом дневнике страницы, которые могли бы послужить обвинением против Жозефа или по крайней мере навлечь на него подозрение. Я и теперь еще дрожу вся при этой мысли. Само собой разумеется, что были осмотрены также все аллеи в саду, грядки, стены, бреши в заборах, маленький двор, который выходил на улицу – чтобы найти какие-нибудь следы шагов или перелезания через забор... Но земля была суха и тверда; невозможно было обнаружить на ней ни малейшего отпечатка, никакого указания. Решетка, стены хранили ревниво свою тайну. По делу этого воровства являлись окрестные жители и выражали желание давать показания. Один видел какого-то блондина, «который ему никогда не встречался», другой – брюнета, «у которого был странный вид». Одним словом, допрос не дал никаких результатов, никакого следа, никакой зацепки.

– Нужно подождать, – таинственно сказал, уезжая, прокурор. Может быть, парижская полиция наведет нас на след виновников преступления...

В продолжение этого утомительного дня, посреди беготни у меня не было даже досуга подумать о последствиях этой драмы, которая в первый раз внесла оживление и жизнь в этот мертвый Приерэ. Барыня не давала нам ни минуты отдыха, надо было бежать туда... сюда... без всякого смысла, впрочем, потому что она немножко потеряла голову... Что касается Марианны, то казалось, что она ничего не замечает, что ничего особенного не произошло и не происходит теперь в доме... Похожая на всегда грустную Евгению, она была занята

своими мыслями, и эти мысли были так далеки от наших забот и волнений. Когда барин появлялся в кухне, она становилась вдруг, как пьяная, и смотрела на него восторженными глазами...

– О, твоя толстая мордочка!.. Твои толстые ручки!.. Твои большие глаза!..

Вечером, после тихого и молчаливого обеда, я осталась наконец одна и могла подумать. Мне сейчас же пришла мысль в голову, и теперь она только еще сильнее укрепилась во мне, что Жозеф был причастен к этому отважному грабежу. Я даже думала, что между его путешествием в Шербург и приготовлениями к этому смело задуманному и великолепно выполненному плану – была очевидная связь. И я вспомнила об ответе, который он мне дал накануне своего отъезда:

– Это зависит... от одного очень важного дела...

Хотя Жозеф старался казаться естественным, но я замечала в его манере держать себя, в его жестах, в его молчании совсем не свойственную ему принужденность, заметную для меня одной... Я не старалась прогнать от себя своих подозрений; они мне были не только приятны, но и сильно радовали меня... Когда Марианна оставила нас на минуту одних в кухне, я подошла к Жозефу и нежно, ласково, с невыразимым волнением спросила у него:

– Скажите мне, Жозеф, умоляю вас... это вы убили маленькую Клару в лесу... вы украли серебро у хозяйки...

Застигнутый врасплох и пораженный этим вопросом, Жозеф посмотрел на меня... Потом вдруг, не отвечая мне на вопрос, он привлек меня к себе и, крепко поцеловав, сказал:

– Не говори об этом, потому что ты пойдешь со мной туда... в маленькое кафе... и потому что души наши одинаковы...

Я вспомнила, что в маленьком салоне у графини Фарден стояло нечто вроде индийского идола, необыкновенной и вместе с тем ужасной красоты, с лицом убийцы... В эту минуту Жозеф походил на этого идола...

Проходили дни и месяцы... следовательно, конечно, не мог ничего открыть и направил дело к прекращению. По его мнению, преступление было совершено опытными парижскими мошенниками.

– Подите, отыщите что-нибудь в этом хаосе!.. Этот безутешный результат возмущал хозяйку. Она поносила власти, которые не могли ей вернуть ее серебра. Но она не отказывалась еще от надежды отыскать «судок Людовика XVI», как говорил Жозеф. Каждый день у нее появлялись новые, нелепые комбинации, о которых она писала властям. Последние же, утомленные этими бесплодными поисками и бессмысленными комбинациями, даже не отвечали больше на ее письма... Я наконец успокоилась насчет Жозефа, потому что все время я боялась, чтобы это не кончилось катастрофой для него.

Жозеф опять стал молчаливым и преданным слугой, редкой жемчужиной. Я не могу удержаться от смеха при воспоминании об одном разговоре, который я подслушала в самый день воровства у двери в гостиной. Разговор этот происходил между хозяйкой и прокурором, худым маленьким господином с тонкими губами, с желчным лицом и профилем острым, как клинок сабли.

– Вы не подозреваете никого между своими людьми? – спросил прокурор, – Вашего кучера, например?

– Жозефа? – воскликнула хозяйка возмущенным голосом, – этого человека, который нам так предан... который служит у нас больше пятнадцати лет! Это – сама честность, господин прокурор, это жемчужина! Он в огонь пошел бы за нас...

Озабоченная, с нахмуренными бровями, хозяйка размышляла.

– Разве только эта девушка, горничная. Я ее не знаю, этой девушки. Может быть, у нее есть какие-нибудь дурные знакомства в Париже... она часто пишет в Париж... Несколько

раз я ее ловила, когда она пила наше вино и ела наши сливы... Когда пьют хозяйское вино, тогда способны на все...

И она пробормотала:

– Никогда не следует брать прислугу из Парижа... Она, в самом деле, какая-то странная, это горничная...

Нет, но как вам нравится эта дура! Вот таковы всегда недоверчивые и подозрительные люди... Они подозревают всех, кроме, конечно, тех, которые их обкрадывают. Потому что я все более и более убеждалась, что Жозеф был душой этого дела. Я уже давно за ним следила, не из враждебного чувства, вы же это понимаете, но из любопытства – я убеждалась, что этот верный и преданный слуга, этот единственный перл тащил все что мог в дом. Он крал овес, уголья, яйца и разные другие мелкие вещи, которые можно было перепродать так, чтобы нельзя было узнать их происхождения. И его друг, церковный сторож, не приходил каждый вечер к нему в комнату так себе, из-за пустяков, только затем, чтобы побеседовать с ним о благодеяниях антисемитства... Как опытный, терпеливый, осторожный и аккуратный человек, Жозеф прекрасно знал, что такие маленькие ежедневные кражи к концу года составляют крупную сумму, и я убеждена, что таким образом он утраивал, учетверял свое жалованье – чем никогда нельзя пренебрегать. Я понимаю, что есть разница между такими мелкими кражами и таким смелым грабежом, какой был произведен в ночь на 24 декабря... Это только доказывает, что он был не прочь поработать и в крупном масштабе... Откуда я знаю, не принадлежал ли тогда Жозеф к какой-нибудь воровской шайке? Как я хотела и как еще и теперь хочу знать все это!

С того вечера, когда его поцелуй был для меня как бы признанием в совершенном им преступлении, когда он вдруг выказал мне доверие, Жозеф опять стал все отрицать. Напрасно я вертела его туда, сюда, ставила ему западни, окружала его ласками и нежностью – он больше не выдавал себя... И он также поддерживал безумную надежду барыни найти свое серебро. Он составлял планы поимки воров, припоминал и восстанавливал все подробности воровства; и он бил собак, которые не лаяли, грозил кулаками ненавистным, воображаемым ворами, как будто бы он видел их убегающими там вдали, на горизонте... Я уже не знала больше, что думать насчет этого непроницаемого человека... Один день я верила в его преступность, другой день я верила в его невиновность. И это меня ужасно раздражало.

Как и в прежние времена, я зашла раз вечером в комнату Жозефа:

– Итак, Жозеф!..

– Ах! это вы, Селестина!

– Почему вы со мной больше не разговариваете? Вы как будто избегаете меня...

– Вас избегаю?... Я?... О, милосердный Боже!..

– Да... с того знаменательного дня...

– Не говорите больше об этом, Селестина. У вас слишком дурные мысли...

И он грустно покачал головой.

– Ну, Жозеф... Вы хорошо знаете, что это была шутка. И разве я любила бы вас, если бы вы совершили такое преступление!.. Мой милый Жозеф...

– Да... да... вы умеете подделываться, выведать... это не хорошо...

– И когда мы уезжаем? Я не могу больше жить здесь.

– Не сейчас... нужно еще подождать...

Немножко задетая, я сказала тоном легкой досады:

– Это нелюбезно с вашей стороны! Вы совсем не желаете, чтобы я поскорее стала вашей...

– Я? – пылко воскликнул Жозеф, – что вы говорите, побойтесь Бога... Но я стораю... я стораю от этого желания!..

– Ну, в таком случае, уедем...

Но он настаивал на своем, не пускаясь в дальнейшие объяснения.

– Нет... нет... это еще невозможно...

Тогда я, конечно, подумала:

– В конце концов он прав. Если он украл серебро, то он не может теперь ни уйти, ни устроиться... это возбудило бы подозрения. Нужно, чтобы прошло некоторое время, и чтобы это таинственное дело было забыто...

В другой раз я ему предложила следующее:

– Послушайте, мой милый Жозеф, необходимо найти возможность уехать отсюда. Для этого нужно только поссориться с барыней и заставить ее прогнать нас обоих...

Но он энергично запротестовал:

– Нет, нет... только не это, Селестина. Ах, нет... Я люблю своих хозяев... Они хорошие господа... Нам нужно расстаться с ними по-хорошему. Нам нужно уехать отсюда как честным, серьезным людям это подобает. Нужно, чтобы господа наши нас жалели, чтобы они плакали, когда мы будем уезжать...

С печальной серьезностью, в которой я не чувствовала никакой иронии, он сказал:

– Знаете, мне будет очень грустно уйти отсюда. Я ведь здесь уже больше 15 лет... Черт возьми! Привязываешься ведь к дому... А вам, Селестина, не будет жаль уехать отсюда?

– Ах нет... – вскричала я со смехом.

– Это нехорошо... Это нехорошо... нужно любить своих господ... И послушайте! я вам посоветую: будьте очень добры, очень кротки, очень преданны, работайте хорошо... Не говорите дерзостей, потому что, дорогая Селестина, нам нужно расстаться друзьями с господами, особенно с барыней...

Я следовала советам Жозефа и в продолжение тех нескольких месяцев, которые нам еще осталось прожить в Приерэ, я обещала себе сделаться образцовой горничной, также перлом... Я употребила для этого весь свой ум и умение, я начала во всем угождать барыне, стала нежна и деликатна с нею. Барыня же стала человечнее относиться ко мне; мало-помалу она действительно ко мне привязалась, стала моим другом...

Я не думаю, чтобы только моя работа и внимательное отношение к барыне произвели эту перемену в ее характере. Это воровство было ударом для ее гордости, для всего смысла ее существования. Как это бывает после большого горя, после потери единственного дорогого существа она больше не пыталась бороться. Униженная в своей гордости, с разбитыми нервами, она искала в окружающих ее людях только утешения, сочувствия, доверия. И ад Приерэ обратился для всех в настоящий, в истинный рай...

И вот, когда все наслаждались этим семейным миром, этим домашним уютом, я объявила однажды утром барыне, что я должна, что мне необходимо от нее уехать... Я выдумала целую романтическую историю... что я должна вернуться к себе на родину и там выйти замуж за одного честного парня, который уже давно ждал меня. В нежных выражениях я высказала барыне мое сожаление и огорчение, что я должна покинуть ее, такую добрую и так далее... Барыня была убита...

Она попробовала меня удержать, сначала она воздействовала на мои чувства, потом предлагала мне увеличить жалованье, дать прекрасную комнату во втором этаже. Но перед моей решимостью она должна была покориться...

– Я так привыкла к вам теперь! – сказала она со вздохом. – Ах! у меня нет счастья!..

Но гораздо больше было ее огорчение, когда неделю спустя Жозеф в свою очередь пришел к ней с заявлением, что так как он слишком стар и слишком устал, то и не может больше продолжать служить у них и нуждается в отдыхе.

– Вы, Жозеф? – вскричала барыня, – вы тоже?... Это невозможно... Значит, проклятье тяготеет над Приерэ! Все меня покидают... всё меня покидает...

Барыня плакала. Жозеф плакал. Барин плакал. Марианна плакала...

– Вы уносите с собой всеобщее сожаление, Жозеф!..

Увы! Жозеф уносил с собой не только их сожаления... он уносил также их серебро!..

Когда я ушла из Приерэ, я задумалась над своим положением, я была смущена... Меня нисколько не мучила совесть, что я буду пользоваться деньгами Жозефа, крадеными деньгами – нет, это было не то... какие деньги не краденые? Но я боялась, чтобы чувство, которое я испытывала к Жозефу, не оказалось скоропреходящим любопытством. Жозеф приобрел над моим умом, над моим телом влияние, которое, может быть, не будет продолжительным? А может быть, это только временное извращение моих чувств!..

Были минуты, когда я спрашивала себя также, не мое ли только это воображение – вообще склонное ко всему исключительному – сделало Жозефа таким, каким я его видела? Не был ли он в действительности простым зверем, крестьянином, не способным даже на красивое насилие, на красивое преступление? Тогда последствия моего замужества были бы ужасны... И потом – не необъяснимая ли это на самом деле вещь – я немножко сожалела о том, что не буду больше служить у других... Прежде я думала, что приму с большей радостью весть о моей свадьбе. Ну так этого теперь не было! Быть прислугой, служить другим – это должно быть в крови человека. А может быть, мне будет не доставать зрелища буржуазной роскоши? Я представляла себе мой маленький дом, строгий и холодный, как дом рабочего, мою скудную жизнь, лишенную всех этих красивых вещей, всех этих красивых тканей, которые так приятно было трогать руками, лишенную всех этих красивых пороков, которым мне доставляло удовольствие служить! Всего этого я хотела касаться, во все это я погружалась, как в надушенную ванну... Но теперь уже нельзя было отступить...

Кто мог бы мне сказать в тот серый, печальный и дождливый день, когда я приехала в Приерэ, что у меня получится таким образом с этим странным, молчаливым и угрюмым человеком, который глядел на меня с таким пренебрежением?..

Теперь мы живем в маленьком кафе... Жозеф помолодел. Он уже не ходит больше согнувшись, тяжеловесной походкой. Теперь он переходит от одного стола к другому, из одной комнаты в другую, выпрямившись, легкой, гибкой поступью. Его плечи, которые меня прежде так пугали, теперь имеют очень добродушный вид; его затылок, который иногда казался мне таким ужасным, имеет теперь в себе что-то отечески спокойное. Всегда свежесвыбритый, с загоревшим и блестящим, как красное дерево, лицом, со смело надетым беретом на голове, всегда в очень чистой синей матросской блузе – он похож на бывшего моряка, на старого морского волка, который видал на своем веку много необыкновенного и побывал в разных чудесных странах. Но больше всего меня восхищает в нем его душевное спокойствие. В его, глазах никогда не заметишь больше ни малейшего беспокойства... Видно, что вся жизнь его покоится теперь на солидных основаниях. Сильнее, чем когда бы то ни было, он стоит теперь за семью, собственность, религию, флот, армию, отечество...

Он меня восхищает!

После нашей женитьбы Жозеф положил на мое имя десять тысяч франков... На днях приморский комиссариат оставил за нами часть товаров, выброшенных морем, за 15 тысяч франков, которые Жозеф заплатил сполна и наличными деньгами и которые он перепродал затем с крупной прибылью. Он также производит и мелкие банковские операции, то есть дает займы деньги рыбакам. И он уже подумывает о том, чтобы расширить свое предприятие и для этого приобрести соседний дом. Там, может быть, будет устроен кафешантан...

То обстоятельство, что у него столько денег, меня интригует. И как велико его состояние?... Я ничего не знаю. Он не любит, когда я с ним говорю об этом; он не любит, когда я с ним говорю о том времени, когда мы вместе служили... Можно подумать, что он все забыл и что его жизнь действительно только началась с того дня, когда он вступил во владение маленьким кафе... Когда обращаюсь к нему с каким-нибудь вопросом, который меня мучает, он делает вид, что не понимает, о чем я говорю. И тогда в его глазах мелькает тот же мрачный,

ужасный свет, как когда-то... Никогда я не буду ничего знать о Жозефе, никогда я не узнаю тайны его жизни... И может быть, именно эта неизвестность и привязывает меня к нему...

Жозеф смотрит за всем домом, и все в образцовом порядке. У нас три гарсона, которые обслуживают посетителей, и одна прислуга, которая готовит и убирает квартиру, и все идет отлично...

Это правда, положим, что в три месяца мы переменили четырех служанок... но как требовательны, неряшливы и развращены служанки в Шербурге! Нет, прямо невероятно, просто отвратительно!

Я восседаю за кассой, за прилавком посреди цветных бутылок. Я сижу здесь также для парада и для беседы с посетителями. Жозеф хочет, чтобы я была хорошо одета, он мне никогда не отказывает в покупке того, что может сделать меня красивее, и он любит, чтобы по вечерам я являлась в маленьком декольте. Нужно зажечь посетителя и потом поддерживать в нем постоянное удовольствие, постоянное желание моей особы... Есть уже трое крупных квартирмейстеров, двое или трое морских механиков, служащих в эскадре, которые за мной настойчиво и усиленно ухаживают. Конечно, чтобы мне понравиться, они тратят много денег. Жозеф особенно внимателен к ним, потому что они ужасные забияки. Мы взяли также четырех пансионеров. Они едят вместе с нами и каждый вечер покупают, конечно, на свой счет вино и ликер, которые пьют все... Они очень галантны со мной, а я подзадориваю их, сколько могу... Но дальше одобрений взглядами, милыми улыбками и туманными обещаниями не пойду... Впрочем, я не думаю об этом. С меня вполне довольно Жозефа, и я только потеряла бы, если бы даже мне пришлось изменить ему с самим адмиралом... Черт возьми, такой это сильный человек! Очень мало молодых людей могут так удовлетворять женщину, как он... это странно, в самом деле... хотя он очень некрасив, я не нахожу никого таким красивым, как Жозеф... Он въелся в мою кожу, да... И когда подумаешь о том, что он всегда жил в провинции, что всю жизнь он был простым крестьянином, то невольно спрашиваешь себя, где он мог научиться всем этим тонкостям и порокам?

Но больше всего Жозеф успевает в политике. Благодаря ему маленькое кафе, вывеска которого днем своими большими золотыми, ночью громадными огненными буквами – «Французской армии» – блестит и горит на весь квартал, сделалось официальным местом свидания для всех наиболее значительных антисемитов и наиболее шумных патриотов города. Последние приходят сюда брататься с унтер-офицерами армии и флота. Тут были уже и кровавые драки, и несколько раз по самым ничтожным поводам унтер-офицеры обнажали свои сабли, угрожая заколоть воображаемых изменников... В тот вечер, когда Дрейфус возвратился во Францию, я думала, что маленькое кафе рухнет от криков: «Да здравствует армия» и «Смерть жидам!» В этот вечер Жозеф, который уже был популярен в городе, имел колоссальный успех, Он влез на стол и вскричал:

– Если изменник виновен – посадить его на корабль и отправить обратно! Если он невинен – расстрелять его...

Со всех сторон понеслись крики:

– Да, да... Расстрелять его! Да здравствует армия!

Это предложение довело энтузиазм до бешенства. В кафе слышны были только дикий рев, бряцанье сабель и удары кулаков по мраморным столикам. Некто, пытавшийся что-то сказать, неизвестно что, был ошкан, и Жозеф, бросившись на него, ударом кулака разбил ему губы и вышиб пять зубов... Избитый ударами сабли, растерзанный, весь залитый кровью, полумертвый – несчастный был выброшен, как негодный сор, на улицу, все при тех же криках: «Да здравствует армия! Смерть жидам!» Бывают минуты, когда я начинаю чувствовать страх в этой атмосфере убийства между всеми этими зверскими лицами, пьяными от выпитой водки и от жажды убивать... Но Жозеф меня успокаивает:

– Это пустяки, – говорит он, – это нужно для дела...

Вчера Жозеф вернулся с рынка в очень веселом настроении и, потирая руки, заявил мне:

– Дурные вести. Говорят о войне с Англией.

– Ах, Боже мой! – воскликнула я. – Неужели будут бомбардировать Шербург!

– Bravo! Прекрасно! – посмеивался Жозеф... Только мне пришла в голову одна идея... богатая идея...

Я невольно задрожала. Он, вероятно, задумал опять какое-нибудь крупное мошенничество.

– Чем дольше я смотрю на тебя, – сказал он, – тем больше я говорю себе, что у тебя совсем не голова бретонки... У тебя скорее голова эльзаски... Что? Это была бы не дурная картина за прилавком?

Я была разочарована. Я думала, что Жозеф мне предложит какую-нибудь ужасную вещь. Я уже заранее гордилась тем, что буду соучастницей в каком-нибудь смелом предприятии... Каждый раз, когда я вижу Жозефа задумчивым, моя голова мгновенно воспламеняется. Я представляю себе трагедии, ночные нападения, грабежи, обнаженные ножи, раненых людей, хрипящих в лесном кустарнике... А тут дело шло только о рекламе, о маленькой вульгарной рекламе...

Заложив руки в карманы, в лихо надетом берете, Жозеф забавно покачивался передо мной на каблуках:

– Ты понимаешь? – настаивал он. – Во время войны... очень красивая, хорошо одетая эльзаска – это воспламеняет сердца, это возбуждает патриотизм... И нет ничего лучше патриотизма, чтобы опаивать людей... Ну, что ты об этом думаешь? Я помещу твой портрет в журналах... и даже, может быть, на афишах...

– Я предпочитаю оставаться одетой, как светская дама! – ответила я немножко сухо.

По этому поводу мы заспорили. И в первый раз мы употребили в разговоре друг с другом сильные выражения и бранные слова.

– Ты так не важничала, когда ходила со всяким, с первым встречным мужчиной, – кричал Жозеф.

– А ты... когда ты... лучше оставь меня, а то я скажу слишком много...

– Развратница!

– Вор!

Вошел посетитель... Больше мы ни о чем не говорили... А вечером в объятьях и поцелуях был заключен мир.

– Я закажу себе красивый костюм эльзаски из шелка и бархата... В сущности я совершенно бессильна против воли и желания Жозефа. Несмотря на этот маленький порыв возмущения, Жозеф покорила меня, властвует надо мной. И я счастлива при мысли, что я вся в его власти... Я чувствую, что я сделаю все, что он захочет, и что я пойду на все, что он захочет... даже на преступление!..